НЁМАН

8/2016
АВГУСТ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Напоследок

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Заместитель директора – главный редактор
Алексей Иванович ЧЕРОТА

Редакционная коллегия:

*Вадим Гигин, Наталья Голубева, Олег Ждан (редактор отдела прозы),
Алесь Карлюкевич, Александр Коваленя, Тамара Краснова-Гусаченко,
Владимир Макаров, Владимир Мозго (зам. главного редактора), Роман Мотульский,
Геннадий Пашков, Михаил Поздняков, Елена Попова,
Анатолий Сульянов, Николай Чергинец*

Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 284-85-25, заместителя главного редактора — 284-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Подписные индексы:

*74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.*

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель
Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Директор – главный редактор
Александр Николаевич КАРЛЮКЕВИЧ

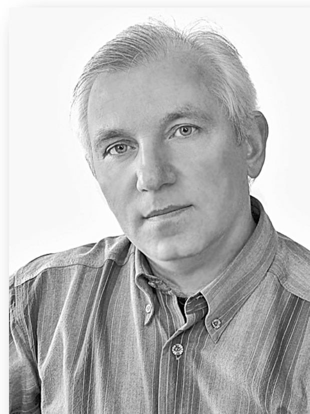
Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Староверова*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

Подписано в печать 10.08.2016. Формат 70 ×108$^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 18,80 . Тираж 1575. Заказ .

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

К сведению авторов
*Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.*

© Министерство информации Республики Беларусь, 2016
© ОО «Союз писателей Беларуси», 2016
© РИУ «Издательский дом «Звязда», 2016



Анатолий АНДРЕЕВ

Авто, био, граф и Я[*]

Роман

36

«Хватит спать, нечего беречь свое сердце, надо жить на износ, к тридцати пора уже заработать инфаркт, пытаясь понять себя, пытаясь понять других, пытаясь понять все на свете... Иначе ничего в жизни не успеешь».

Боже мой, какой соблазн сбиться на мироощущение, сделать мироощущение центром и смыслом жизни!

Вот бегут по небу палевые облака со сливочным оттенком, кое-где светлая, воздушно-рыхлая плоть их тронута мутной желтизной, словно седая шевелюра у дряхлого старика; а ветер гонит их, они движутся, оттенки цветов меняются — вот уже, разорвав неопрятную, грязновато-серую пленку, причудливо выворачиваются перед обомлевшим взором клубы исподне-белого, набравшего свет солнца (которого не видно), несомненно женского, имеющего отношение к женским недрам и тайнам; а вот опять все — через несколько мгновений — все опять затонировано ровно-серым, вековечно спокойным, и только кое-где бледно-голубые прорехи намекают на иное измерение.

Мне сегодня 53 года.

А в детстве небо было другим — большим, прохладным и очень-очень голубым.

И в юности оно было другим.

Сбор хлопка. Зной. Обеденный перерыв.

Вот сейчас полежим десять минут на спине — и опять в поле, до вечера, тупо, безнадежно, быстрей бы вечер, ужин, гитара, а завтра рано утром уже в поле, и дотянуть бы до обеда, и пережить бы неделю, а потом не можешь понять, как протянул месяц, а потом — целых три, а потом наступает бесконечный, неправдоподобно длинный последний день, последний час — и вот уже кажется, что этот сезон был не таким уж и трудным…

Это все потом, или прежде, или никогда, а сейчас — абсолютный обеденный перерыв. Особая среднеазиатская тишина — не лесная, не морская, не полевая — межгорная. Галактическая. На краю ойкумены. По одну сторону гор Александр Македонский (кажется, еще легкая азиатская пыль не улеглась после его выносливых скакунов), по другую — Москва, столица нашей родины СССР. Небо очень высокое, выгоревшее, пепельное, где-то там затерялась серебристая точка трудолюбиво гудящего самолетика, который летит туда, в Москву, или в Ленинград, или в Новосибирск, или еще куда-нибудь туда,

---

[*] Журнальный вариант. Окончание. Начало в № 7 за 2016 г.

где каждый день происходит что-то важное, где современных людей волнует Древняя Греция, где человеки чувствуют глубже, мыслят иначе, понимают себя правильнее.

Еще не затих надрывно-ровный гул самолетика, чем-то напоминающий мерный рокот латинского баритона cogito ergo sum, cogito ergo sum (страшновато за него: долетит ли?), а нам уже пора выходить в поле, поэтизировать которое может только тот, кто никогда сам не собирал хлопок. Поэтому — никакого описания поля, никаких гимнов мерзкой вязкой вате, пахнущей пылью. Я, обделенный, незаслуженно обнесенный судьбой, переживаю настоящее горе.

И это только я и только небо. А ведь сколько людей — столько и небес.

А ведь есть еще сумерки. Сумерки рассвета. Сумерки полудня. А сколько иных времен суток!

Моря. Пустыни. Ледники. Рим. Москва. Любовь. Ревность. Предательство. А зависть?

А сколько возрастов в каждом из нас!

И на все есть свои краски, свои оттенки желаний, и самое главное, свои слова. Много слов. Слова, слова, слова — суета сует из слов. Словоблудие в стиле барокко. В стиле модернизма. Чистейшей воды постмодернизм. О! Е…

И в этот момент ко мне в кабинет входит заспанная жена (уже позднее утро, около одиннадцати) — и я, еще секунду назад завороженный изысканной палитрой неба, чувствую, что не в состоянии оторваться от ее теплых грудей, круглого живота (а ведь все правда: круглый, словно чаша, и влажные лилии правда, и сладкие сосцы, и кожа небесного оттенка — ну да, песнь песней написана была в алькове, под открытым небом, какие могут быть сомнения), и вот мы уже в спальне, ее теплое дыхание сбивается, пропитанные ароматным бальзамом волосы разбрасываются по подушкам, и я кутаюсь в ее теплое тело, все плотнее и плотнее, устремляясь к тем самым, набравшим свет облакам!

А через минуту облака сомкнулись надо мной, и меня опять потянуло к моему небу — к прерванной мысли. Мысль была такая: как соблазнительно эмигрировать в мироощущение! Стать рабом слов, служащих несомненно благой цели — скрывать мысль.

Такой вот культурный мазохизм.

И искусство «познавать себя» превращается в искусство «передавать мироощущение» — и роман мой был бы иным, форматным, таким, за который не стыдно давать премии, и даже не стыдно их получать. А так…

С другой стороны, какой соблазн передать это все, все это, весь спектр ощущений в небольшом тексте! Какой страшный соблазн! Это ведь богоподобная акция — загнать джинна в бутылку, вернуть все даже не на круги своя, а к исходному моменту, к зерну зерен, к началу начал. Создать такую мегаловушку карманного формата, в которой весь человек, состоящий из сердца, умещается на ладони.

И не меньший соблазн — сохранить мысль, взлелеять ее, дать прорасти сквозь сон, сквозь туман ощущений. Стать господином слов, управляющим процессом передачи мысли с помощью слов, рожденных ощущениями. И волки, и овцы… Сыты. Целы.

Вот как передать непередаваемое?

Угодишь сердцу и народу — осрамишься перед разумом; будешь разумным — народ твой и сердце отвернутся от тебя. Ату его!

О, горе мне! Настоящее.

Хочется отыскать (придумать, нащупать, изобрести) дискурс (а как иначе скажешь, вот как иначе назвать это информационное вместилище-хранилище?), в который ты мог бы поместиться весь целиком. С инями и янями. Тенями. Полутонами. В ясном свете Солнца. Весь. Без остатка. Да еще утонуть в нем. Нечто небесных размеров и небесной же выразительности и мучительной неописуемости. Да, часто получается не дискурс, а так себе дискурсик, пшик из пузырей — порой розовых, иногда голубоватых, а то и прозрачных, жидко-невесомых, словно шары, растущие на трубе виртуоза-стеклодува.

И все-таки через тернии — к звездам. Согласимся.

Только звезды — это не ощущения; ощущения — это тернии.

И все с помощью обыкновенных слов («слов, слов», — ответило эхо). Которые сами по себе являются и терниями, и звездами одновременно.

Хочется создать мегаловушку смыслов, в которой мегаловушке ощущений отведено огромное, но скромное место (по заслугам и почет) — и это уже не богоподобный замах, а попросту божественный, в котором бог превращается в метафору (в игру словами-с), а сам творец — в жалкого, раздавленного изобретенным им дискурсом человека, испытывающего настоящее горе.

О, дискурс! Роман — это дискурс.

Тьфу, что за слово такое технологичное: оно же не вызывает позитивных ощущений. Как хлопок.

Не торопись, а то успеешь. К звездам. Тссс.

37

Нет, я не гражданин мира.

Все проще: я чувствую себя личностью, которая существует на Земле, среди людей. Я ощущаю себя гражданином Вселенной, если уж без гражданства никак не обойтись.

Интересно, если бы не звездопад из детства, чувствовал ли бы я себя гражданином Вселенной?

Смотреть на звезды — это не национальная забава. «Какой же русский не любит быстрой езды!» — это только в эпоху саней и рысаков выглядело чем-то залихватским. Скорость, звезды, пространство, время — это атрибуты не национального, а вненационального. Это позволяет почувствовать себя человеком.

И сладко, скажу я вам, чувствовать себя гражданином мира, воспитанным на русской культуре. Сладко, а сразу после этого — горько. Мне многие говорили и говорят: что ты здесь делаешь? Надо ехать на Запад, там просто больше вменяемых людей, до которых можно достучаться.

Если не кривить душой, думаю (нет: хочется думать), так оно и есть. Я не вижу здесь, в русскоязычной Беларуси или в России, людей, способных ответственно и красиво мыслить. Умных сумасшедших хватает, талантливых дураков пруд пруди, а просто умных, чутких к смыслам и умонастроениям, — словно война повыбивала.

Здесь мне не к кому обращаться. Пишу в космос, как будто на роду написано общаться со звездами.

Но...

У нас популярно нелепое выражение из заурядного фильма, объявленного национальным достоянием: «за державу обидно». Мне за державу не обидно.

Тут русские получают то, что они заслуживают. Богу богово, а дуракам то, что они имеют.

Мне обидно за русскую культуру.

Если уж быть гражданином Вселенной, то следует честно признать: русская культура, особенно литература, в полной мере всемирное достояние. Возможности языка, менталитета и традиций — это уникальный креативный сплав. Бросать вот это все — рука не поднимается. Вершины развития духа человеческого — в том числе и здесь.

Я не уезжаю отсюда именно потому, что ощущаю себя гражданином Вселенной.

Хотите, считайте это патриотизмом, хотите — снобизмом. Любые социальные аршины, приложенные к личности, выглядят глупо, косно, необъективно.

Странная штука судьба: если ориентироваться по звездам, можно с блеском в глазах жить и на болоте. А вот если не видно звезд, то и рай превращается в хлев.

Я не получаю удовольствия от того, что поступаю вопреки общепринятому; я получаю удовольствие от того, что поступаю в соответствии с наднациональной, научно обоснованной логикой.

…Боже мой, сколько во мне пафоса! Я его все стараюсь утилизировать, переплавить в иронию, но порой пар рвет котел. Получается — бум! Трахтарарах! Фейерверк. Звезды…

У меня всегда были со звездами сложные отношения. Я только недавно смог сформулировать то, что понял давным-давно, еще в отрочестве. Мне всегда было жутко неловко, можно сказать, стыдно за людей, по недоразумению называющих себя звездами. Любая «говорящая голова» с телеэкрана — звезда, каждая «вешалка с подиума» — звезда, «поющие трусы» — созвездия, футболист — уже мегазвезда, звезда сериала, звезда детектива, порнозвезда, звезда политики, шоу-бизнеса, спорта…

Звезды звездят в звездариуме озвезденно.

Звезды плавно кучкуются в созвездия, которые объявляют себя элитой — спорта, политики, литературы… Просим любить и жаловать.

Почему — стыдно?

Потому что звездой может быть только личность, которая внесла лепту в развитие культуры. Вне культурных критериев — нет звезд. Так, искры от костра — вспыхнули роем и пропали горсткой пепла навсегда. Попробуйте соответствовать информационному канону: истина — добро — красота. Вот Лев Толстой — звезда, Рахманинов — звезда. Микеланджело, Моцарт, Пушкин. Даже Шекспир. Звезды сияют, не тускнеют, притягивают, они всегда на своем уникальном месте, которое видно с любой точки Земли, и сколько бы звезд ни было, у каждой свое имя. Стать звездой — это огромное культурное событие. Телеведущий (-ая)?

Неловко за публичного человека, встрявшего со свиным рылом в калашный ряд. Не могу отделаться от ощущения, уходящего корнями почти в детство: называя очередного поп-идола звездой, его едва ли не намеренно выставляют форменным дураком. Так, чумазому мальчику, с помощью хворостины отогнавшего гуся, говорят: «Да ты, братец, истинный Александр Македонский! Наполеон, практически!»

И мальчик, несколько неожиданно для себя попавший в сомнительный звездный ряд, надувает губы, выпячивает пузцо и ступает архистратигом.

Элита — это прежде всего духовная (культурная) элита; политики и олигархи, власть предержащие и потому мнящие себя элитой (по самому что ни на есть природному, то бишь, первородному, критерию: кто силен — тот и прав), — это псевдоэлита. Не звезды. Звезда лучится мыслью.

Долгое время я не в состоянии был сопротивляться логике «общественного мнения» (читай — мнению элиты), давящего на каждое мыслящее существо свинцовым облаком: N, без сомнения, подонок, однако это нисколько не мешает быть ему гениальным артистом (режиссером, писателем, музыкантом, философом — да кем угодно, звездой любого амплуа). Гений и злодейство — как раз то, что надо. Два в одном.

Поддон, второе дно. Скелет в гардеробе. Как без этого! Нет скелета — нет звезды. А если второе дно мешает тебе признать гениальность, то пеняй на себя: других звезд не держим. Пардон.

Согласен: гений и злодейство — это культура плюс натура. Но кто сказал, что они совместны? Противоречивое единство — это одно, а совместимость — это другое. Поединок роковой — это честно и достойно, это по культурным меркам; а вот и нашим и вашим — это фактическая капитуляция культуры.

Все ваши подонки не тянут на культурных героев не потому, что они грешны (кто не без греха? разве что не выделившиеся из природы «малые сии»), а потому, что они подонки. Я не признаю великими людей, которые с удовольствием уступают пороку, и главное, считают это нормальным.

Ежели грешишь, называй вещи своими именами. Звезды излучают энергию нравственного закона.

При этом звезды действительно гениальны.

Интересно: сколько еще понятого мной я так и не успел сформулировать, не осознал, хотя и всю жизнь прожил с этим смутным пониманием, вошедшим в мой духовный состав?

Мы всю жизнь бежим за собой, догоняем себя — и оказываемся то умнее, то глупее себя, то достойными, то недостойными себя.

38

Меня интересовал человек, который органически не выносит пошлость.

Пошлость.

Необходимо выбрать время, место, контекст и аудиторию — и тогда пошлость может выглядеть остроумием; а иногда стерильные речи могут выглядеть пошлостью.

Вкус, чувство меры, умение общаться: вот гарантия от пошлости. А табу на «грязные» темы — это всего лишь чистоплюйство, то есть отсутствие вкуса, чувства меры и умения общаться.

Пошлость — это стратегическая тема. В определенном смысле гораздо важнее не то, что любит человек, а то, что он ненавидит. Если человек не сторонится пошлости сначала инстинктивно, а потом и сознательно, то что бы ни любил такой человек, плесень пошлости все испортит.

Ненависть к пошлости счастливо окружала меня всю мою сознательную жизнь. Неудивительно, что к этой теме я возвращался постоянно. Иногда мне удавалось сказать на тему пошлости нечто достойное внимания — не пошлое.

Например.

* * *

Имя творцу делает ненависть к пошлости; с годами, однако, все чаще хочется найти общий язык с теми, кого в зрелые годы так продуктивно презирал.

Мудрость всегда граничит с капитуляцией.

* * *

Жизнь может торжествовать только через пошлость.

* * *

Жить — значит пошлеть, становиться всё более и более пошлым.

Противостояние пошлости будет приравнено ближними твоими к сепаратным соглашениям со смертью.

* * *

С пошлостью надо быть осторожней, ибо самая большая пошлость рождается великими идеалами.

* * *

Пошлость — это истина, испохабленная низким вкусом.

Пошлость начинается там, где психологическое приспособление выдается за познание.

* * *

Самая большая пошлость — делать вид, что истины не существует.

* * *

Одним из самых впечатляющих проявлений пошлости для меня были и остаются две самые распространенные и жизнеспособные формы брака. Первая — когда доминирует женщина (не мудрствуя лукаво назовем эту форму матриархат); вторая — когда доминирует мужчина (патриархат, соответственно).

Возможно, иных жизнеспособных форм брака и вовсе не существует; однако смотреть на эту пошлость, на отсутствие достоинства, ума, свободы, которые непостижимым образом превращаются в «счастье — это когда любимый рядом», — смотреть на эту человеческую комедию, в основе которой лежит трагедия, просто выше моих сил.

В основе союза между мужчиной и женщиной, по-моему, должна лежать любовь, о которой живущие при матриархате или патриархате не имеют ни малейшего представления.

Кстати, на пошлость, как и на истину, нельзя смотреть в упор. Что-то происходит, мгновенно и резко истончается защитный духовный слой, и ты становишься беззащитен перед пошлостью. Нельзя пускать ее в свою душу и жизнь.

А ведь каналы ТВ просто выходят из берегов: мутная стихия пошлости хлынула в народ, и кажется, всемирный потоп не за горами. Всевозможные

шоу, в которых люди при всем честном народе обнажаются и обсуждают свои, якобы сложные и запутанные, личные проблемы на публике, на миру, имеют небывалые рейтинги.

Иными словами, в этом участвуют почти все. И я уверен, что инфекция пошлости распространяется со сказочной скоростью. У меня впечатление, что мои потенциальные читатели уже не понимают: о чем я?

Я не знаю, что делать; зато я твердо знаю, что я ненавижу пошлость, которой можно противопоставить только высокие образцы мыслей и чувств. И я не могу сказать, что борюсь с пошлостью, — это и есть ипостась пошлости, ради всего святого! Я ее просто ненавижу: это здоровая реакция здорового организма (тело, душа, дух: вкупе) на нездоровую духовную интервенцию.

Еще одним впечатляющим проявлением пошлости я считаю зависть таланта к другому таланту. Это то, о чем «Моцарт и Сальери». Зависть начинает рядиться в самые светлые одежды. Суть в том, что самые элементарные пороки — лицемерие, жадность, тупость — принимают форму изысканных добродетелей. Ничто так не унижает талант, как зависть, считаю я. И унизившим себя мне трудно найти оправдание. Вот почему так мало достойных людей среди талантов: к талантам пошлость липнет особенно.

Собственно, талант, к которому не прилипла пошлость, — это гений.

Третью разновидность пошлости, невыносимой для меня, я бы назвал гносеологическим смирением. Когда речь заходит об истине, принято делать вид (и это неукоснительное правило хорошего тона и одновременно признак образованности), что говорящий о ней скромняжка представления не имеет о том, что есть истина.

Он же не Бог, верно?

Вот он и т*у*пит очи долу. Туп*и*т.

Смирение как форма глумления над истиной — это у людей в ранге святости. Свои представления об истине (чаще всего примитивные, например: истина в том, что истины нет) пошляк маскирует под добродетель. Отважиться обнаружить свой взгляд на мир — это гордыня. Порок!

Предавать разум свой, единственную свою надежу и опору, — это ли не пошлейшая слабость!

И, наконец, самое ненавистное проявление слабости человеческой (которое лицемерно выдается за силу): вера в сверхъестественное, в чудо, в принципиальную непознаваемость мира. Способом реализации веры выступают надежда и, понятное дело, любовь.

Вероисповедание, то есть, отношения человека с разумом, становится нравственной характеристикой человека; только при этом чем меньше вы верите в разум, тем лучше это характеризует вас как человека.

Отсюда следует: вероисповедание, вера — это форма безнравственности, форма зла, выполняющая функции морали.

Во что верите? В то, что без лжи нельзя прожить?

Вот возразите против святой триады — и вы сразу окажетесь в стане человеконенавистников.

Об истине человек не имеет представления, но в том, что вера отражает истинный порядок вещей, он не сомневается. Верую, ибо абсурдно.

Вера — это корень пошлости, с точки зрения личности и культуры.

* * *

И вот чему научили меня мои простые отношения с пошлостью. Чем больше ты ненавидишь пошлость и чем талантливее ты ее разоблачаешь — тем меньше становится у тебя (по)читателей. Если тебе удалось сказать на тему пошлости нечто изумительно непошлое — читателей у тебя не останется вовсе.

И в чем, как вы думаете, вас станут упрекать прежде всего от имени возмущенной, хотя и не существующей, читательской аудитории (как правило, нападать на вас будут избранные пошляки, которых вы уязвили в самое тайное)?

В пошлости. В том, что вы — разносчик пошлости. В том, что вы лишаете человека веры, надежды и любви.

Вот где требуется редкий вид мужества, позволяющий вам мобилизовать все ресурсы, чтобы не сойти с ума.

Великая литература по определению лишает себя читательской аудитории. И это не фигура речи, не дешевый (то есть, пошлый) парадокс — это, увы, закон.

Я уверен: великая литература создается не для читателей; великая литература расчищает завалы пошлости. И если у такой литературы появляются читатели (а они появляются, к чему лукавить, только не толпой, а редкой цепочкой, лицом в затылочек), то не потому, что литература нашла своего читателя, а потому, что разумный читатель нашел и обрел язык культуры. Великий читатель понимает, что источником веры, надежды и любви становится разум, а не дремучие представления «истинно верующих».

Но великая литература существует не за счет таких читателей (низкий им поклон и уважуха); великая литература существует за счет читателей обманутых — принявших противостояние пошлости за самый изысканный вид пошлости. Они видят и находят в великой литературе не то, что там есть, а то, что они хотят увидеть. Подайте убогим «элитарное» — они просто изнывают от серости будней.

И таким читателям поклон: они образуют среду, в которой великое произведение живет, не умирает, продолжает существовать.

С некоторых пор меня просто бесит, когда я вижу отношение к литературе как к служанке общественной морали, как к идеологической обслуге, когда от литературы требуют образцов пошлости, которым станут рукоплескать и которые разойдутся в массы (а иного отношения я не вижу).

Это не литература, это предательство. Предательство истины, культуры, личности.

Литература служит культуре, а не представлениям пошляков о культуре. Ты читаешь роман, а роман читает тебя: это здорово сказано Сартром, большим пошляком, честно говоря.

Любое искажение истины вне зависимости от степени благих намерений — это модус пошлости. Нет вкуса к истине, нет дара постигать и выражать ее — не берись за литературу, ибо в лучшем случае выйдет громкоговорящая пошлость.

Эта тема неисчерпаема, и если нарушить чувство меры и слишком долго говорить о больном и убийственном — дело может обернуться самым страшным: пошлостью.

Никто не застрахован. Великие — прежде всего.

Ненавижу пошлость, эту оборотную сторону всего самого светлого на Земле.

Хотя, если разобраться, пошлость ненавидеть глупо: единственное, что уберегает тебя от пошлости, — это противостояние ей.

Но других чувств по отношению к пошлости у меня нет.

39

К бардовской песне был равнодушен, презирая ее культурным инстинктом и считая ее де-факто феноменом субкультуры.

Это тоже имеет отношение к пошлости.

Вот, в частности, Владимир Семенович Высоцкий. Считается явлением духа. Вершиной культуры. Великим.

На этот счет есть большие сомнения.

Из того, что известно о нем, легко сделать вывод: по-человечески он был, мягко говоря, невыносим. Мне это очень хорошо известно по опыту общения с А. В. Егоровым. «Маленькие слабости» большого человека — это катастрофа для окружающих.

Я помню, Алексей Васильевич с тяжкого похмелья говаривал:

— Боже мой, что за утро! Толька, ты вдумайся, я пережил в своей жизни несколько тысяч подобных утр. Кошмарных утр.

От себя добавлю: следовательно, как несложно подсчитать, несколько тысяч кошмарных вечеров.

А также дней.

В таком состоянии могучая личность Егорова находилась в полуразобранном состоянии. Общаться с ним не представлялось возможным.

Не думаю, что с Высоцким (которого Егоров, кстати, обожал) дело обстояло намного лучше.

Зачем же творить миф о нем как о выдающемся человеке?

Он был ярким, колоритным, возможно, обаятельным; может быть, он был достоин любви; но он не был достойным уважения человеком в полном и точном смысле этих слов. Слишком много дерьма в жизни алкашей.

Актер из Высоцкого был попросту «никакой-никакущий». Этот его «московский» Гамлет — дешевая попса от начала до конца. Высоцкого сложно воспринимать как масштабное культурное явление.

Талантливые песни в бесталанном исполнении не могут считаться достаточным основанием для того, чтобы называть человека великим.

Называть человека великим можно тогда, когда он велик во всех проявлениях — прежде всего, в нравственно-философском (по этому параметру Высоцкому было далеко до Егорова). Называть же великим того, кто отважился держать фигу в кармане, поступаясь при этом истиной, кто был рупором общественных настроений, то есть самого что ни на есть пошлого коллективного бессознательного, — это явное и преднамеренное занижение культурной планки, это в чистом виде пошлость.

В мое отношение к Высоцкому, увы, вкралась вот эта нота протеста против пошлости; возможно, я отчасти несправедлив к интересному поэту и барду. Но называть его великим — значит, во-первых, унижать подлинно великих и, во-вторых, саму номинацию культурное величие. Зачем?

Высоцкий сегодня стал инструментом для манипулирования массовым сознанием, символом для толпы — в значительно большей степени социальным, нежели духовным символом.

В культуре он, вольно или невольно, стал символом победы социального над духовным.

В философском смысле это и есть формула пошлости. За что он боролся?

Вот на то и напоролся.

* * *

Я сегодня сел за роман, настроился на рубрику *ихтиандр*, он же *лишний человек*, который соотносится с понятием *великое явление духа*, как вдруг написал такое (см. ниже).

Разве это имеет отношение к моему роману «Авто, био, граф и Я»?

04.09.2011

Вся загадка Пушкина заключается в его чуткости к персоноцентризму. Он выбирал сюжеты и коллизии, где градус персоноцентрической валентности был заметно выше того градуса, в котором жила эпохи. Не сюжеты сами по себе волнуют у Пушкина, а его обостренное отношение к проблемам личности.

Возьмите всю хрестоматийную лирику, возьмите поэмы, возьмите «Маленькие трагедии», возьмите прозу, возьмите, наконец, «Евгения Онегина», — возьмите все это и уберите оттуда личность. И что же?

И Пушкина не станет.

Пушкин потому шире своей эпохи, что он умел говорить на языке вечности — на языке персоноцентрической культуры.

И больше нигде не ищите золота.

Вся художественная гениальность Пушкина вырастает из *аристократического интереса к собственной персоне*.

Из этих четырех слов ключевыми являются все. Уберите определение *аристократический* — и эгоистический интерес к себе обернется пошлостью; замените слово *интерес* на любое другое менее (или слишком) здоровое отношение — и вы столкнетесь со случаем классической патологии; абсолютизируйте понятие *собственной* — и вновь получите самый избитый сюжет в мировой культуре; уберите *персону* — и все предыдущие слова превращаются в пустую погремушку.

Аристократический интерес — это гарантия того, что интерес к себе становится интересом к личности в себе, к личности как таковой.

Интерес к личности в себе был естественной потребностью Пушкина — вот что кажется непостижимым сегодня, в эпоху демократии. Пушкин отважился на своего рода древнегреческий трюк — обнаружить божественное начало в себе, — повторенный во времена, когда интерес к личности властями не возбранялся в силу его отвлеченности, следовательно, политической невостребованности, а интерес к демосу, к маленькому человеку воспринимался не столько как форма сочувствия к бесправному крепостному («права и свободы» могли ведь и насторожить), сколько как способ проявления все той же личности (сочувствие по отношению к «неаристократическому бытию» — это весьма аристократический жест): относись к другому так, как ты хотел бы, чтобы он относился к тебе.

Пушкин прожил культурную жизнь, жизнь личности — это заметно даже по невинной «Золотой рыбке». Вот почему русскими он воспринимается как

небожитель, как культурная точка отсчета (и это замечательно), а иностранцами — как маловразумительная экзотика (и это печально).

Загадка русскости Пушкина в том, что русского в нем, по сути, ничего и нет.

Да, Пушкин совершил невозможное — но не о титанических усилиях гения здесь следует говорить (это миф бездарей: моцартианское начало пришлось очень даже кстати, оно не отягощало, а скрашивало судьбу), а о том, что ему удалось прожить жизнь личности. Аристократу духа сложно уцелеть, это вид, вечно находящийся на грани исчезновения. Прожить и не нарваться на катастрофу, хоть какое-то время полноценно существовать — это из области чудес. Своей судьбой и творчеством ему удалось воспроизвести архетип существования Христа: вот что будоражит сколько-нибудь развитое сознание в фигуре Пушкина. Мы говорим об архетипе восприятия колоссальной культурно значимой фигуры, но совершенно не о сути Христа. Тайную жизнь духа Пушкин делал явной, а его хвалят и хулят совершенно не за его заслуги и прегрешения. Аристократическое презрение к тайнам, столь любезным черни, тщатся сделать самой большой тайной поэта.

Пушкина чтят, преклоняются перед ним — и не понимают его.

Но никаких тайн нет. Есть факт: сотворение невозможного.

Строго говоря, интерес к Пушкину — это интерес не к сакральному, а к культуре; равнодушие к Пушкину — равнодушие к культуре, вызывающее волну интереса к непостижимому.

Вот почему общение с Пушкиным — это общение с личностью в себе.

Никаким властям, конечно, такое общение не нравится: оно отнимает время и энергию, принадлежащие, с точки зрения сильных мира сего, политике и экономике.

Никаким властям, конечно, не нравится Пушкин. И вряд ли когда-нибудь понравится.

Они боятся его, ибо не понимают, поэтому прикрывают свой страх ледяным почтением (в форме бронзовых цитат не к месту), на корню убивающим всякий интерес к творчеству поэта.

Да не тут-то было: вы, господа, уже вылепили из него эфиопское чудо, курьез, мегазвезду. И теперь вы, меньше всего на свете интересующиеся собственной персоной, хотите сделать из него «демократически мыслящего» союзника. Из Пушкина. Из аристократа. Презиравшего вас еще двести лет тому назад.

«Бог помочь вам, друзья мои», — как выразился однажды поэт. Только напрасно все это.

Сегодня надо разглядеть в Пушкине эталон, образец. Нечто недоступное черни, взыскующей чуда.

Это и будет тот самый памятник нерукотворный (покорнейше прошу не путать с нерукотворным ликом).

* * *

Сначала эта импровизация несколько меня озадачила, и даже поставила в тупик. Какое отношение вот «это о Пушкине» имеет к моему роману?

Если никакого, то зачем, спрашивается, я это писал?

Нельзя же вообще не считаться с логикой бессознательного, иначе не извлечешь роман из себя. Следовательно, записанное мной должно иметь отношение к роману.

Я когда-то догадался: бессознательное не врет, но оно никогда не скажет правды. Где правда?

По размышлении я пришел к такому выводу: роман «Авто, био, граф и Я» пишет человек, искренне верящий в то, что он написал 04.09.2011.

Это немало. Если бы я иначе относился к Пушкину, мой роман был бы иным, верно?

Но тут возник следующий вопрос: что я пишу, когда пишу роман «Авто, био, граф и Я»?

В этом месте бессознательное скривило мне рожицу, дескать, плюнь ты на этот вопрос. Само как-нибудь утрясется.

И я с уважением отнесся к кривляке.

* * *

Продолжая думать об *ихтиандре*, я вспомнил такой эпизод «из творческой лаборатории».

Обычно компьютерные заставки мне делал кто-нибудь другой; чаще всего они переходили по наследству и оставались висеть на рабочем столе до тех пор, пока кто-нибудь по какой-нибудь причине их не поменяет. Мне было все равно, я не придавал «картинкам» значения. Просто не замечал, как не замечаю ничего вокруг себя, когда сажусь работать. У меня нет предметов, знаков, музыки или чего-нибудь в этом роде, что помогало бы мне настраиваться на работу. Меня настраивают тексты.

И вот однажды, наводя редакторский лоск на свой роман «Всего лишь зеркало…», я вновь всмотрелся в картину южнонидерландского художника Питера Брейгеля (Старшего) «Падение Икара».

Мне впервые захотелось иметь в качестве заставки что-то конкретное, не вообще красивое, или памятное, или еще какое, а вот именно эту картину. И общий колорит, и содержание настолько были мне близки, настолько веселили сердце любезной мне иронией, что неизменно доставляли удовольствие.

Картина в моем романе описана следующим образом.

«Вот вам Божий мир, состоящий из будничных забот: люди пашут землю, занимаются скотоводством, рыбачат — как говорится, добывают хлеб насущный. Словом, живут, послушные зову природы. Суета сует. А тот, кто дерзнул подняться выше всех, воспарить над суетой, долететь до Солнца, как-то неуклюже сверзился, булькнул в воду — и никто этого даже не заметил.

Вот пастух среди деловито жующих овец (он близоруко смотрит в небо: его интересует, конечно, погода, а не чиркнувший по тучке человек воспаривший, подобные глупости добропорядочного пастуха не волнуют), вот пахарь на зеленом мысу (в поте лица своего, разумеется, поэтому лица-то, собственно, и нет: важно, что он пашет, а не какое у него лицо), а вот крупным планом впечатляющий круп его помощницы, доброй лошади; пахарь в алой рубахе со знающей свое дело лошадью выше всех над уровнем моря, ближе всех к небу, между прочим, по принятой Брейгелем иерархии; вот почему рядом с землепашцем — меч и мошна, набитая златом (поближе к тебе, зритель, подальше от дурака Икара, лица которого, кстати, по понятным причинам также не разобрать); вот моряки доблестного военно-торгового флота, уходящие в море: им тоже не до праздного глазения, ибо и они заняты делом, они ставят паруса. Все дышит и пышет благонравием.

И среди этого мирского благолепия маленьким диссонансом, только обостряющим чувство гармонии, нелепо торчат голые ноги бунтаря из лужи залива. Перья распавшихся крыльев ветер уносит смешливый.

Самое смешное и трагичное — Икара в упор не заметили. Ни одна душа не отреагировала на первый полет человека в космос».

В том числе Высоцкий. Он не писал об ихтиандре или об Икаре, как это делали все великие.

А зря.

* * *

И я не ошибся: всякий раз, когда я садился за компьютер, на лице моем непроизвольно расплывалась философская ухмылка.

Только вот незадача. На рабочем столе, где и располагается заставка, есть так называемая *мусорная корзина*, где хранятся удаленные файлы. Она оказалась как раз на месте падения Икара, ровно в той точке, куда он булькнул, и ноги Дедалова сына торчали у меня из мусорной корзины.

Я не стал ничего менять или исправлять. Этот забавный штрих только продлевал мою ухмылку.

40

В жизни мне пришлось применять новую — маргинальную — культурную стратегию, которая разработана была в моих научных и художественных работах. Когда я работал, я жил; когда я живу — я работаю.

Согласен: ничто не ново под луной. Это как пить дать.

С одной лишь поправкой: новое все же есть — но это хорошо забытое старое.

Вопрос: насколько надежно оно забыто?

Ибо: чем крепче забыто старое, тем новее кажется новое.

Все это к тому говорится, что я в жизни своей ориентируюсь на *новую культурную модель*, для меня новую, потому что я не в состоянии оценить, насколько она нова.

Суть модели такова. Я сегодня, в здравом уме и ясной памяти, с некоторым даже энтузиазмом готовлюсь к печальному, а именно: готовлюсь быть неизвестным при жизни и стать известным когда-нибудь завтра, после смерти, не в этой жизни. Относительно трезво оценивая свои возможности и свой потенциал, я не теряю уверенности, что должен быть востребован в будущем. Персоноцентрическая модель культуры, научная, полунаучная и художественная, кажется, нигде и никогда до меня в таком — целостном — качестве не разрабатывалась.

Можно сказать, что еще Сократ впервые выдвинул схожий тип освоения мира, и это будет справедливо; однако понятие *разум* сегодня употребляется в существенно ином смысле, понятия *вера*, *бессознательное*, *диалектика* изучены гораздо более полно; получается, Сократ говорил о том, да не о том.

Приведу аналогию, хотя и весьма хромую: подросток и зрелый человек могут говорить об одном и том же, но при этом они вкладывают в свои рассуждения разный смысл.

Меня не интересует жизнь социально-идеологическая сама по себе; меня интересует жизнь политическая, экономическая, идеологическая и всякая

иная как проявление духовного, нравственно-философского начала в человеке — меня интересует социально-политический блок в его отношении к личности, поскольку именно личность, по моему мнению, вскоре станет — должна стать — главной движущей силой прогресса.

Или личность — или, не дай бог…

Именно поэтому я лишен политического темперамента: меня интересует элита духа, меритократия, а не элита власти и денег. Социальные амбиции отвлекают от главного; хотя в главном также присутствуют социальные амбиции.

Ясно, что сегодня права личности никого не волнуют и в ближайшем будущем волновать не собираются. Наивно надеяться, что псевдоэлита, которую волнует псевдокультура, вдруг заинтересуется подлинными культурными ценностями.

И все же я сегодня сознательно выбираю судьбу аутсайдера — чтобы завтра, когда меня не станет, стать лидером.

Может стать, а может и не стать. Ставки в этой игре высоки.

Я не бунтую, не протестую и не вступаю в конфронтацию с социумом — просто потому, что это глупо. Мое отношение к социуму нельзя назвать равнодушием, в еще меньшей степени — презрением. Точнее всего будет сказать так: я отношусь к нему как к неизбежному злу. Природа, натура, с точки зрения культуры, представляет собой прелестную чистоту, неиспорченность, которая легко трансформируется в зло. Но в известной степени я играю по правилам социума, где меня принимают за своего: так легче добиться своих целей.

Интересно, применялась ли подобная — маргинальная — культурная стратегия и тактика, и если да, то в каком модусе?

Было подобное «бесподобное» или нет?

Хорошо забытое старое чаще всего означает: было, да не то.

* * *

И еще по поводу *новой — маргинальной — культурной стратегии.*

Эпоха *авто* — эпоха технологий. Нынче технология — другое имя бога.

Вот и я приобщился к технологии нового Христа (то есть личности): сам пишу о себе. Не Платон, не Марк, Лука, Матфей, Иоанн, не Иуда даже — сам себе евангелист. Автобиография.

Что изменилось?

Изменилось все. Раньше тот, кто писал Евангелие, был жалким субъектом; тот, о ком писали Евангелие, был сакральным объектом.

А сейчас я и субъект, и объект.

Сам себе канонизатор.

Создающий канонизец.

Что-то новенькое в конной авиации, не так ли?

41

Я, Андреев Анатолий Николаевич, родился 28.04.1958 г. в СССР, в г. Североуральске Свердловской области (Российская Федерация). В 1961 г. семья переехала в Таджикистан, где в 1973 г. окончил восемь классов, поступил в музыкальное училище им. С. Хофиза г. Ленинабада (сейчас Ходжент, в другой транскрипции — Худжанд) и окончил его в 1977 г. по классу баян.

В 1977—1979 гг. учился в г. Душанбе (раньше — Сталинабад) в Таджикском государственном институте искусств им. М. Турсун-Заде (отделение актер театра драмы и кино).

С 1979 по 1984 гг. — студент филологического факультета Белгосуниверситета им. В. И. Ленина (г. Минск). После окончания университета в течение четырех лет работал учителем русского языка и литературы…

В своем романе «Маргинал» (2003 г.) я написал: «Я — русский, но вырос в Таджикистане, а живу в Беларуси; я родился на Урале, географически отделяющем Европу от Азии, в великой стране, которой уже не существует, а живу в маленьком, меньше Урала, государстве на окраине Европы, за которым начинается фактическая Азия, в государстве, которое пока никак не может определиться со своим прошлым, не говоря уже о настоящем или будущем».

Моя родина — русский язык и литература, которые ввели меня в пространство культуры; мое Отечество — Союз Советских Социалистических Республик; мой дом — Беларусь; мое гражданство — Вселенная.

С родиной у меня проблемы (точнее, у родины проблемы со мной, ибо она решила отказаться от таких, как я, — просто перестала интересоваться судьбой выброшенных за пределы России); Отечество мое исчезло, так сказать, прошло, как с белых яблонь дым; вот было — и сплыло, и прошло, как возраст, как сон, как утренний туман: далеко не каждый переживает подобный опыт отлучения от почвы. В сухом остатке дом, продуваемый всеми ветрами, и незыблемое, с позиций сегодняшних представлений о мире, гражданство.

Сама судьба подтолкнула меня искать опору не в социальном, а в духовно-экзистенциальном. Все социальное трещит по швам и валится, будто карточный домик, по три раза на день. А вот личность моя от этого только укрепляется, закаляется, и я бы сказал, укореняется.

В моем социалистическом Отечестве, СССР, мировоззренческой точкой отсчета был принцип: сначала думай о Родине, а потом о себе.

Союз развалился, легко развеялся, словно иллюзия барышни, и точка отсчета поменялась: сначала думай о себе, а уж потом «как бы о родине на самом деле».

СССР развалился тогда, когда мне было благословенных 33 года. Как говорится, пришла пора. И я взял себе в союзники вечный принцип: *сначала — думай*. Если тебе дано заниматься этим непростым делом и если ты делаешь это квалифицированно, то рано или поздно ты приходишь к выводу: точкой отсчета в мире должны стать высшие культурные ценности.

В социалистическую эпоху главными были права общества; в капиталистическую эпоху главными стали права человека; а для меня главными являются права личности, которая рождена, чтобы думать.

Некоторые живут и только в связи с этим думают; я же сначала думаю и в связи с этим живу.

Вот почему к родине, Отечеству, дому и гражданству я бы еще добавил Страну обетованную — Культуру, граничащую с родиной и Отечеством, где Разумная Личность имеет шанс обрести Любовь и, если улыбнется Удача во все зубы, даже Счастье.

В этой связи и в этом контексте не все так просто с Отечеством.

Что такое Отечество?

Это то, что с возрастом проходит. Где твои семнадцать лет?

Тю-тю.

Вот ровно там и Отечество.

Ответ неверный. Если родина учит тебя языку культуры, то Отечество прививает тебе азы культуры. Родина и Отечество различаются, как психика и сознание, как мама и папа; Отечество для меня есть вектор мировоззренческой ориентации — еще не вся мировая культура, но ее сегмент, отечественная культура.

Так вот Союз республик, в идеале, задумывался как Союз республик по поводу интересов личности, единое государство создавалось ради того, чтобы в перспективе обеспечить всемирный приоритет высших культурных ценностей. Отсюда великий пафос революции и строительства коммунизма. «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем».

Союз как исторический проект интересен тем, что впервые была сделана ставка на человека, понимаемого как «совокупность общественных отношений», на человека как на существо если не надприродное, то способное противостоять природе в себе. Это можно рассматривать как вызов.

Не стоит говорить, чем это обернулось на практике: это грустная, хотя и весьма поучительная история. Случился грандиозный конфуз. Буржуи взяли верх. Иными словами, человек природный раздавил человека социального без шансов на успех для последнего. «Совокупность общественных отношений» превратилось в грустную риторику, в набор ничего не значащих слов; человек отныне (как, собственно, и во веки веков) вновь обрел статус существа исконно биологического, а потом уж как себе хотите: хотите с оттенком социальным, хотите — психологическим, хотите — духовным. Как скажете. Желудок в панаме стал королем истории. Его Величество Опарыш, хам вполне легитимно вполз на культурный трон и стал диктовать миру права человека.

Но тема «государство и личность» не только не снята с повестки дня, но с каждым днем приобретает все большую и большую актуальность. Советский Союз, проектировавшийся как империя добра, но превратившийся в империю зла, благополучно сгинул. Да здравствует Советский Союз?

Сегодня на смену СССР приходит Евразийский Союз; но не стоит себя обманывать: это объединение совсем по иному поводу — по поводу торжественных похорон личности и культуры. Это буржуйский союз. Политико-экономический. Даже военный. Но никак не культурный.

Проектировщики СССР ввязались в авантюру, обернувшуюся кровавой мясорубкой (по целому ряду причин). Исторически и философски проект был преждевременен, недоношен. Он был запущен невовремя. И случилось то, что случилось. Опыт СССР стал мощным, неотразимым аргументом для тех, кто защищает права человека. И слава им, презирающим в себе личность. Честь и хвала, если хотите.

Но только вот беда: благородная идеология защитников прав человека, ненавистников культуры ведет туда же, куда привели благие намерения коммунистов, а именно: в ад, в старый добрый ад. Попадаем в то же пекло, только с другой, противоположной стороны. Коммунисты налево, антикоммунисты направо.

Да здравствует Советский Союз?

Я не к тому. Да здравствует здравый смысл, разум и диалектическая логика — вот я к чему. Опыт СССР должен стать мощным, неотразимым аргументом для тех, кто защищает права личности. Когда был Союз, мир действительно имел шанс стать многополярным: вектор Союза изначально — пусть коряво и эскизно — направлен был в сторону культуры, весь остальной мир дружно направлялся в никуда, в сторону натуры, в тартарары; сегодня многополярность является формой монополярности. Сегодня единогласно, как при

социализме, правильным курсом идем, товарищи. Ать-два, левой. Кто там шагает правой? Какая сука сбивает нас с ритма и курса?

Не думаю, что мое Отечество прошло, как с белых яблонь дым.

Оно еще вернется. А если нет…

Скажите так… Мол, роща золотая отговорила милым языком.

Что в переводе с поэтического на язык культуры означает: лучше быть живым и культурным, нежели алчным и мертвым.

Как ни крути — получается лирика. Ненадежный фундамент СССР.

Вот почему я считаю, что развалу Союза приличные люди во всем мире должны радоваться с грустью. Это притча о том, как люди с удовольствием отказались от личности в себе, как они главным в человеке признали желудок — не душу, не разум, именно желудок.

* * *

Для меня жить — значит продвигаться не от колыбели до гроба, а от человека — к личности, от натуры — к культуре, от чувства — к мысли; никто не виноват, что это движение одновременно является движением от жизни к смерти.

Не уверен, что подобную неразбериху можно объяснить чьим-то недосмотром; скорее эта бессмыслица образовалась вследствие того, что живем мы в царстве законов. Все законы верны, именно поэтому жизнь заканчивается смертью.

Попробуй возрази.

На это невозможно возразить; но на это, к счастью, иногда можно наплевать. По этому поводу можно погрустить. А грусти противопоставить радость. Между прочим, я не могу предъявить себе претензии в том, что я недооценивал этот очаровательный аргумент — наплевать на законы. Я, как и все люди, его, скорее всего, переоценивал.

Именно поэтому так жалко расставаться с жизнью: жизнь — это единственно возможное в универсуме состояние, когда можно наплевать на законы и почувствовать при этом себя гораздо лучше; но сама жизнь возможна только благодаря законам. На которые мы сию же минуту наплюем, как это и положено в приличном романе.

Я никогда не выдвигал обвинений или обид родине, очевидно, оставляя самое сладкое напоследок. Но сейчас я выскажусь на этот счет. Прошу считать это чем-то вроде внутрисемейных разборок.

Нельзя сказать, что русские лучше или хуже, чем все остальные; но можно сказать, глупее или умнее русские остальных — и это будет ответ на вопрос, почему русские хуже многих.

Обладая потрясающими природными богатствами, под которыми я разумею не только нефть, газ и золото с алмазами, но и природную одаренность этноса, а именно: уникальное соотношение высокой, выше европейской, чувствительности и при этом чуть ниже европейской способности к анализу, — обладая всеми этими дарами русские, возможно, с наихудшим коэффициентом в истории смогли распорядиться своими преимуществами.

Предлагаю поискать причины этого не в особенностях социального мироустройства, не в истории, которая предлагает смену все тех же социальных аранжировок, а в природе человека, которая проявляется через его историю.

Русский — это особый модус универсальной природы человека.

Русский как личность — это космическая история.

Русский — это огромный материк, являющийся одновременно островом.

В отношении истины «русский», характеризующийся своеобразным «синтезом психики и сознания», представляет собой весьма конкурентоспособную информационную модель. Однако в отношении ценностей цивилизации русский прочно занимает скамеечку аутсайдеров.

Сегодня формой проявления силы является не информационная одаренность, а информационная ограниченность. Надо не понимать, а знать, не действовать, а организовывать действия, не чувствовать, а испытывать эмоции.

Все это в известном смысле работает против русских, у которых все наперекосяк, все с привкусом парадокса; у них, к примеру, хватает ума, но в изрядном дефиците интеллект. Это ведь они сами о себе сказали: умная голова, да дураку досталась. Им хватает ума, чтобы понять человека, но не хватает интеллекта, чтобы «умом понять Россию».

Умом Россию не понять — это же просто глупость. Вот почему русские выглядят глупее, чем лидеры цивилизации, будучи на самом деле умнее.

Можно сказать, когда караван повернет назад, хромой верблюд окажется первым; а можно сказать иначе: когда караван цивилизации повернет в сторону культуры, хромой верблюд безнадежно отстанет. Он может просто не дойти.

Если уж мы в караване цивилизации, надо что-то делать с хромотой.

Надо подтягиваться. Уже само Время, а не караван, не ждет.

* * *

Кстати, по поводу рощи золотой…

Я бы эпиграфом для всей культуры цивилизации избрал строки Есенина:

> Как дерево роняет тихо листья,
> Так я роняю грустные слова.
> И если время, ветром разметая,
> Сгребет их все в один ненужный ком...
> Скажите так... что роща золотая
> Отговорила милым языком.

В них есть пророческий смысл.

Роняю слова, как дерево листья, — человек уподобляется живому, но бессловесному существу, из слов уходит смысл, ронять слова — деятельность бессознательная, как бы культурная.

И теперь вот ветер времени собирает из слов — один ком, чтобы не сказать «ненужный».

Слова могут быть только грустными.

Это предчувствие. Эпитафия. Это расставание с эпохой, когда слова уже были, но они были еще бессмысленными. И оттого грустными. Как мычание.

Эпоха цивилизации отговорила — языком милым, кто спорит. Но бессмысленным. Глуповатым.

Нужен иной язык.

Чао, роща.

42

В 1998 г. в МГУ им. М. В. Ломоносова защитил докторскую диссертацию.

Мне никогда не нравилась Москва.

Я знаю, что обожание и ненависть к Москве растут из одного корня — из подобострастия, берущего свое начало в неуверенности в себе.

Я отдаю себе отчет, что расхожее выражение «Москва слезам не верит» можно трактовать как роскошный, едва ли не царский жест: дескать, утрите слезы слабости, молодой человек, и сделайте что-нибудь достойное — тогда вас заметят. Москва верит не слезам, а…

Скажем, делам. Русская вариация на тему общечеловеческого мифа *станьте Солнцем — и вас все увидят*.

Тем не менее, двусмысленную мантру «Москва слезам не верит» я всегда понимал так: сильному наплевать, что слабый плачет. Не верю, что тебе плохо. Причины, по которым слабый вынужден плакать, в последнюю очередь интересуют «Москву», некую горнюю инстанцию. Что тут лестного для Москвы?

Я тоже не люблю слез; но слезы бывают разные, и сила в московском понимании чаще всего является формой слабости. Но высокомерной Москве не до нюансов, не до мелочей, в которых, как известно, сокрыт дьявол.

Я почувствовал, что в Москве научную карьеру можно сделать только одним способом: занять сторону сильнейшего. Но меня интересовала не сила, а истина. Москва истине не верит, она верит силе: вот от какого принципа я отказывался в жизни, когда отказывался от Москвы.

Ставка на силу — это скучно.

Ставка на истину — тут тебе и сила духа, и романтика, и все на свете.

В Москве, по моим ощущениям, чрезвычайно большая концентрация людей, не способных постигать истину, однако удивительно приспособленных к тому, чтобы вычислять людей, способных к восприятию истины. Вот эти последние, умные и богато одаренные, и становятся объектом травли свободолюбивых интеллектуалов.

Все зло Москвы я определяю так: интеллектуалы, считающие себя разумными людьми, элитой, крепко держащей за бороду самого Господа Бога.

В сущности так оно и есть, ибо интеллектуалы являются элитой того легиона, который бессознательно относится к культуре, — элитой образованных идиотов. Именно они, беспринципные интеллектуалы, хаотически размножаясь в невероятном количестве, создают невыносимый нравственно-философский климат. Процент «культурно озабоченных» на душу населения в Москве велик как нигде.

С другой стороны, именно из среды интеллектуалов нет-нет да и вылучаются люди умные, из кого же еще. Москва, с одной стороны, ближе всех к культуре, с другой — самый мощный бастион на пути к ней. Последний. Роковой. Непробиваемый.

Общечеловеческий миф *в упор не замечать Солнце* в русском варианте зазвучал так: Москва слезам не верит.

Мне никогда не нравилась Москва, к которой я всегда тянулся.

И я с удовольствием отказался от «Москвы» как от способа решения своих проблем. Истину лучше искать не в Москве; в Москве ты будешь искать не истину, а чрезвычайно подвижное, ускользающее от определения, все устремленное в завтра, самое продвинутое представление о том, что сегодня следует считать истиной.

Но исторически сложилось так, что истина, не признанная таковой в Москве, не считается истиной. Если Москва не верит, следовательно, тебе не поверит никто, ибо Москва — это культ силы, и больше всего «москвы» именно в провинции — вот почему московский принцип глубоко провинциален, не

культурен. Верит, не верит, слезы, не слезы. Для меня главное — понимать, то есть ориентироваться в мире при помощи сознания, а Москва — лидер в области бессознательных, русских технологий постижения истины.

Мне с Москвой было в одну сторону, но не пути.

В конце концов, все должно было закончиться так, как оно и закончилось: Москва оказалась мне нужнее, чем я ей. Кто поверит мне?

Поверят Москве, взрастившей немало великих культурных чемпионов.

Все это не к чести Москвы, как я полагаю. Однако такова реальность: принцип «Москва уважает только культ силы» заставил с собой считаться. Уважать себя заставил. Москва, как всегда, бездумно побеждает, ибо она привыкла не замечать судьбоносных поражений. Москву надо убедить, заставить верить, — в известном смысле, применить силу.

Я не избежал столкновения с Москвой. Но сейчас мы находимся уже не в столь безнадежно неравных весовых категориях: я уже успел сделать то, что в Москве, скорее всего, мне не позволили бы совершить никогда. Я культурно состоялся. И мне наплевать на Москву с ее законами джунглей. В «культурном» авторитете которой я, увы, нуждаюсь, чтобы и самому стать легитимным.

Возможно, мне гораздо больше по пути с Лондоном. Однако русскому без Москвы никуда. Хоть плачь. На радость Москве.

Но столица не дождется. Противоборство философского сознания с престольным невежеством — это проклятье русских, которое могут снять только русские, кто же еще. Чтобы стать культурными русскими, надо взять свою же Москву.

Какой же русский не любит Москвы?

Такой, как я. Русский европеец. Способный любить сильно, пламенно и нежно.

Только вот русофобов здесь просят не беспокоиться. Им, обитающим в Москве, не по зубам такое русское отношение.

Москва — столица нашей Родины. Это я хорошо помню.

43

Авто, био, граф и Я

Что касается *авто* и *био*.

Био — это, как известно, жизнь, в широком смысле — натура; авто — это, в широком смысле, техника, машины, технологические параметры цивилизации, нечто противоположное жизни, но при этом разнообразящее и облегчающее жизнь.

Это интересная тема.

С другой стороны, *авто* и *био* — это «я» и «жизнь».

Тоже интересная тема.

Сначала о «технике» — о технической и технологической революции.

Что тут сказать?

Они состоялись. И этого вполне достаточно. Аминь.

Как относиться к этому факту?

Как, например, к алкоголю. Для человека умного, следовательно, культивирующего чувство меры, алкоголь разнообразит жизнь. Для человека, делающего, по слабости умственной и душевной, культ «из удовольствий» в широком смысле, то есть, из всего того, что стимулирует духовную жизнь, но не заменяет ее, алкоголь (или «техника») превращается в суррогат жизни.

Когда мы говорим «я живу в эпоху технологической революции» — это печальная характеристика. Ибо тем самым мы говорим: технологическая революция заслонила все остальное. За деревьями стал не виден лес. Техника заслонила главное. Я ни разу не слышал, чтобы говорили так: «я живу в эпоху, когда технологическая революция облегчает мне доступ к эволюции духовной». Это не круто. Надеюсь, когда-нибудь все же будут говорить: «когда варвары жили в эпоху технологических революций, гм-гм…»

Если такое время не наступит, то зачем тогда «техника»?

Если такое время не наступит, виновата будет техника (в техническом смысле, в том смысле, в каком для ребенка палка является причиной «вавы»: техника может стать инструментом уничтожения всех форм жизни, в том числе духовной), — а по сути, уровень мышления, не сумевший превратить прогресс технический в прогресс духовный.

Сам по себе прогресс технический — это не показатель культуры; показатель культуры — всегда показатель качества мышления.

Не знаю, стоит ли проговаривать столь очевидные вещи. Толку от них, похоже, никакого. В свое оправдание скажу, что в данном случае мною движет не чувство долга перед необходимостью всякий раз попенять глупости (так собака исполняет свой священный сторожевой долг, приносящий ей, как правило, дивиденды в виде сахарных косточек), а чувство долга перед необходимостью завершать мысль, потакая чувству гармонии, чувству прекрасного.

Согласен: это также слабость своего рода.

А теперь по поводу «я» и «жизнь».

Странная тема. На первый взгляд — чисто формальная зацепка, формальная привязка к заглавию романа.

На взгляд второй, а затем и третий (а дальше — как сложится) между «я» (субъектом) и «жизнью» существуют отношения, которые иногда бывают непростыми.

«Я» и «жизнь» — это, с одной стороны, «человек, то есть, натура во мне» и «жизнь»; с другой стороны, «личность, то есть, культура во мне» и «жизнь». Натура и жизнь. Культура и жизнь.

Человек во мне знает: человек человеку волк.

Личность во мне обижается: неужели?

Я, единство противоположностей, испытываю комплекс противоречивых чувств, для выражения которых лучше всего подходит форма романа.

Отсюда — «Автобиография». «Авто, био, граф и Я». От А до Я. То есть от натуры к культуре.

От себя к себе.

* * *

Теперь о «граф»ском начале в моем романе.

— Eh biene, mon prince (что в переводе с фр. на русский значило всего лишь «ну, князь») — так начинал каждое свое письмо ко мне из армии мой друг, которого мне сейчас угодно назвать на букву Г. (ему же, кстати, в порыве душевной благодарности двадцать лет спустя я посвятил один из своих романов; мне казалось, что в этом романе я написал наш общий портрет).

Eh biene, mon prince — это первые слова великой эпопеи «Война и мир».

Я начинал свои письма к нему также в духе всемирно-историческом, сколь однообразно, столь и знаково: ну, граф. Нас, филологов, это забав-

ляло. Бессознательно за эталон нами были взяты отношения аристократов духа — князя Андрея Николаевича Болконского и графа Петра Кирилловича Безухова.

И это стало фатальным.

Мой граф действительно оказался одной духовной породы с Безуховым — и нет повести печальнее на свете. Это одно из самых больших моих разочарований в жизни — и в то же время открытий, которое доставило мне немалое духовное удовольствие. Выяснилось, что принадлежать к одной духовной породе — значит очень много, но это далеко не все. Чтобы принадлежать к когорте аристократов духа, необходимы каждодневные, отнюдь не аристократические, а какие-то рабско-галерные усилия.

О, это целая история, озаглавить которую можно словами самого графа Г.: «Мистический зевок».

Вот, если угодно, сия метафизическая история в моей версии.

До поры до времени мы жили с Г. душа в душу — то есть, мы жили так, будто определение «душа в душу» явилось результатом наблюдений кого-то умного за нашими отношениями.

Более того: душа в душу — через фильтр ума.

Потребность общения была острой и насущной. Наше общение было в полном и точном смысле роскошью человеческого общения. Мы общались ежедневно, часто часами. Уверен, общение наше стимулировало наши творческие потенциалы — и вот где-то здесь, в этой сакральной чувствительной зоне, свил себе гнездо белый и пушистый дьявол.

Что я имею в виду?

Мы целых три года (для юности и молодости это немалый срок) учились в университете в одной группе; затем мы двадцать лет вместе работали на одном факультете. Из этих двадцати лет десять лет — те самые лихие девяностые (1990-е) — мы не общались.

Нет, мы не стали врагами, мы просто прекратили общение. Почему?

По прошествии лет, с позиций сегодняшнего понимания жизни, причина мне видится такой.

Мы жили-были, набирались ума-разума, общались в ту эпоху, когда социализм идеологически изживал себя, а все иные альтернативные идеологии находились в состоянии если не зачаточном, то весьма далеком от привлекательной внятности. 1980-е годы были периодом нашего становления.

И мы, разумеется, нашли то, что искали (ибо каждый находит именно то, что он ищет, а не то, что ему хочется найти): мы обрели друга-учителя, наставника-раздолбая Егорова.

Я не мог не отметить этот судьбоносный штрих в моей Автобиографии.

44

То, за чем я ехал в Ленинград, в значительной мере нашел в Минске: судьба свела меня с философски одаренным наставником Егоровым Алексеем Васильевичем, который по профессии был — случается же такое! — преподавателем философии в БГУ, доцентом (свою первую научную книжку, мой первый концептуальный прорыв «Целостный анализ литературного произведения» (1995 г.), я посвящу именно ему, тщательно взвешивая каждое слово: «Другу и учителю Алексею Васильевичу Егорову посвящаю»). В свое время он заканчивал философский факультет Ленинградского университета, аспирантуру в Москве (где одним из его наставников был Э. В. Ильенков). Наши

бесконечные беседы в течение многих лет откроют мне многое. Собственно, в общении с другом моим и учителем А. В. Егоровым я усвоил самое главное: познай себя — и тебе откроется весь мир.

Мой второй роман «Для кого восходит Солнце?», как уже было сказано, я написал в память об Алексее Васильевиче.

Наши бесконечные беседы в течение многих лет начинались при активном участии Г. (собственно, он-то и втянул меня в этот теснейший круг общения, имеющий форму острого, колюще-режущего треугольника), а заканчивались уже без него. Что произошло?

Третий оказался лишним. Произошел тот самый «мистический зевок». Точнее, первая его фаза.

Вот как это случилось.

Философская сказка (не ложь, не намек; скорее, исследование)

В какой-то момент Г. показалось, что наши разговоры о психике и сознании стали превращаться в некую бессодержательную схоластику, оторванную от реальной жизни. Он просто потерял всякий интерес к учению о психике и сознании, которые я впоследствии стал трактовать как два языка культуры. Это произошло, главным образом, по причине того, что Г. оценивал свой собственный творческий потенциал исключительно высоко, и он просто не хотел терять время в беседах с нами, идущими и забредающими куда-то «не в ту степь».

Мы ему стали интересны разве что как яркий пример того, как кошмарно и безнадежно могут заблуждаться умные люди. Это укрепляло его в осознании своей мессианской роли, в том, что некое решающее слово об этом мире доверено сказать именно ему. Как и когда это произойдет — не столь важно; важно то, что когда-нибудь это должно случиться. А мы свою роль в становлении новоявленного мессии уже сыграли: он взял от нас все, что мы могли дать.

Он обладал великолепной памятью, зверским художественным чутьем, до двадцати лет уже состоялся как заурядный поэт и успел разочароваться в возможностях поэзии; мысли свои выражал четко и образно. Он был готов к решающему рывку. Зачем ему смутно мыслящий Андреев, толком не знавший, чего он хочет?

Мы же с Егоровым в свою очередь искренне сожалели о том, что Г. так и не высвободился из тенет психики, о которой столько знал (особенно силен был в разделе «достоевщина», подпольная психология, психопатология etc.). Вот эта трудновыразимая на человеческом языке диалектика «врач, исцелись сам!» многому меня научила. Я в свою очередь воспринимал Г. как наглядное пособие — как жертву диалектики, если угодно, в самой диалектической гуще диалектики — там, где психика *переходит* в сознание.

Но я никогда не держал фигу в кармане. Я открыто говорил то, о чем пишу сейчас, — что приводило к еще большему отдалению, разумеется. *Не врать* уже тогда стало краеугольным камнем моей антропологической философии.

Г. и я смотрели друг на друга, как слепо верующий на прозревшего, при этом каждый из нас считал себя окончательно и бесповоротно прозревшим.

Прошло десять лет. Мы разговаривали, подавали друг другу руку (хотя между нами пробежала огромной величины черная кошка: он даже не обвинил меня, а предъявил претензии в чем-то настолько неясном и нелепом, что-то вроде «ты живешь неправильно, ты готов шагать по трупам, еще не сделал ничего очевидно плохого, но уже в шаге от этого», что всякое выяснение отношений на эту тему чревато было подростковыми соплями), — но темы порядка творчески-философского принципиально обходили (именно по его инициативе, я-то как раз рвался поделиться добытым, но всякий раз он прерывал меня тоном старшего брата или состоявшегося гения, скупо и безапелляционно; баста, дескать, карапузик).

У меня вышло уже несколько книг, в том числе «Культурология. Личность и культура» (1998) и «Психика и сознание: два языка культуры» (2000); в 1998 году я защитил докторскую в МГУ. Естественным образом я начинал превращаться если не в научно значимую, то заметную фигуру, оставаясь при этом самим собой. Уже писался «Легкий мужской роман»…

(Штрих, который читатель оценит в дальнейшем. Обложка сигнального экземпляра необычной *научной монографии* «Психика и сознание: два языка культуры» (в рецензентах — два доктора философских наук) была украшена гранитно-серой фотоврезкой — обрубленным каменным изваянием роденовского «Мыслителя» в профиль; по трезвом размышлении я снял фото, парадоксальным образом опошлявшего *материю мысли*.)

Однажды, после какого-то банкета по случаю очередной конференции, где я легкомысленно пил водку и рассказывал немыслимо скабрезные анекдоты милым дамам, которые покатывались со смеху, он посмотрел на меня другими глазами. Что-то понял, осознал, смекнул, что-то сошлось в его картине мира — словом, не снизошел до меня, а посмотрел откровенно снизу — вверх. Как слепо верующий на прозревшего.

Последующие несколько лет он стал не то чтобы творить из меня кумира, но совершенно определенно создавать культ личности. Мягко говоря, не скупился на комплименты. Вот тут-то и проскользнул сквозь редкие, но стиснутые зубы (чему я не придал особого значения) — «мистический зевок». Означало это примерно следующее.

Будучи, как он считал, гораздо более меня подготовленным к восприятию диалектики психики и сознания, он позволил мне, случайно оказавшемуся рядом, снять сливки, вспахать целину, слопать всю самую вкусную проблематику. При этом создать оригинальную художественно-философскую теорию, честно защитив по ней диссертацию.

Он вроде бы на словах и на деле отдавал мне должное, но при этом оттенок «умыкнул у меня из-под носа бесхозно валявшуюся теорию, чертяка» отчетливо сквозил. Как-то девятым уровнем, интонациями, жестами, шуточками или оговорочками давал иногда понять, что категорию вселенская справедливость еще никто не отменял. Еще есть Божий суд, наперсники разврата, хе-хе-с. Однако повода сомневаться в своей искренности и честности не давал. Я в свою очередь был с ним предельно откровенен. Написанное мною сегодня завтра уже лежало у него на столе. И эта практика велась годами. Я доверял ему абсолютно (или хотел доверять?) — как своему альтер эго.

Долгое время, собственно, почти все нулевые (2000-е), он откровенно работал вторым номером (при этом, как впоследствии выяснилось, он скрупулезно вносил записи в свой «Философский дневник», изданный в 2009 г. томами, датировал их вплоть до минут — пестовал и лелеял некое оружие возмездия — в глубокой тайне от меня). Смирение паче гордости стало его девизом. А я в

принципе не бронзовел. Металл ко мне не лип (я и сейчас предпочитаю оставаться вечно живым). Мне легко давались душевная открытость и повышенная коммуникабельность. Это сейчас я закрываюсь, резко сужаю круг общения, тяготею к двум-трем маскам. Сам я расцениваю это не как тактику бронзовения (как говорится, чур меня), а как защитную реакцию. А тогда…

В один прекрасный день Г. издал свою литературоведческую книгу, целиком и полностью основанную на моих идеях (еще не опубликованных в полном объеме!), и на голубом глазу заявил: «Эти идеи не принадлежат никому. Они ничьи, и я имею право пользоваться ими точно так же, как и ты». — «Но ведь твои и мои коллеги с удовольствием скажут, что я у тебя украл эти «ничьи» идеи! Неужели ты этого не понимаешь?» — сдержанно бушевал я, уязвленный до глубины души.

Вот эта удивительная способность глубокого ума изъясняться вдруг темно, по рабоче-крестьянски, то ли цинично включать дурака, то ли честно-пречестно превращаться в него, поразила меня в очередной раз.

Скандал удалось замять — ценой утраты абсолютного доверия, однако. Он предварил свою книгу посвящением: дескать, все в этой книге основано на идеях Андреева. При этом уже не отдавал мне должное, а словно бросал кость. На, мол, подавись, все тебе мало…

Дружба остывала; мы, строго говоря, уже не дружили, скорее, по инерции тесно общались, поддерживали дружеские отношения, но трещина не зарастала. Что-то уже произошло.

Что именно, я понял несколько позднее, уже после того, как мы окончательно разорвали отношения. А поводом послужил мой развод, моя семейная драма, которую моему лучшему другу угодно было воспринять как фарс. Г. недвусмысленно осудил меня (зная всю подноготную, наблюдая за моими предынфарктными состояниями!) и откровенно занял позицию моралиста и практически святого (а ведь смешно же, черт возьми, нелепо!) — де-юре святого, ибо его рыльце в ореоле пушка никто никак не задокументировал. Потрясающий финт ушами, достойный святоши-прохвоста — но никак не наших отношений. Eh biene, mon prince…

Однако за всем этим скрывались амбиции Сальери от философии. Инфернальный потенциал реваншизма.

Этим разрывом он развязал себе руки и стал штамповать свои строго пронумерованные «философские-префилософские» мысли. Творческая энергия накопилась, и его прорвало.

Нормально. Естественно. Даже браво.

Я болезненно пережил разрыв (с близкими людьми все мои разрывы происходят чрезвычайно болезненно для меня — оказывается, когда предают тебя, в шкуре предателя невольно оказываешься ты сам), потом остыл и, наконец, хладнокровно разъяснил себе следующее.

Все эти годы Г. не просто дружил со мной, он пристально изучал меня как экземпляр, достойный подражания, как феномен, который должен подготовить его, г. Г., к творческому прорыву. Так сказать, сочетал приятное с полезным. Пусть мне удалось снять сливки — зато главное слово о природе человека, *масло масляное*, останется за ним, г. Г. Все тайны творческой кухни, все секреты творческого процесса, все нюансы технологии — все было ему открыто (мои тома «Психики и сознания», уже прочитанные им, до сих пор не готовы к печати, что не означает, конечно, что я их не ценю; ценю и издам).

А что скрывать, думал я? Если тебе не дано, ты все равно не воспользуешься этим.

Дано — бери. Только спасибо не забудь сказать.

Он давно про себя решил, что ему дано, а спасибо — это лишнее. Он, избранный, выжидал. Играл вторым номером, чтобы рано или поздно стать первым. Я не хочу сказать, что с его стороны в нашей дружбе присутствовал только голый расчет, нет, конечно. Но бессознательно расчет присутствовал в немалой, даже в решающей степени — вот что я хочу сказать.

И все вернулось на круги своя. Настораживающих моментов, предшествовавших нашему разрыву, было предостаточно. На каждую мою мысль, креативный логический ход, остроумную реплику — словом, на любую мою творческую находку следовал агрессивно-симметричный ответ: «Я сегодня утром именно это записал в свой "Философский дневник"». Видимо, уже было решено, что в этом «Философском дневнике» таится моя философская погибель.

Он стал навязывать мне соперничество, он демонстративно меня опережал, даже словно уличал в некоем неявном плагиате (все на полутонах, все расплывчато и двусмысленно); не исключаю, что в какой-то момент ему вновь стало казаться, что незачем делиться со мной своими изысками и наблюдениями, своим творческим потенциалом, незачем обогащать и подпитывать меня; возможно даже, ему стало казаться, что я всецело творчески стал зависеть от него, от общения с ним, и если прервать общение, то все мое «творчество» разом угаснет. Всем своим поведением он показывал, что на сей раз уж точно ухватил Бога за бороду. И лишь дело техники оформить свое несомненное лидерство. Он искал повода для дуэли.

Разрыв был неизбежен. И причины его никак не связаны с поводом.

Разрыв был частью проекта. Изданию полуподпольного «Дневника» должен был предшествовать наш разрыв — именно так, именно в такой последовательности, никак не наоборот. Я мешал ему — как неугодный свидетель того судьбоносного подвига, который ему предстояло совершить. Я вновь сделал свое дело дойной коровушки, продуктивного доверчивого донора, в услугах которого перестали нуждаться (видимо, мой философский потенциал вновь оценивался как весьма истощенный ресурс). Колония отделилась от метрополии и готова была объявить бывшее материнское тело своей колонией.

Сказка про белого бычка по содержанию удивительно напоминала сказку о том, как битый небитого везет. Метаморфозы. Философия.

«А вдруг опять нарвешься на «мистический зевок»? Что тогда?» — думаю, черный человек, гнездившийся в этой белой вороне, мсье Г., неоднократно задавал этот вопрос.

Ответ, не сомневаюсь, был математически выверен: «Заступ судьбы дважды в одну и ту же яму? Согласно теории вероятностей — невероятно-с».

Лично я в творческом плане ничего не потерял. Все мое осталось при мне. У меня и сегодня идей столько, причем моих идей, в русле моей генеральной линии (персоноцентризм!), что хватит их на несколько жизней. Конечно, жаль было терять друга и тонкого спарринг-партнера (потому что друга). Однако дружить с вампиром-реваншистом становилось невыносимо. А к тому времени он уже совершенно точно обрел свою творческую нишу: быть вампиром.

В 2009 году он издал символическим тиражом свои символически победительные опусы (попавшие мне в руки только в 2012 году, разумеется) — словно гимн подпольной философии «Когда б Вы знали, из какого сора…».

Что же я в этой ситуации, бедная жертва?

Не уверен. Оказалось, я тоже его изучал. Кто охотник, кто жертва — непростой вопрос. Возможно, наша болезненная взаимная привязанность

на том и держалась, что нам было интересно и выгодно заглядывать в душу друг другу. Он восхищал меня особым модусом цинизма — настолько познавательно-бескорыстным, эвристическим, что я долго не мог понять его природы. Наблюдение за высшими пилотажами благородства, в элементах ультра-си переходящего в откровенную подлость, завораживало меня. Моя откровенность провоцировала его откровенность, и я дорого платил за то, чтобы узнавать о человеке нечто такое, чего не купишь ни за какие деньги.

Все сказанное будет вполне справедливо, если сделать поправку на тогдашнее мое бессознательное и теперешний мой *задний ум*, которым я силен так же, как и всякий другой.

На самом деле за цинизмом всегда стоит корысть.

Если отбросить сантименты в сторону, то мой бывший друг Г. определенно собирался войти в историю (на словах ядовито изничтожая тех, кто выказывал исторические амбиции). Впервые, первый, уникально и, конечно, бессмертие — он не особенно стеснялся в выражениях в свой адрес.

Внешне выход книжек в свет был обставлен весьма поучительно.

Обложку «Философских дневников» украшало изумительно плохое изображение «Мыслителя» Родена (делавшее пошлую ассоциацию неизбежной: над читателем хмуро, анфас, восседает напрягшийся мужик на унитазе), при этом поза автора на плохом фото копировала позу Мыслителя. Фон изысканный, размывающий изображения — бледно-серое на сером (кто бы сомневался). Посвящение: «Памяти моего учителя Алексея Васильевича Егорова». Манерное «От автора». Самиздат, чтоб никто не заблуждался, объявлен «монографией». Моно-графией.

Это вызов. Послание мне. В назидание потомкам. И самой судьбе.

Первое впечатление: пошлость как таковая, и в названии, и в оформлении, и в представлении книги. Узколобая провинциальная пошлость. Серость в нефилософском смысле этого слова. Порно-графия.

Пытаюсь читать (хватило одного часа на три тома, и больше не смог себя заставить) — и нахожу то, что и ожидал найти: перелицовывание. Философ-новатор «работает» с моими идеями в формах, которые всецело заимствовал у меня. Он хитро-мудро скопировал идею и матрицу философского дискурса. Взял мои *капли* в контексте *океана* (идею книги «Психика и сознание: два языка культуры») — и сотворил, якобы, нечто большее. Он смекнул, что вторичность легче всего можно выдать за жуткую оригинальность и самобытность. Подшаманить, напустить туману, вариации на тему сделать темой — и пошло-поехало. И нашел же креативный модус: паразитарный текст подать именно как открытие, бессовестно побежав впереди паровоза.

И что характерно: в книге, посвященной «учителю», нет ни слова обо мне. Это и выдает его с ушами. Так сказать, по ушам узнаю…

Но это еще не все, далеко не все. В известном смысле — только начало. Он, по его разумению, вернул мне должок той же монетой (стилистика возвращения долга — это ведь мечта реваншиста). Он решил атаковать меня с еще более высоких позиций, нежели те, на которых закрепился я, а именно: с высот философии, царицы наук, посмотреть на все созданное мной, так сказать, бросить взгляд с божественной высоты, оценить мою целостно-антропологическую теорию по гамбургскому счету. Тем самым ткнув меня мордой в уже теперь мой «мистический зевок». Дескать, прозевал я эту гносеологическую возможность — вписать свою теорию в более широкий, самый широкий, универсальный контекст. Я не догадался, а он догадался.

Вот так простенько мои «Капли океана» превратились в перлы его «Философского дневника». Так сказать, перетекли и окаменели (приветик закону

перехода количества в качество!). Получается, что он выше уже потому, что философия по определению выше литературы. Мы с философией как таковой против Андреева с его персоноцентризмом как философией литературы и антропологической культурологией.

И вот мы уже высокомерно теряем интерес к литературе как более частному, вторичному феномену, и начинаем работать первым номером. Первый номер интересует исключительно суть вещей, а второй — проявление этой сути в художественной форме.

Суть вещей мы делаем своей вотчиной. И незаметно все прибираем к рукам.

Технология проста. Возьмем категорию, системно осмысленную Андреевым, например, игра, жизнетворчество, природа художественности, женщина, мужчина, литература, «Евгений Онегин», персоноцентризм (да мало ли их актуализировано в персоноцентрической теории Андреева!), наведем философский блеск, отряхнем прах художественности — и явим миру дефиницию, словно засверкавшую елочную игрушку. Вот теперь можно украшать этой экзистенциальной безделушкой, промаркированной авторским клеймом Реваншиста, древо универсума. У Андреева литература, личность (игра и т. д.) были категориями философии литературы и культуры, а у нас они становятся категорией философии.

Если уж говорить о дефинициях, то не откажем себе в удовольствии сформулировать (точность формулировок — вежливость философов): труд порождения концепции подменяется искусством интерпретации взятой напрокат концепции. Философско-художественное творчество подменяется графоманией. Манией быть Графом, аристократически-культурной величиной, и манией достигать культурного величия посредством grafo, писанины (если вовремя и невзначай оговориться, то получится писательства).

Или вот еще из информационно-технологических *новинок.* Берем афоризм Андреева. Оказывается, из него можно сделать 50—70 новых афоризмов, только теперь уже своих. Что за расточительство — такая плотность мысли! Развести пожиже — и бадью сентенций можно намутить. Про мужчин и женщин, например. Иные из них будут остроумны. Будут блестеть ярче оригинала. По крайней мере, о них вспомнят в связи с оригиналом…

Здесь уже качество интерпретации достигает высот количества.

Кстати, что касается культурных функций Андреева…

Ну, он делает для нас (для меня с вечностью) заготовки. Болванки. Сырье. Что ж, каждому свое, у каждого своя специализация. Кто-то добывает алмазы, кто-то делает из них ювелирные украшения. Кто-то швыряет камни, кто-то их собирает. Первые работают вторым номером. Вторые — первым. Первых, чумазых чернорабочих, никто не знает, вторых, мастеров-ювелиров, будут помнить всегда.

Вот так как-то. Ничего личного. Просто в порядке вещей, организованных Андреевым, я занял главную нишу. Верховную. Самую-самую. Кто не спрятался, я не виноват. Кто первым прибежал, того и тапки.

Итак, отныне своей специализацией мы делаем дефиниции, сиречь, корректировку и трактовку андреевских терминов. При этом Андреев — у нас в подмастерьях. Как-то так. Диалектика, что вы хотите. Еще раз: де-фи-ни-ци-и. Строгие-престрогие дефиниции. Вот Андреев выражается туманно, потому как художественно, а мы не убоимся последней степени глубины — и тем самым поставим автора в неловкое положение, а само авторство концепций под сомнение.

Да что там стесняться! Эй, вы, будущие историки науки, снимите эту шильдочку на лавровом венке, где художественной вязью вытравлено «ихти-Андру»; вы ошиблись адресом; в графе «кому» напишите просто и без затей: гениальному Реваншисту. Аплодисментов не надо. Эти низкие эмоции так утомляют, как и всякая пошлость…

Выше, сильнее, быстрее… Что это такое?

Стремление к власти. А там, где власть, там мы имеем следующий расклад: природа могущественнее культуры. Философия как продление природы. Графомания как подмена писательства.

Мистика…

Таким образом, содержание «философской бомбы» — все та же чертова психология. Амбиции. Реваншизм. Остроумие.

Что это, если не очередной «мистический зевок»?

Шел в одну сторону с диалектическим компасом в руках — попал в другую. «Мистический зевок, или Порнография духа» — это когда психика подменяет функции сознания, а кажется, что наоборот. Это своего рода вечный «философский» двигатель.

На мой взгляд и вкус, серая книга святейшего серого кардинала, метившего в дьяволы, — утонченная, изысканная подлость, рожденная завистью и предательством, в основе которых — эгоизм, категория натуры (психики). По содержанию — это средней руки эпигонство (графомания — именно, именно). И по закону подлости материал книжки обернулся (не мог не обернуться!) против того, кто творил подлость. Само беспомощное название в «туманном» стиле провинциальных барышень «обо всем и ни о чем» — «Дневники» — вновь выдает автора с ушами.

Ведь что такое «философские» и при этом «дневники»?

Философский — означает установку на объективность, то есть на отношение, где нет и не может быть ничего личного. Дневник — это установка на фиксацию личного, глубоко личного, практически интимного — шепот, робкое дыханье, предательство, что-то вроде этого.

«Философский» — маркировка отношения познания, «дневник» же пытается запечатлеть сумбурное (потому как чувственное) отношение к миру, отношение психики.

«Философский дневник» — это довольно точное обозначение состояния запутанности, сваленного в кучу ментального сырья. Заготовок. Болванок. Если речь идет о внятной философии — называйте вещи своими именами, сэр. Почему вашей дневниковой философии не подбирается название?

Потому что, как ты ни называй свои опусы, все выйдет «Персоноцентризм».

Вот тут-то и подвернулась спасительная маркировочка «дневник», которая означает: я не отвечаю за свои фантазии, хотя претендую на высшую определенность («философский»). Вот я вам выдам богатой руды на-гора, а вы намойте золотого песочку, проба у которого будет андреевская. Но в руде золото кажется ничьим; ничье — значит мое.

Я боюсь того, что написал, — вот и заслоняюсь золотоносной рудой.

Я не я и книга не моя: вот что такое «дневники».

Старомодный оксюморон «Философский дневник» — вовсе не безобидная lapsus linguae, это предательская оговорка. Автор, сам того не желая, оповестил тьму своих потенциальных читателей, что он до нелепости «глубоко лично» отнесся к универсальному, присвоил его, сделал фактом личной биографии.

О, граф!

Ах, этот соблазн, это дьявольское искушение — разница между плагиатом концептуальным (идейным) и текстовым! Какая шикарная возможность — украсть и не быть уличенным. С таким счастьем — и на свободе, в обнимку с познанной необходимостью! А потом еще и облагодетельствовать человечество, а как иначе? Мелочиться — это не по-философски. В этом контексте коллизия «Преступления и наказания» читается как культурная цитата.

Текстовой плагиат — буквальный, фактический, формально-юридический, видный невооруженным глазом. Ату его и чур меня.

Плагиат концептуальный — метафизический, мистический, весь на стыках-гранях, весь из тумана недосказанностей и обмолвочек. То ли он украл, то ли у него украли — если вы понимаете, о чем я…

На такой плагиат способны немногие, без гениальности в этом темном деле не обойтись. Это вам не мелочь по карманам тырить. Концепцию — не всякий разглядит. Но сердцевина, сам дух философии — сосредоточены именно в концепции, а не в материальном ее выражении. Концепция — идеальна.

И потому мы имеем дело с идеальным преступлением.

Я понимаю: каждый, кто писал о философии нравственности, то есть творил философию культуры, далеко не всегда сам следовал им же открытым нравственным законам, часто преступал их с виноватой улыбкой (по слабости своей или в силу иных обстоятельств). Здесь роковой нюанс важен: прегрешение прегрешению рознь. Преступить закон — не значит отменить его. Для философа нет страшнее греха, как украсть (присвоить, обезличить) чужую концепцию. Идею. Этим деянием бросается тень на высший род человеческой деятельности, совершается десакрализация бескорыстного самопознания: оно низводится до уровня информационной технологии.

Это духовное преступление. Вот почему так важно разобраться в природе его. За идеальным преступлением должно следовать идеальное наказание. На мой взгляд, смысл наказания прост (хотя механизм сложен). Постигающий философию нравственности обращает на себя ее обоюдоострые мысли-лезвия, и совравший в мыслях от них же и погибнет. Философия — не дневник; философия и вранье — две вещи несовместные.

В этой истории меня поражает ее бесконечная глубина. В частности, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что при желании меня можно упрекнуть в мелочности — дескать, месть от обиды возвел в ранг философии etc.

Готов допустить: момент мести и обиды может вкрасться в мой дискурс (даже помимо воли моей). Однако все свести к мелочности — значит не заметить главного: потенциала персоноцентризма. Дьявол гнездится в психике, и он всегда готов навязать поединок самым бесспорным проявлениям разума. Более того, каждое приближение к истине начинается с сомнений: не от лукавого ли это?

Дьявол (теневая сторона диалектики) незримо присутствует в каждом акте (само)познания. Умение различать его идеальную тень всегда и во всем и называется прогрессом или, если угодно, самосовершенствованием.

Именно духовный прогресс связан с бессмертием. Нет?

Так или иначе, я рад, что серая книжка «Философские дневники» появилась. Дневники, конечно, обладают известной культурной ценностью.

И тут возникает проблема. Что же получается: грязь (зло) шедевру не помеха? Хочешь выбраться в алмазные князья (тьмы или света — это уже нюансы, это уже проблемы дизайна света, *освещения* вопроса) — налепи

хмурого мужика, восседающего на толчке, на обложку, и к тебе потянутся философски озабоченные люди?

Я давно уже считаю, что культурно значимые шедевры необходимо оценивать с позиций высших культурных ценностей, в том числе с нравственных позиций. Это деньги не пахнут (да и то — как посмотреть), а философия и литература — еще как смердят. Скажи мне, кто это написал, и я скажу, как я отнесусь к шедевру. Философия тем более неравнодушна к качеству нравственных помыслов того, кто берет на себя ответственность понимать. Истина в устах подлеца превращается во вранье. Вот книга Реваншиста-Графомана — существенный вклад в философию вранья. С чем от души и поздравлю ее автора, г. Г-Соврамши, большого мастера зевков.

Поистине: зависть рождает подражание, которое стремится затмить оригинал. Кстати, в Реваншисте нашла воплощение моя давняя мысль о том, что и глубина падений, и глубина взлетов духа часто поражают людей безвестных. Если за повадками диких зверей надо наблюдать в дикой природе, то за повадками людей — тогда, когда они безвестны. Именно тогда труднее всего оставаться человеком, именно тогда подлость и благородство имеют свою истинную цену.

И самые лучшие женщины, кстати, безвестны.

Чужое за свое — это, конечно, не новость. Более того, это родилось вместе с культурой. Чего стоит один только феномен сократических бесед. Нечто свое, и действительно новое, нарастало на чужие — старые! — лекала и матрицы.

И все бы ничего, да вот только раздражает один нюанс: по его задумке я превращаюсь в подражателя и эпигона. Он расчетливо выбрал место и время, чтобы лихо замутить воду. Тут, повторю, фокус не в том, что он украл, а в том, что он делает меня себе подобным, изживая комплекс неполноценности. Тень пытается влиять на того, кто ее отбрасывает, бесплотная тень указывает хозяину из плоти и крови его место — хвост виляет собакой.

Точнее, так: стремление стать Богом, Креатором дьявольским способом. Не столько создать самому, сколько скомпрометировать Творца. Такова творческая изнанка зависти: с помощью вторичного творчества заставить стушеваться первичное. Дух зависти имитирует дух творчества!

И это чистопородная, первозданная графомания!

Историческая несправедливость — великий раздражитель гениев злодейства. Мы не знаем, кто на самом деле скрывается за маской «Шекспир», кто на самом деле был автором «Слова о полку Игореве», был ли слеп Гомер, автор бессмертной «Илиады» (если он, Гомер, был). Мы можем средь бела дня отобрать смотрящий в вечность «Тихий Дон» у Шолохова и вручить его Краснушкину. Главное — создать ситуацию *то ли он украл, то ли у него украли*. И тогда появляется колоссальный шанс: почва для мифов сотворена.

Сократ не написал ни строчки, а сказал самое главное. А все потому, что Платон понял его глубже, чем Сократ понимал сам себя.

И вот Графоман претендует на роль Платона — при том очевидном обстоятельстве, что написал я, а он молчал. Только потом, спустя роковой отрезок времени, разразился «творчеством», как гневным громом небесным. Именно стремление придать нашей истории дружбы, превратившейся в историю науки, черты мифа — кто раньше: курица или яйцо? — делает ее пронзительно экзистенциальной. *Украсть* становится близкородственным *сотворить*. Как говорится, талант копирует, гений — крадет. Кто во что горазд…

Претензия на роль Первотворца — вот божественная подоплека истории, в которой сам себе он, несомненно, отводил главную роль — роль Дьявола. Он всерьез сделал ставку на теневые стороны диалектики. Без шуток.

Кстати сказать, в своих романах я не раз обыгрывал тему плагиата и вранья как проблем экзистенциальных. В романе, посвященном Реваншисту, они присутствуют в полном объеме: амбивалентная природа психики человека взволновала меня чрезвычайно.

Да, дух творчества — тлетворный дух; но не смердящий же! Здесь есть грань.

(Между прочим. Уже столько из предсказанного мной в романах сбылось в моей жизни! И я даже знаю, почему: если верно понять природу человека, пророком быть нетрудно. Скажешь о человеке правду — как пить дать напророчишь. Увы, пророчество я давно вычеркнул из списка заслуг любого приличного художника. Никакой мистики.)

Разумеется, я также следую какой-то традиции (формы выражения мыслей, соразмерность дискурсов оттачиваются веками), однако без моих книг, без моей философии философии, философии мышления, философии человека, искусства и творчества никакого Реваншиста просто не состоялось бы. Он состоялся в рамках созданного мной (с поправкой на то, что я ученик многих ведомых и неведомых мне толком философов — эту свою родословную я пытаюсь тщательно фиксировать) типа мышления, типа освоения мира, того самого древа универсума. Вот в рамках этой ментальной парадигмы можно (и нужно!) действительно усовершенствовать процесс познания. Бесконечный, неисчерпаемый, никому персонально не принадлежащий. Вот в этой нише, в этом сегменте ты можешь раскрыться как творец! И я первый пожму тебе руку как творцу и человеку приличному.

А так — всего лишь эпигон… Разновидность графомана.

Такова диалектика. Философия.

Дневники — это другое.

Пишу сии звонкие слова не без злорадства, и главным образом, потому, что Реваншист остался для меня не феноменом дружбы (вещество дружбы — бескорыстие, следствие стремления к истине), а феноменом зависти — изобретательной, креативной зависти, в принципе неотличимой от дружбы и творчества. Ведь сегодня он, вьющий себе гнездо где-то на вершине древа познания, — само Великодушие, позволяющее пользоваться плодами его творчества всем тем, кто до этого дорос…

В этом месте аж слезу прошибает. Вариации на трогательную тему Моцарта и Сальери, на тему гения и злодейства — которая при ближайшем рассмотрении оказывается жестковатой темой *взаимодействия психики и сознания…*

А какую роль я отвожу себе в этой истории? Что движет мной?

Легчайшее моцартианское начало, белое, пушистое, по определению безгрешное и неуязвимое для грязных помыслов?

Вряд ли. Познание — штука жесткая и жестокая. Не для слабонервных. Но не для подлецов.

Стремление к истине?

Отчасти — да.

Но еще и злорадное желание унизить дьявола. Схватить его за торчащие ушки. А зачем мне это?

Не кроется ли за этой детективной историей желание быть Богом самому? Реально творить культуру?

Да. Как у всякого творца. А стать «Богом» — значит, бросить вызов смерти. В этой точке мы с Реваншистом пересекаемся.

Но мы по разную сторону баррикад в этой точке. И в жизни, и в смерти. Мы по-разному бросаем вызов смерти. Он — с позиций натуры; я — с позиций культуры.

Кстати, главная пушкинская мысль в «Моцарте и Сальери», очень часто демонстративно лежащая на поверхности, усваивается неуклюжим интеллектом в последнюю очередь. Мысль в данном случае проста: гении (реальные творцы, в широком смысле) действительно мешают людям.

Боюсь, ключевое слово здесь *действительно* — то есть, на самом деле, буквально, без кокетства. Гения действительно хочется убить, лишить жизни, убрать из жизни как нечто ей чуждое и чужеродное, как нелепую случайность — и тогда жизнь действительно вернется в нормальное русло, станет предсказуемой и какой-то безопасной.

Нет, войны будут, конечно, как без них, это как раз успокаивает, сообщая миру некий градус стабильности; кровь и грязь: так было и так будет, и это замечательно как знак вечного круговорота; но вот эта нависшая тень гения, это зеркало-икона, то ли зеркало, то ли икона, в которые заглядывать каждое утро нет сил, потому что изображение, которое ты видишь там, вселяет в тебя неуверенность, тревогу и беспокойство…

Солнечный Моцарт и солнечный Пушкин застилают солнце!

Вот чего добились ваши гении!

И это невольное желание — убить гения, выродка, явившегося на свет божий как случайная комбинация генов, совпадение сумасшедших вероятностей-чисел, как дивный джек-пот, JP, — это глубоко человеческое желание протестовать против Его Величества Случая, который прикидывается Законом Жизни, так понятно всем простым и нормальным людям.

Реваншист, конечно, символически убивал меня. Во всяком случае, дал залп изо всех томов по мне. Надеюсь, как раз угодил в себя.

А уж если совсем всю правду доложить, то Пушкин все еще жив благодаря тому лишь, что в глубине души каждый убежден в том, что миром правит Его Величество Случай. Не Закон, не дай бог, нет!

Памятник Пушкину — памятник Случаю.

Поклоняться Пушкину — поклоняться нелепому случаю, «мистическому зевку»; видеть в Пушкине не закон, но случайно выпавшую комбинацию костей, никогда более не возможную под этим небом и под этим солнцем (например, семьсот раз подряд по двенадцать — это как?). Ай да Пушкин…

Но в то же время Пушкин смущает именно как Закон. А вдруг? Случайно?

Нет, брат. Улетай. И чем скорей — тем лучше. Без гениев, которые есть и Случай, и Закон, как-то проще. Спокойнее.

Вывод также прост: люди еще недостойны Пушкина, или, если угодно, недостойны своих гениев. Недостойны самих себя, по сути. Вы только вдумайтесь: мы живем во времена, когда люди не способны оценить своих культурных завоеваний.

Реваншист интеллектом докумекал: мы живем во времена, когда люди не способны оценить своих культурных завоеваний. И сейчас самое время войти в историю в парандже *мученика истины*. Время мутное, и способы также могут быть мутными. И должны быть мутными, если ты не дурак. Поди потом разбери, кто был первым. Главное — громко об этом пискнуть. Насорить вокруг ни к чему не обязывающими фантиками «философских тезисов»,

взобраться на ходули не тобой сотворенной методологии и сбацать огненную джигу так, чтобы запомниться всем и надолго. Запомните меня таким!

Вот эти игры с историей на фоне вечности глубоко меня возмущают, оскорбляя мое чувство справедливости. Можно мелочь по карманам тырить, а можно — присвоить себе Личность другого. Суть одна: зло-деяние.

Графоман понял и усвоил, что мы живем во времена, когда люди не способны оценить своих культурных завоеваний; казалось бы, его-то напрямую это не касается, ибо он неспособен создать шедевры запредельного уровня, какие фатально неспособны были бы оценить современные люди. Но при этом он все же *понял*, что есть такая номинация «создать то, что не в состоянии оценить современники, ближайшие потомки, да и вообще…». А понял — стало быть, уже вовлечен. Понять — значит простить, понять — значит создать, понять — значит стать конгениальным, прочитать — значит написать, написать — значит утереть нос Платону…

О, это коварное свойство, *понимание*, суть которого так мало исследована!

Глубина понимания, парадоксальным образом не реализованная в глубине творчества, — это страшная сила. Ты равен гениям, однако дьявольски обделен вниманием. Понять — значит допустить: все позволено.

Почему бы с особым цинизмом (результатом понимания особого, высшего уровня) не примазаться к тем, кто, как кажется любому реваншисту, такие нетленные вещи создать способен? Методом Сальери заработать себе репутацию Моцарта…

Почему — нет?

Это шанс, исторический шанс. Гнусный шанс. Философский шанс. Уникальный и универсальный. Мистический.

Ай да Г.? Гений и злодейство — вещи взаимозаменяемые, граф? Ваше сиятельство, граф тьмы. Гм-гм.

Граф оказался Графо-маном.

Я ведь не о дружбе писал, и не о дружбе-ненависти, и не о скупой мужской слезе, и не о себе. Я писал о противоборстве *интеллекта* и *разума*. О вечно скрытой вечной проблеме. Я дружил с Реваншистом-Графоманом против интеллекта, он дружил со мной против разума.

В такой борьбе и рождается истина?

Если это так, если я не ошибся, то это очень печальная, хотя при этом будоражаще-вдохновляющая и весьма перспективная история.

От лавров пророка отказываюсь.

И, несомненно, это коллизия, достойная эпохи.

Мне понравился текст, который я написал, но он не стал моментом романа — до тех пор, пока я однажды не повстречал Графомана в узком коридоре нашей alma mater.

— Ну — и что? — спросил он меня с вызовом, упреждая мой отзыв о его опусах (он ни секунды не сомневался в том, что я ищу повод отреагировать на его витиеватое, невиданное доселе графоманство).

— Ах, Александр, жизнь — это игра богов, а не игрище сатиров, — ответил я, намекая не только на его козлобородость (интеллигентская страсть обозначать пепельно-грязной эспаньолкой рыльце в пушку всегда меня забавляла: выделяться тавром, сбивающем тебя в табун, — это ли не *бог шельму метит*?), но и на неуклюжий стиль общения с прекрасным, в том числе с прекрасным полом.

— Ну и что? — неподражаемо, *сатирически* повел он плечами, демонстрируя могильный цинизм.

— Ты оказался графоманом, граф, искуснейшим имитатором. Твой талант — быть похожим на гения. Ибо имя тебе — ничтожество.

— Ну, и что?

— Хочешь на моем горбу-дискурсе въехать в царство истины?

— Я ставлю на свое бессмертие после моей и твоей смерти. Поживем — увидим.

— Ни секунды не сомневался в твоем призвании быть повелителем тьмы. Ты даже слово *бессмертие* умудряешься опошлить. Только есть закавыка, приятель. Диалектическая. Плохая для тебя новость. Существовать в моем дискурсе — значит работать на мой дискурс. Изо всех отпущенных тебе сил вкалывать на мое бессмертие. Что украл — на то и работаешь.

— Ну, и что?

Теперь рефрен (с гнусавым прононсом через нижнюю губу) искусно скрывал растерянность. Он ответил слишком быстро. Не дал себе труда подумать. И тут же заметил свою оплошность. И секунда в секунду понял, что я заметил и оценил его заминку. Что отразилось в забегавших глазах всплеском тревоги.

Я хорошо знал, что стоит за этим «философским», якобы невозмутимым «ну и что». «Ведь никто не узнает о нашей беседе, никто не схватит меня за руку, за ручку, а ты не сможешь никому ничего объяснить, князь; более того, станешь упорствовать — все решат, что графоман именно ты. А дискурс — это оборотень. Тут еще бабка надвое сказала. Хе-хе-с…»

К сожалению, он неспособен быть вторым (что требует мужества и всегда таит в себе шанс быть первым). Пусть графом тьмы — но первым.

Мне не было нужды настаивать на своем последнем слове. В диалоге с тьмой последнее слово — формальность, последнего слова, скорее всего, не будет. Но теневики всегда настаивают на формальности.

Ну, и что?

После этой стычки я решил, что мой роман с графом непременно будет отражен в моем романе, отражающем мой роман с жизнью.

Ибо писатель — это тот, кто умеет все тайное делать явным. В отличие от графомана, который все явное стремится сделать тайным, мистически при этом позевывая.

P. S. В 2014 году, уже после публикации моего романа (на коммерческих российских сайтах), г. Г. выпустил новую книгу — все те же старые «тезисы в дневниках», строго учтенные (пронумерованные) и датированные с точностью до минуты (вот зачем, спрашивается, этот информационный мусор? этот хронометраж вечности? эта жалкая попытка зацепиться не за суть, а за время? зачем лебезить перед бессмертием, спрашивается?), только все под одной обложкой — той самой, разумеется, с человеком на толчке спереди и задумчивым Г. сзади.

Более 600 страниц. Не просто книжка — убойный фолиант. То ли надгробная плита, то ли памятник бессмертию мысли, то ли кирпич в фундамент мироздания.

Я бы мог предвидеть этот буффонадный поворот сюжета, если бы не побрезговал быть высокомерным.

Ну что ж, выход в свет этих тезисов — лучшее доказательство моей оценки «феномена Г.». Ни слова не меняю, ни от слова не отказываюсь. Мисти-

ческий зевок — это не досадное недоразумение; это судьба. Публикация фолианта — тот же мистический зевок, если разобраться, только в профиль. Ведь можно и нужно углублять мою теорию, раскрывать ее потаенные залежи и ресурсы — все только начинается. И уж состояться как ученому в этой целинной, по сути, сфере можно любому, были бы желание, ум и талант.

Нет. Мы выбираем путь первому застолбить целину. Делаем вид, что никакого такого Андреева просто не существует.

Это доказывает только одно: моя теория жива и полна сил. Пока лишь один неблагодарный вчитался как следует — и какой резонанс. А ведь прочтут еще и многие благодарные. Поживем — увидим.

Не поживем — увидят.

Для одних бессмертие стимул быть Богом, для других — Дьяволом.

Боюсь, сей бесконечный сюжет для меня на этом окончился.

45

Grafo — означает писать. Граф и литература (grafo) счастливо соединились. Элитаризм для меня непосредственно связан со способностью писать, создавать словесно-художественные ценности.

И главная ценность для меня — свободное дыхание романа.

Не легкое — а именно свободное.

Попробую объясниться.

46

Надо было одновременно родиться и ихтиологом, и рыбой. Мне предстояло выяснить, кем рожден я.

И это, конечно, не моя персональная проблема.

Широко известна история, случившаяся с Владимиром Набоковым. Он, прославленный писатель, поступал работать в качестве профессора на кафедру славистики одного из американских университетов. Коллеги голосовали: за или против, достоин или не достоин имярек тянуть лямку (согласно другой распространенной версии — нести крест) профессора?

Все проголосовали за, и только один Роман Якобсон, крупный ученый-лингвист, голосует против. Против! Набокова!

— Но почему? — вежливо интересуются изумленные коллеги, большие добряки. — Ведь он — крупный писатель! Всемирно известный!

— И что из того? — невозмутимо парирует злой Якобсон. — Слон — тоже крупное животное, однако никому не приходит в голову назначать его директором зоопарка.

Эта история преподносится как некий казус, как забавный, однако же пустой парадокс, как виртуозно-схоластический результат не связанной с жизнью игры ума.

Между тем, опасения Якобсона представляются мне небеспочвенными; прямо говоря, я уверен, что Якобсон был прав страшной экзистенциальной правотой: неизвестно, стоит ли подпускать крупного писателя к преподаванию литературы.

Можно ли быть *ихтиологом* и *рыбой* одновременно? Вот в чем вопрос.

Крупный писатель (рыба) — вовсе не гарантия того, что он окажется также крупным исследователем литературы (ихтиологом).

Более того: крупный писатель — почти гарантия того, что не окажется.

Набоков был настолько своеобразной и крупной рыбой, что в человеческой должности ихтиолога он вполне мог бы погубить всех остальных рыб, ибо рыба может судить обо всех иных обитателях морских глубин только по себе; если слона Набокова сделать директором зоопарка, то был бы велик риск, что в этой своей ипостаси он бы непременно передушил всех остальных зверей или заставил бы несчастных хищников питаться одной ботвой.

Думаю, отчасти так и произошло.

Думаю, вопрос о том, насколько хорошим профессором был В. В. Набоков, вовсе не так прост и однозначен.

Но я в данном случае о себе. Думаю, что если у меня получится стать (быть) рыбой и ихтиологом одновременно, то это будет моим персональным достижением. Гигантским, не убоюсь этого слова, достоинством. А не получится, то именно вследствие того, что я хотел совместить несовместимое, желал добиться невозможного — быть и рыбой, и ихтиологом сразу — ихти-Андром.

Если же отвлечься от себя, что время от времени я стараюсь делать в своей автобиографии (хотя стремлюсь к этому постоянно), то следует заметить, что гносеологическая возможность быть ихтиандром принципиально существует, эта космическая вакансия открыта, не выдумана мной. Вопрос упирается в то, по силам ли это мне?

Тут на первый план выходит такой нюанс: сам факт участия в номинации ихтиандр делает тебя чуть ли не выскочкой.

Опять вопрос-выскочка: почему?

В легкой атлетике существует престижная специализация — десятиборье. Там побеждают по сумме выступлений во всех десяти видах спорта. От легкоатлета не требуется быть чемпионом во всех спортивных дисциплинах; где-то он выступит лучше, где-то хуже. Но по сумме он будет провозглашен чемпионом.

Ихтиандром можно стать только будучи лидером и в номинации *рыба*, и в номинации *ихтиолог*. Можно быть хорошим ученым и по совместительству писателем-дилетантом; это обычное дело, это означает, что ихтиолог напрасно метил в рыбы. Можно быть писателем — при этом ничего не понимая в сути творчества. И это банально: рыба не стала ихтиологом, слон не был принят на должность директора зоопарка.

Ученый-гуманитарий экстра-класса рано или поздно открывает для себя гуманитарные законы. В моем случае — это три закона: закон личности (закон персоноцентризма), закон двух языков культуры (закон психики и сознания) и закон сочетания информации (от психики — к сознанию).

Главное в культуре, личность, я сделал и главным в творчестве. Это моя ставка в культуре.

Если я не прав как ученый, грош цена и моим романам. Если я прав, их культурная (хотелось бы думать и художественная) цена резко повышается.

Самое жестокое в мире — это справедливость, существующая в формах закона. Один из самых жестоких — закон красоты, гласящий: чем больше в произведении личности — тем более оно имеет шансов стать высокохудожественным; чем выше уровень персоноцентризма — тем выше вероятность того, что перед вами талант.

Если же перед вами не талант, то вы имеете дело со скорбным случаем принесения себя в жертву искусству.

А искусству жертвы не нужны: ему подавай таланты.

Вот и получается, что самим фактом участия в номинации *ихтиандр* ты как бы заявляешь: я представляю собой уникальный экземпляр, редчайшее сочетание почти не встречающихся в природе достоинств.

Да, риск велик — но и ставки высоки.

И если время, ветром разметая, сгребет все мои достоинства в один ненужный ком, скажите так: у него хватило сил осознать масштаб задачи; у него не хватило сил выполнить ее.

Вполне маргинальная роль в жизни. За что боролся…

Только не торопитесь, а то успеете.

...рыба...

Рыба. Ихтус.

Нет, пожалуй, просто рыба. Бессознательное в творчестве выполняет либо сознательную, либо квазисознательную функцию. Именно так. Sic.

У художника-рыбы есть два варианта.

Вариант первый. Плыви туда, не знаю куда, но приплыви туда, куда следует. Удиви себя. Получилось?

Оказывается, ты думал, когда тебе казалось, что ты не думаешь. Ты творил по технологии сознания — только не подозревал об этом.

Вариант второй. Ты думаешь, что ты думаешь, а получается с точностью до наоборот. Раз за разом ты плывешь туда, куда следует, но приплываешь туда, не знаю куда.

Ты также творишь по технологии сознания, только с сознанием у тебя проблемы.

В первом случае бессознательное становится даже не союзником, а непременной составляющей таланта, а во втором — показателем бездарности.

В чем тут дело?

А дело тут в качестве бессознательного (то есть, в сознании, в конечном счете). В первом случае оно умное, творчески-созидательное, во втором — малосодержательное, культурно бедное, творчески неубедительное.

Все зависит от того, насколько умно или глупо твое бессознательное, которое на самом деле связано с сознанием по принципу сообщающегося сосуда. Богатое, культурно содержательное бессознательное становится условием (а кажется — что источником) творчества.

Дело не в бессознательном как таковом, а в качестве загрузки бессознательного. Талант и гений — умеют общаться со своим бессознательным: они все делают в нужное время в нужном месте. Их бессознательное — всегда умнее творца, оно всегда удивит художника, совершив «за кадром» (вне контроля сознания) сложнейшие мыслительные процессы. Художнику всегда льстит то обстоятельство, что он обладает таким бессознательным. Художник становится немного загадкой для самого себя. Ну, что там сегодня удумало это бессознательное, чем оно меня сейчас порадует?

А оно может удивить тем, что из него рвется на свет пустота. Гора запросто может родить мышь.

Бездарь либо преувеличивает, либо преуменьшает и роль сознания, и роль бессознательного. А главное, он неверно понимает принцип их отношений.

В творчестве главным становится не творчество само по себе, а творчество как акт духовный, несущий значительную культурную (идейную) нагрузку.

Чем меньше в художнике иррационального и непредсказуемого, тем более он творец; чем менее в творце субъективного, тем выше он классом как художник.

Художник, возведший в культ то самое пресловутое Я, — это поражающий воображение миф. Ему, певцу радости и печали, проводнику трансцендентного, хочется быть загадочным и непостижимым, как жрецу или шаману. Звуками и образами он завораживает толпу и ставит ее на колени.

Увы! Приличный художник — это ничего личного. Авто. Био. Граф. И Я. Скромно. В конце (я — последняя буква алфавита: это надолго, если не навсегда). С большой буквы. Инструментом-приложением к мирозданию. Гениальный художник растворяется в объективном — с помощью таланта, разумеется, вещи сугубо субъективной, личной, персональной.

Что и требовалось доказать. Искусство и доказательство — близнецы-братья.

Чаще всего сложность проблемы *человек и искусство* создает художнику ауру и репутацию, а не его собственные творения. Вот почему в искусстве так много проходимцев и наглецов: они эксплуатируют потенциал сакральности. Дурачат наивных соплеменников, справедливо и трогательно полагающих, что там, где витал дух Пушкина, там нечего делать простым смертным. Надо просто презирать собеседника, чтобы заявить ему в глаза, что «Черный квадрат» является искусством — вольно или невольно при этом призывая в свидетели тень Пушкина, то есть, на языке наивных, клянясь сокровенным. После *квадрата,* менее всего имеющего отношение к искусству, однако же покорно воспринятого именно как шедевр образного мышления, можно все что угодно объявлять искусством, лучше что-нибудь из ряда вон, исключительно невероятное, примитивное до последней степени, — это лишь прибавит вам веса, станет доказательством вашей непостижимости.

Но это всего лишь хладнокровное мошенничество.

Ничего личного.

Никакого «я».

Что и требовалось доказать.

* * *

Я, как известно, родом из тоталитарной страны, имя которой — наука.

Здесь царит диктатура законов, и все подданные добровольно стремятся внести свой, персональный вклад в открытие еще одного, очередного закона, который, очевидно, только усилит диктатуру. Более того, подданные почитают за огромную честь участвовать в усилении диктатуры.

Зачем они это делают?

Затем, что свобода начинается с закона, и чем больше законов, чем плотнее диктатура — тем больше свободы.

Вам известен другой путь к свободе?

Ну как же, он всем известен. Другой путь — наплевать на все законы — ведет к психическому рабству, и человек, увы, покидает ряды вменяемых и приличных. Свобода при ближайшем рассмотрении превращается в волю вольную, карета в тыкву, лошадь в крысу, а венец творения, человек, этот кронпринц вселенной, — в раба души и живота, который жаждет только хлеба и зрелищ. Свобода превращается в свободу пожрать, поспать, повеселиться.

Раб — это не рыба. И не ихтиолог.

Раб — это раб: жалкий подданный натуры, жертва ее диктатуры.

47

А теперь можно поговорить и об *«и Я»*.

Что значит «и Я»?

Это не смешно, хотя звуковой отрезок *ija-a («и я, и я, и я того же мнения»)* воспроизводит нечто несомненно ослиное. Я — это личность, которая в данном случае является целью и смыслом повествования. Все движется или, согласно моей версии, должно двигаться к личности. От натуры — к культуре — через личность. Через тернии.

Я пишу не о себе — а о законе звезды: от человека — к личности.

Все известные мне автобиографии или мемуары — кокетничанье (с разной степенью забавности) с историей. Я, слава богу, не был знаком с историческими личностями; меня интересует не личность в истории (которая (личность) при ближайшем рассмотрении всегда оказывается жалким человеком), а история личности.

...И вдруг в тесную комнату входит Шаляпин — огромный, в шубе с бобровым воротником, с папиросой в зубах. Я чуть не свалился(ась) с дубового стула.

...И тут из тьмы в ослепительном перекрестье прожекторов возникает фигура тщедушного, козлобородого комдива и заявляет: «Э, нет, батенька. Вам прямо на броневичок!»

Это что, автобиография? О ком она? О чем?

О Шаляпине? О Владимире Ленине?

Или о самом незадачливом мемуаристе?

Моя автобиография — не обо мне; если глупый, но интеллектуально развитый и грамотный человек, удачливый к тому же, пишет о себе, — это скучно, это может вызвать интерес разве что как нагромождение нелепых случайностей, чем и является, в сущности, всякая бессознательная жизнь. Такая жизнь, не учитывающая законов бытия, уныло однообразна, в лучшем случае — утомительно пестра.

Если умный человек пишет о том, как в нем проснулась и стала развиваться личность, если он пишет о законах, а не о случаях, если он способен разглядеть за деревьями лес, за своей особой — всех остальных, — это касается всех.

Авто, био и граф — это этапы на пути к личности, это составляющие всякого ДАО.

И *я* там был. В смысле — *Я.*

* * *

Авто,_био,_граф_и_Я: не отдает ли сия трактовка вопиющей нескромностью?

Я скажу так: тот, кто знает себе истинную цену, не станет кричать о ней на каждом углу; но это вовсе не означает, что он высокомерно дал обет молчания. Скромность — понятие, украшающее личность; для дурака же продемонстрировать скромность — значит, воспользоваться ситуацией, чтобы обратить на себя внимание.

Вот, скажем, творчество: скромно это или не очень-то?

Творчество, как ни крути, — глас вопиющего. До скромности ли тому, кто вопиет, то есть, желает обратить на себя всеобщее внимание, тем самым принося в жертву прежде всего скромность?

Тут все непросто, но именно поэтому и здесь чувства меры, дитя здравого смысла, никто не отменял. Подлинное творчество — не самовыражение, а попытка максимально приблизиться к истине посредством самовыражения.

А вот творчество как способ самовыражения — это нескромно. Несколько комично, как всякое пижонство.

Потому что в минимальной степени творчество, а претензии на степени максимальные.

Со скромностью у меня как раз все в порядке: я не по заслугам мало амбициозен.

48

Напишу-ка я себе письмо. Письмо, как известно, — это наиболее живая и потому исчезнувшая ныне форма литературного общения.

Письмо самому себе — очень подходящий для «Автобиографии» жанр.

Только не надо путать его с эпитафией.

Маленький нюанс: я отчетливо осознаю, что пишу роман в пустоту…

Зачем я это делаю?

Личность (ихтиандр, млекопитающие, класс позвоночных) не может не сопротивляться. Она ведь тоже хочет жить.

Более того. Если ты прав, если ты видишь опасность, но не сообщаешь о ней только на том основании, что тебя все равно не поймут, твоя правота превращается в фигу в кармане, а ты — в пижона. Мне ли, со всех сторон изрезанному обоюдоострой бритвой диалектики, не знать этого.

Кроме того, у меня, гражданина Вселенной, есть свои соображения — которые при желании можно назвать заморочками. В общем, у меня тоже есть интуиция, и она подсказывает мне, что я как носитель сложной, целостно организованной информации, двигаюсь в верном направлении, а именно: о том, что сегодня не воспримут, говорить все равно необходимо, потому что завтра будет поздно.

Что я и делаю: говорю.

Физики и математики топ уровня порой поставляют информацию такого рода, которая в высшей степени понятна гуманитариям. Они безнадежно и апатично бросают ее в ноосферу, и другие физики, чуть менее подготовленные и одаренные, их действительно не поймут, а если физик не поймет физика, его не поймет никто; все верно — однако в ноосфере присутствуют уже философы топ уровня, которые мало что смысля в физике, могут понять топового физика.

Этого не может быть, согласен, но так происходит. Мир развивается с помощью категории *невозможное*. Вот эту возможность невозможного — дружить полушариями (а не континентами, расами, нациями, семьями) — человек пока никак не использует.

А теперь перехожу к сути дела, к якобы заморочкам.

Какой-то физик-первооткрыватель однажды обронил застрявшую во всемирной паутине гипотезу. Она завалялась, заплесневела, словно лакомая, с точки зрения Шарика, косточка, и никак, судя по всему, не проявилась. Не вызвала отклика. Меня же она взволновала чрезвычайно.

Физик сказал (все дальнейшее идет сугубо в моей интерпретации): поскольку Солнце погаснет, ну, скажем, через пять миллиардов лет, постольку человек обязан, просто обречен найти к тому времени лазейку во Вселенной, если, конечно, человек желает выжить.

Далее физик задумался и сказал так. Но эти 4—5 миллиардов — не абстрактный срок, не случайно отмеренный в безмерности отрезок времени, привязанный к жизни светила. В том, что нам отпущен именно такой срок, который и не низок, и не высок, сквозит еще и высшая информационная целесообразность. Заключается она в том, что именно в это время, в этот отпущенный нам немалый, на первый взгляд, срок, мы, человек, имеем возможность активно постигать окружающий нас мир — не потому активно, что мы такие шустрые, а потому, что у нас есть объективная возможность получать буквально льющуюся на нас дождем информацию. Мы имеем возможность и получать эксклюзивную информацию, невероятно развивая с помощью нее мышление, и с помощью усовершенствованного мышления добывать еще более эксклюзивную информацию.

Мы имеем шанс превратиться в человека разумного, в личность — именно за этот отрезок времени. Бога нет, но шанс нам предоставлен.

Откуда взялась эта информация?

Она явилась следствием, ну, скажем, того самого большого взрыва, того Первотолчка (на понятном нам библейском языке, за которым стоит вечность, пустота), который пытаются смоделировать на адронном коллайдере. Взрыв, положим, произошел (у нас есть основания так считать: информации, подтверждающей это, становится все больше и больше) — и именно своевременный, с точки зрения интересов человека, взрыв дает возможность человеку, который, с позиции Вселенной, является результатом этого взрыва, узнать свойства материи, проникнуть в суть вещей в буквальном смысле. Мы получаем и получаем информацию, в которой содержится много подсказок. Нам есть что изучать, постигать: открывать, сопоставлять, предполагать, опровергать, вновь строить гипотезы, чтобы открывать etc.

Этот информационный дождь все усиливается и усиливается, а потом он начнет ослабевать, а потом — чем черт не шутит! — прекратится, и мы уже ничего не сможем узнать о мире и о себе, элементарной частице мира, даже если и очень захотим. Наступит время (сейчас в это трудно или даже невозможно поверить: наше воображение, ставшее ручным, перестало быть дерзким), когда волны взрыва унесут информационные потоки прочь.

Вчера было рано, завтра будет поздно, сегодня — в самый раз.

Так сказал физик.

Точнее, так сказал бы я, если бы я, не дай бог, был бы физиком.

Закон, если он закон, всегда универсален. В основе и развития Вселенной, и моей личности, и выбора времени написания «Автобиографии», последнего моего романа, и первого моего романа, и моей первой любви, и моего развода, и моей второй женитьбы, и всего на свете лежит простой, *как бы* не поддающийся формулировке презагадочный постулат: сегодня рано — завтра поздно. В соответствии с этим законом варится варенье, пишется стихотворенье, рожают детей, умирают. Эта мудреная метафора, от которой непосвященных пробирает поэтически-философская дрожь, есть не что иное, как поэтическое выражение ядра *диалектики*.

Я давно заметил: те, кто отрицают диалектику или нервничают, когда при них произносят это слово, те, кто гордятся тем, что они презирают науку на том основании, что им удалось законтачить со сверхнаукой, — те больше всего тащатся именно от неизрекаемых истин типа *сегодня рано — завтра поздно* — то есть, именно от диалектики. Гордящиеся своим невежеством возносят науку как нечто сверхнаучное.

Это и смешно, и грустно.

Совершенно верно: диалектично.

Таким образом, время состоит из отрезков времени вовсе не по моему хотению (что я? кто я? только лишь мечтатель), а по велению диалектики; во времени всегда есть волшебный отрезок *вовремя*, та самая точка золотого сечения, когда удается, поспешая медленно, втиснуться в щель между *сегодня рано* и *завтра поздно*.

Я думаю, что ответ на вопрос *Зачем человек появляется из тьмы на свет?* вполне может быть таким: чтобы все делать вовремя. Лично меня такой ответ устраивает. Потому что за этим ответом кроется коварный императив: чтобы успевать вовремя, надо поступать разумно.

Разумно и вовремя — обстоятельства-близнецы.

Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел;
Кто странным снам не предавался,
Кто черни светской не чуждался,
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов,
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N.N. прекрасный человек.

Какой блестящий диалектический пассаж!

Все было сделано вовремя — а жизнь профукана. Отчего же?

Оттого, что вовремя, *с точки зрения маленького блаженного человека,* есть отнюдь не вовремя, *с точки зрения человека разумного*. Умный и дурак живут в разных временах. Всегда. Категорию *вовремя* Пушкин превращает в сатирическую, оставляя — sapienti sat — судьбоносный шанс: «Блажен, кто вовремя созрел». Если ты вовремя начал мыслить, сатирическая траектория превращается в трагическую, от которой до подлинного величия рукой подать. Ты начинаешь предаваться странным снам, чуждаться светской черни, женишься по любви, не делаешь долгов; слава, деньги и чины — не про тебя.

Ты вовремя встал на путь, ведущий от человека к личности.

Это как в компьютерной игре (я видел, как в нее играют дети): если все сделать вовремя, сиречь правильно, можно выиграть и получить приз. Главный приз — состоявшаяся или не состоявшаяся жизнь.

Эта гипотеза (возвратимся к гипотетическому физику) очень похожа на красивую современную сказку, знаю, слишком знаю; вряд ли составляющий ее физический фундамент можно сколько-нибудь убедительно обосновать математическими выкладками уже сегодня; но красивой эта сказка становится потому, что она ужасно похожа на правду. Общая логика, которой вооружила нас жизнь, присутствует в этой гипотезе-сказке.

Сказка — ложь?

Ложь. Но ментальный каркас сказки не ложь. Эта гипотеза связывает человека и космос.

А теперь из космоса возвращусь к себе, ихтиАндру. И что я вижу?

Я вижу нечто, ранее мне недоступное. Я смотрю на себя иными глазами (так случается с теми, кто побывал в космосе). Ихтиандр не может не сопро-

тивляться, как я уже говорил, или, в менее героической версии, ихтиандр сам по себе является некой жизнеспособной гипотезой, отчасти сказкой (что в этом плохого? скажете, сказка — ложь?).

Человек, осваивая Вселенную, даже не параллельно, а лучше сказать, неизбежно постигает себя. Эти два информационных процесса пока что, к сожалению, идут действительно параллельно, но их надо зарифмовать (на поэтическом языке), надо обнаружить общность алгоритмов, и тогда эти процессы будут усиливать друг друга; да что там — они просто станут одним информационным процессом (включающим в себя множество течений), что давно уже де-факто и происходит.

И я, ихтиАндр, хочу быть участником этого единого процесса.

И я могу принять участие в этом процессе исключительно как ихтиандр.

И вы можете принять участие в этом процессе только как ихтиандры, но *не как маленькие, ни за что на свете не несущие ответственность люди*.

И я могу быть не прав, еще как могу; я многое могу. Но тот из вас, подлых малых сих, кто предательски, из гущи толпы, бросит в меня камень первым, будет не прав еще более. «N…ик, ты не прав!» — хочется сказать мне ему и погрозить пальцем за горизонт.

А вот сейчас, сию минуту, нет, уже секунду, я, ихтиАндр, обращу ваше слегка рассеявшееся по времени и пространству внимание на гигантский, широкомасштабный нюанс.

Але-оп! Фокусируемся.

Как только я начинаю рифмовать ЛИЧНОСТЬ и ВСЕЛЕННАЯ, человек начинает нервничать. Ему в этом глубоко не поэтическом акте тут же чудится нечто несомненно тоталитарное, связанное с информационными ЗАКОНАМИ, на которые он не может повлиять, а они на него — могут, и еще как.

«Это плохая рифма!» — тут же, не дав себе и глазом моргнуть, вопиет человек. «Она бедная, она не в склад и не в лад, она куда хуже, чем ПАЛКА и СЕЛЕДКА, например. Гораздо хуже!»

— При чем здесь селедка, почтеннейший? — я решаю понедоумевать, то есть, сыграть в его игру.

— Э-э, нет, меня не проведешь! — накаляется млекопитающая бестия. — *Палка* и *селедка* — пусть себе, это я переживу. Это, в конце концов, смешно, если вам непонятно! А вот урезать меня, ЧЕЛОВЕКА, до масштабов *личности* и какой-то там мифической *вселенной*, которую и в микроскоп-то не разглядишь, — этот фокус не пройдет. Нет и нет, и не надо меня уговаривать!

— Послушайте, почтенный…

— Вы все время копаете под меня с позиций этой вашей *личности*. Как вам не стыдно! Это нарушение прав человека! Я хочу славы, денег и чинов. Вот и все, чего хочу я.

— С чего вы взяли, что я под вас копаю? Я насквозь вижу под вами на семь футов. Зачем копать? Напрасный, к тому же, утомительный труд. Это раз. Во-вторых, с чего вы взяли, что в царстве личности, политическим устройством которого является диктатура культуры, вам, ничтожествам, непременно на следующий же день, или там в последующие пару миллионов лет, непременно станет хуже?

— Разве нет?

— Никак нет, вовсе нет, отнюдь нет; нет — и все. Сказал, как отрезал.

— Странно. Так чего же вы хотите? Я бы на вашем месте добил нас, ратующих за диктатуру натуры. Это ведь так естественно, Боже мой.

— Чего я хочу? Я хочу выжить. Я не собираюсь устранять глупый футбол, упразднять чины, или учить уму-разуму, или сжигать гейм-литературу — словом, не собираюсь ликвидировать ваше все, а именно: рынок, демократию, религию, секс и национализм.

— Ой, лукавите, конечно, вы же тоже человек!

— Да я не лукавлю. Я тоже человек, как вы изволили заметить, и я тоже люблю смотреть глупый футбол и читать порой скучную гейм-литературу. От умных и нескучных книжек тоже, знаете, порой тошнит.

— Да вы кот-баюн, вот вы кто!

— Вы думаете, я говорю о личности, чтобы досадить вам? Если можно обойтись без личности, я первый был бы рад сделать это. Личность — это очень обременительно, хлопотно, ответственно. И никто не скажет «Личность — прекрасный человек». Да ну бы ее ко псам… Но человек может выжить только как личность — вот я о чем. И у нас осталось не очень много времени на то, чтобы взять курс на личность. И сейчас очень благоприятное время, я имею в виду несколько предстоящих злополучных веков, а время не всегда было и будет таким благоприятным, сейчас самое время, *вовремя*…

— Сказочник! Ганс Христиан! Просто — Ганс! Ганс! Ганс! Нехристь!

— Да перестаньте вы ругаться. По нам с вами вовсю уже звонит ваш обожаемый колокол. Малиновый звон — слышите в вечерней тишине? Это он. Остались каких-нибудь пара миллиардов лет. Хорошо если. И что потом?

— Суп с котом! Я вам не верю!

— Ах, да, все время забываю — вы же дурак. Чего с вас взять, верно? Вот беда… Как субъект диалога вы ни к черту.

— Ну и что?

Ладно. Сейчас я обращаюсь к тем, кто обнаружил в диалоге хоть крупицы смысла.

Почему дурак всегда настораживается, когда я говорю о личности, о Вселенной, о культуре, о разуме и о литературе?

Во-первых, дурак втайне уверен, что я говорю и от его имени тоже.

Во-вторых, если я прав (а дурак пуще всего этого и опасается), то его, дурака, как бы и вовсе не существует на белом свете. Суть каждого дурака — умный; следовательно, дурак есть самая большая помеха жизни. Следовательно, от дурака можно и нужно (sic!) избавляться на ЗАКОНных основаниях.

В-третьих, дурак боится, что до какого-нибудь дурака может дойти то, о чем говорю я, ихтиАндр. Следовательно, надо как можно быстрее и эффективнее заткнуть мне рот, оберегая девственно чистое сознание, твердую мораль и железобетонную веру.

В-четвертых, дурак ценит свой день рождения больше, чем 5 миллиардов лет, большой взрыв и коллайдер вместе взятые.

— Вот такой нюанс, и что с ним делать? — подло опережу я вас своим вопросом.

Вообще-то, с некоторых пор все вопросы, как и романы, я запускаю в пустоту. И считаю сей трюк наиболее эффективной из всех доступных мне форм сопротивления, если вы понимаете, о чем я.

За сим остаюсь навеки весь ваш, и проч.

Пишите письма. До востребования.

50

Сказание о Добрыне, N… точке и Натане. А также обо мне

Однажды на одном из международных фестивалей русскоязычных писателей, который назывался «Вернуться в Россию стихами и прозой», мне довелось познакомиться и пообщаться с интересной дамой.

Я выступал перед писателями и поэтами, когда она вошла в прилично заполненный зал, спокойно прошла к задним рядам (хотя и впереди были свободные места), скромно села и внимательнейшим образом (в этом у меня не было никакого сомнения) дослушала мое выступление до конца. Ее выдавала напряженная поза; она застыла, словно суслик или охотничья собака. Она притаилась, как на поле боя.

Мне задавали много вопросов, я честно отвечал. Честно говоря, парировал.

— Как можно не любить своего читателя? — спрашивают из зала.

С места. Голос звенит от негодования.

— Я не говорил, что я не люблю своего читателя, — отвечаю я. — Более того, я обожаю своего читателя. Я сказал нечто другое; я сказал, что пишу свою прозу из презрения к читателю, который никогда не поймет мои романы; я пишу свои романы из презрения к читателю, который обожает чтиво. Я не люблю так называемых *маленьких людей*, которые с удовольствием читают о себе подобных и с негодованием отворачиваются от всего отмеченного печатью культурного величия.

— По-вашему, литература о людях обычных, ничем не примечательных, — это не литература?

Тембр голоса уже иной, хотя тоже женский; однако и этот глас, поданный инкогнито, дребезжит от злобной скорби.

— Это как посмотреть. Если писатель также является обычным, ничем не примечательным человеком, любящим своих героев именно за то, что они живут растительной жизнью, если писатель умиляется трогательной бездуховности малых сих, то — да, совершенно верно: это, скорее всего, не литература. Это чтиво. Если писатель презирает тех, кто достоин презрения, и симпатизирует достойным уважения — это уже неплохая заявка на писательство. Плюс талант, конечно. То есть, сначала талант, а потом все остальное. Тут все непросто.

— А где критерий, отделяющий маленького человека от большого?

— Это очень просто. Маленький человек — не мыслит; более того, он презирает мыслящую личность в себе и, разумеется, в литературе. Что касается большого человека, то есть человека, обладающего задатками личности, то он прежде всего мыслит, а кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей, а кто презирает людей, тот уже не прав, и чтобы понять, в чем ты не прав, приходится мыслить еще больше…

— По-вашему, маленький человек — это плохой человек, а личность — это хороший человек?

— По-моему, именно так. Вы очень точно сформулировали. Вы, молодой человек, мыслите прямо на глазах. Но это еще не все. По-моему, только хороший, то есть умный, человек может понять, что такое счастье, свобода и истина, только хороший может испытать любовь. Плохому, то есть глупому, это не дано. Отсюда следует: писать о маленьком человеке — значит, поощрять

невежество, значит, писать не о свободе, но о воле, не об истине, но о правде, не о любви, но о страсти или продолжении рода, не о приключениях ума и души, но о приключениях массы тела. Писать о маленьком, поэтизируя все маленькое, — значит, врать. По-моему, закономерно возникает вопрос: зачем тогда писать?

— Скажите, пожалуйста, — с места поднялась стройная женщина, по виду и по акценту грузинка. — Скажите, пожалуйста: вы верите в Бога?

— Видите ли, у меня есть совершенно определенный ответ на этот вопрос, но я озвучиваю его всегда без особого удовольствия. Вы ставите меня перед выбором: разочаровать аудиторию или погрешить против совести. Надеюсь, вы знаете, что вы делаете. Давайте так. Из уважения перед аудиторией, — ведь вы пришли послушать меня, посмотреть, что я представляю из себя на самом деле, — а также из уважения к литературе, я скажу то, что думаю. Я не верю в Бога, ибо я верю в личность. Я не понимаю, как можно совмещать веру в разум и веру в иррациональное и непостижимое, которое выше разума. По-моему, честнее что-нибудь одно.

Наступило тягостное молчание.

Вот всегда так: зададут убийственный, по их мнению, вопрос, получат убийственный, с их точки зрения, ответ, а потом сидят и дуются, как мышь на крупу. Делают вид, что я их страшно, просто смертельно разочаровал.

— Зачем же мне читать литературу, где нет веры в Бога, где нет дороги к Храму? — с заднего ряда в полный рост поднялась интересная дама. Она была чрезвычайно раздавшейся книзу, откуда-то от пупка, что позволяло ей твердо стоять на земле. Будто пирамиде.

— Вам нет необходимости читать литературу; читайте чтиво, — учтиво сказал я.

— Мне нет необходимости читать чтиво, я его, извините, произвожу. Я — N…

Тут она назвала свою достаточно известную, не в пример моей, фамилию.

Зал ахнул. Все с грубым любопытством, с незапамятных времен заменяющим простой публике почтение, развернулись в ее сторону, благо это давало возможно всему залу отвернуться от меня.

— Я пишу свои книги из любви к читателям, и мой читатель никогда не предавал меня, — подытожила крепко стоящая на ногах дама.

Зал дружно зааплодировал.

Что ж, я давным-давно знал, по какому сценарию должны происходить успешные встречи с жаждущими прекрасного и высокого читателями.

Потому, собственно, и не встречался с ними.

Но это был, как выяснилось, пролог. Продолжение последовало на банкете, который венчал фестиваль, у всех его участников вызвавший впечатление воистину пиршества духовного.

Госпожа N. подошла ко мне (точнее, улучила момент, когда мы нечаянно сблизились, блуждая между столами, так что при желании можно было сказать, что именно я подошел к ней) и просто сказала:

— Хотите, я подарю вам мою книгу?

— Буду польщен, — ответствовал я. — Только непременно с автографом.

— Извольте.

— Спасибо.

— Пожалуйста. Вы знаете, я никогда и ничего не выдумываю в своих книгах. Я просто не умею выдумывать.

— Ты ничего не выдумываешь, N…чка, — и именно поэтому у тебя получается превосходная литература, чудесная проза, — раздался откуда-то сбоку мужской голос. — Жизнь давно все расставила по своим местам. Зачем выдумывать?

У известной писательницы явно имелся телохранитель или куратор, по возрасту годящийся ей в сыновья или племянники, но уже такой же ничем не стесненный в объемах. Он был также, судя по всему, широкой натурой. Мне вспомнился отзыв одного моего приятеля о мужчинах, в которых отсутствовало собственно мужское притягательное начало; приятель не без остроумия заметил: «Он был красив неброской мужской красотой».

Впрочем, про себя я тут же окрестил его Добрыней, в строгом соответствии с классикой: «Добрыня Израилевич, вы либо крест снимите, либо трусы наденьте».

— Вы чувствуете себя неловко, не так ли? — проницательно заметила N.

— Да нет, все в порядке, — зачем-то быстро соврал я. — А впрочем, вы правы, я чувствую себя не в свой тарелке.

— Почему?

— Потому, что я вас читал.

— Вам не понравилось?

— Не то слово. Пишете-то вы бойко. Мне, пожалуй, именно неловко.

— А в чем, собственно, дело?

— Дело в том, что вы пишете о евреях, о еврейской эмиграции, исключительно для евреев, а я — о личности и для личности. По-моему, вы в упор не замечаете личность, а я, боюсь, с вашей точки зрения, делаю вид, что не замечаю евреев.

Дама рассмеялась.

— Заметьте, не я это сказала.

— Это лежит на поверхности, и потому обманчиво. Скажите, а почему вы так избегаете разговоров о личности? По-моему, избегать разговоров о личности — это признак графомании.

— Я не избегаю. Я просто пишу о том, что неплохо знаю.

— И о том, что вас неплохо кормит. По-человечески это понятно. Но вы все время пишете не о человеке, а о еврейской маме, семитском сыне, мудром, как семь обычных стариков, дедушке, преданной семье бабушке, обросшей отпрысками, как кораллами риф; вы не пишете о любви, в лучшем случае, касаетесь ее, затрагивая тему обрезания; вы не пишете о том, как социум давит на человека, вы пишете о еврейском семейном укладе, который источает вековое благолепие и делает всех только лучше и лучше. И нет для вас другого инструмента улучшения человека, кроме еврейской семьи и вообще еврейского мира. Из нехитрого выбора «ни эллина, ни иудея» вы умудрились однозначно выбрать иудея.

— Каждый пишет о том, что знает лучше всего.

— Вы все время переводите разговор на ловлю перепелов.

— Виновата, не уследила за вашей мыслью…

— По-моему, человек и личность — более общие понятия, нежели еврей. Или эллин. А для вас еврей, понятие частное, важнее, чем человек. Вы за деревьями не видите леса. Поэтому мне было неловко читать ваши русскоязычные опусы.

— Вы что-то выдумываете. Разве любовь между евреями — не любовь? А я пишу о такой любви. И обрезание, по-моему, очень даже красит мужчину. Поверьте мне.

Добрыня Израилевич развернул плечи и одновременно покачал головой, всем своим видом давая понять, что креста на нем нет.

— В конце концов, разве любовь еврейской матери к еврейскому сыну не материнская любовь? А я пишу об этом святом чувстве.

— Я тоже пишу в основном о любви. Но наши герои отчего-то не пересекаются в этом мире. Отчего, как вы думаете? Оттого, что еврей и личность живут в разных мирах?

— Вы сами сказали: вы делаете вид, что не замечаете евреев.

— Я сказал нечто другое…

— Вы сказали именно это.

— Вы сказали именно это, — подтвердил Добрыня, серьезным видом усугубляя неброскую мужскую харизму.

— Ладно. Хорошо. Попробуйте убрать своего героя из еврейского окружения — что от него останется?

— Я пишу именно о том, что еврея ни в коем случае нельзя изымать из еврейского окружения. Ни в коем случае! Что вы! Как говорит наш раввин, мы должны всегда помогать нашим людям. Мои герои плачут, смеются, ненавидят — потому что любят. Потому, что они евреи.

— А один умный еврей сказал, что надо не плакать, не смеяться, а понимать. Хотя бы иногда. Вот и я о том же.

— Что вы говорите? Умный еврей не мог сказать такого.

— Он был не то чтобы умным, как все ваши дедушки; скорее, он был гениальным.

— А-а, гениальным… Гениальный — мог.

— В таком случае, вашего героя нет. Есть собирательный образ, в котором фокусируются социальные связи. Когда человеку нечего сказать, он говорит либо красиво, либо о своих проблемах в обществе. Либо смеется — либо плачет. Вы выбрали второе. Ваш Бог вам судья. Но мое мнение на этот счет таково: вам просто нечего сказать.

— N…чка, хватит разговаривать, еще раз подают второе, — решительно встал между нами Добрыня. — Если все будут писать о личности, кто тогда станет писать о евреях? А?

— Сначала права личности, потом права человека, потом права еврея, не так ли? От общего — к частному. Так учит нас мировая культура, — я решил взять в союзники и свидетели всю мировую философию, в том числе любимого мной еврея Спинозу.

— Кто вам такое сказал? Старик Хоттабыч? Вы что-нибудь слышали о Холокосте? Вот когда услышите, вы таки сразу поймете, что еврей всегда прав. Сначала помоги своей семье, потом еврею, а потом всем остальным. Нас так учит мировая культура. N…чка, пойдем уже кушать второе.

— Да погоди ты со своим вторым, Моня, — оттеснила его N…чка. — Мы сейчас говорим о первом, о главном. — Скажите, господин Андреев, в России есть антисемитизм или нет? Только честно: да или нет?

— По-моему, дело не в антисемитизме, а в природе человека. В том числе еврея. Который, будучи обычным человеком, ничем не отличается от остальных. Мое уважение к евреям проявляется в том, что я пишу и для них тоже; а вот вы пишете только для них, но не для меня.

— Вы увиливаете от ответа!

— Нет, просто вы, решив стать еврейкой, перестали слышать меня, человека.

— Осторожно! Вы начинаете переходить грань!

— Да ничего я не перехожу, и вы это отлично понимаете. Я не принимаю вас не как еврейку, а как апологета маленького человека…

— N…чка, вот всегда эти споры лишают нас пищи. Маленькие, большие, апологеты… Кому это интересно?

— Да замолчи ты, Моня! Это Соломон, — кивнула она в сторону Добрыни. — Известный график, книжный иллюстратор.

И отчего-то вздохнула.

— Моня, дай поговорить с умным человеком. Думаю, у него тоже бабушка еврейка. Нет?

— Да вроде нет. Правда, это не помешало фашистам сунуть бабушку и маму в гетто.

— В гетто? А где было это ваше гетто?

— В Белоруссии.

— И у меня мама была в гетто в Белоруссии! Моня, что я тебе говорила! Это же наш человек.

— N. N-на, а можно, я буду не ваш человек, а просто — человек? Мне так ближе до личности. Рукой подать.

— Я всегда говорю: каждый приличный человек — еврей.

— А я всегда говорю: каждый еврей — человек.

— Вы упрямый, как еврей.

— Я даже упрямее еврея. В советское время я поступал в аспирантуру четыре года подряд — и всякий раз вместо меня туда брали еврея, — по протекции, обратите внимание, и чтобы, не дай бог, не обидеть кого антисемитизмом. Правда, потом все они разлетелись кто куда, кто в Америку, кто в Германию. Один я остался. Вы хоть в курсе, что я в своей стране не могу чувствовать себя русским? Именно поэтому я пишу о личности.

— Ну так пишите о русских, кто вам мешает. Скажите, а какой национальности ваши герои? Условные эллины? Они что, какие-то святые?

— Если бы. Они русские. Знаешь и любишь русский язык, разделяешь ценности русской культуры — значит, ты русский. Так мне кажется. Но мои герои живут во Вселенной.

— Космополиты, что ли? Так бы и сказали.

— Нет, нечто противоположное космополитам. Те живут только на Земле, а мои герои — во Вселенной.

— Все живут во Вселенной.

— Все, да не все. Можно жить в Бердичеве, а потом в Минске, потом в Питере, а потом, слава богу, во Франкфурте-шо-на-Майне. Или в Нью-Йорке. Или в Торонто. Шо на Темзе.

— Мы живем в Бонне, — сказал Моня.

— Или в Бонне. А можно жить в Минске, который располагается в Европе, которая находится на Земле, которая является частью Солнечной системы, которая ютится во Вселенной…

— Ну так и пишите о русских, которые живут Бог знает где, — возразила N. N-на. — Что им, все места мало?

Мне как-то к месту вспомнился отзыв о моем творчестве замечательного, талантливого культуролога Ольги Федоровны Таланцевой: «Если бы перед нами поставили цель — оценить литературное творчество писателя Анатолия Андреева только посредством одного слова, то им бы стало слово *русскость*. Парадоксальность такого утверждения заключается в том, что сама по себе русская тематика через какие-то ее внешние формы в его прозе как раз никак и не проявлена. Тем не менее, во всех романах и повестях писателя на нас

смотрит сама Россия, национально-ментальный архетип которой передан и отражен не через описание каких-либо событий из русского прошлого или настоящего, не посредством кокошника, сарафана или самобытного сказа, а выражен через масштабность личности основного героя прозы Андреева, мужского персонажа — представителя меритократии, элиты духа. На страницах прозы Андреева чаще всего им становится писатель, в личности которого сконцентрировались смысловые парадигмы русской духовности. Именно в таком герое нуждается современный мир, находящийся в стадии острейшей духовной деградации. В ней он нуждается сегодня больше, чем в современных технологиях и технических революциях».

Мне вспомнился этот так удививший меня отзыв, и я по примеру Добрыни Израилевича также развернул плечи.

— Если я буду писать исключительно о русских, а вы только о евреях, как вы думаете, до чего мы допишемся? Кто из нас будет прав? Тот, кто сильнее? Если ты такой умный, то почему тогда такой не еврей?

— Скажите, но мы ведь с вами не станем враждовать из-за того, что вы пишете о личности, а я — о евреях? А?

— N…чка, мое терпение уже давно кончилось! Его давно иссякло!

— Соломон, с возрастом ты становишься невыносим. Как твоя бабушка. Так мы не станем враждовать, Анатолий?

— А вы рассудите: какой смысл нам враждовать? Мы ведь в буквальном смысле дети Вселенной.

— Вы говорите, как раввин Натан. Это умные слова. Моня, пошли скорее есть второе. Здесь, в Польше, неплохо готовят, по отзывам бабушки твоего папы. Все на этом свете будет хорошо, хотя и не в этой жизни, — сказала N…чка, удаляясь величественной походкой.

Соломон шел сбоку, свысока поглядывая на всех Добрыней.

* * *

Вопрос: чем различаются люди?

Ответ: они различаются качеством мышления.

Я же вам уже говорил.

51

Между Кихотом и Пилатом: таковы ориентиры моей эпохи.

Философский результат — это одно; а вот грустный мировоззренческий результат, то есть философия, непосредственно коснувшаяся твоей жизни, — это несколько иное. Объективная истина, ставшая вполне себе субъективным кредо и, соответственно, судьбой. Твоим личным выбором. Все это трепещет и болит.

С философией нет проблем; есть проблемы с жизнью и судьбой. Если продолжать сражаться за ценности личности и культуры (а за что же еще прикажете сражаться приличному человеку?), то неизбежно будешь все более и более превращаться в старомодного и смешного Кихота, этакого забавного и бодрого заслуженного пенсионера, всю жизнь проведшего в окопах на фронтах вселенской битвы с пошлостью; чтобы отказаться от борьбы, надо облачиться в панцирь лицемерной философии Пилата — и принять жизненный успех как погибель.

Чтобы отказаться от борьбы, надо здорово побороться с собой.

Маргиналу, как всегда, достается и от наших, и от ваших.

Кихот как культурная стратегия — это жалкая и потому, увы, комичная утопия: ты сражаешься, чтобы не победить; но вот как образ жизни на конкретном этапе — это вполне рассматривается. Личность обречена кихотствовать, биться насмерть с ветряками идиотизма. Путь к личности извилист, и какой-то отрезок пути необходимо пройти в доспехах Кихота. Sic.

Однако у этого образа жизни, на определенном этапе отчетливо здорового, есть далеко не бесконечный ресурс. Рано или поздно он кончается. Нормальный человек, нормально прошедший стадию Кихота, неизбежно приходит к разочарованию: это нормально.

В кого превращается разочарованный Дон Кихот?

Интеллектуально развитый Кихот, скорее всего, превратится в Пилата. Он предаст истину и, следовательно, самого себя (жалкий Иуда нервно курит в сторонке) — и тем самым получает право и некое основание предательство делать философией жизни. Жизненный успех как плата за предательство.

А как прикажете поступить нормальному человеку?

Идеалы не работают, а если ты сражаешься за них, продолжаешь тупо настаивать на своем, то есть, вступаешь в схватку с законами объективной реальности, то превращаешься в блаженного дурака. Разве нет?

Еще как да.

Будь разумнее — откажись от благородных, но нежизнеспособных идеалов, стань прагматиком (почему сразу предателем? всего лишь прагматиком, да, да; в конце концов, это вопрос терминологии и, если угодно, самоощущения). Дон Кихот становится этапом на пути к Пилату, а Пилат становится культурно-философской вершиной. Логично?

Еще как логично. Бросишь камень в Пилата — угодишь в здравый смысл, который и был, собственно говоря, религией Кихота. Так вот как-то.

Но есть еще один сюжет. Умный Дон Кихот не превратится в Пилата, хотя, конечно, он устанет быть Кихотом. Кихот — это относительно молодое состояние духа и души, когда очарование и разочарование бьют ключом, когда любое поражение празднуется как победа. Мудрый Кихот — это кто?

Это человек, презирающий Пилата, однако переживший Кихота в себе. Имя ему — Маргинал.

Разочарование становится формой сопротивления, а не аргументом в пользу эволюции в сторону Пилата. Переживший себя Кихот — это верный себе Кихот, это вечный Кихот.

Это уже не «так вот как-то»; это диалектика.

У Кихота есть будущее, хотя оно не связано с победой милых его сердцу идеалов; оно связано с законом: личность всегда, на каждом этапе, должна оставаться верной разуму.

А легко ли жить Маргиналу?

Во всяком случае, не хуже, нежели Пилату.

И это, между прочим, серьезный аргумент.

52

Моя *автобиография* — это грустноватое жизнеописание человека, которому пришлось бессознательно формироваться в корявую эпоху торжества *идеи справедливости*, вообще торжества *идеи (духа) над плотью*, когда усомнившихся несправедливо расстреливали (из уважения к силе духа, надо полагать),

а сознательно жить в эпоху торжества великого принципа *да здравствует маленький человек, не шевелящая мозгами мелочь пузатая, плюющая на справедливость и сами идеи и обожающая бабло,* когда несогласных с принципом бережно отлучают от кормушки, однако из великого гуманизма, свойственного мелочи, уже (или еще: тут пока разночтения) не расстреливают.

При том, советском, тоталитаризме лишали жизни; при этом, антисоветском, лишают возможности стать личностью. При первом убивали тебя как человека, при втором — убивают как личность, но это, согласно новейшим правилам, убийством не считается. Как аборт. Несогласные обладают священным — демократическим! — правом человека оспорить это в суде. Но суду непонятна размытая формулировка «права личности». У личности руки-ноги есть?

Есть, но это человек, а не личность.

Странно. Крыша над головой имеется?

Да, но этого недостаточно, чтобы говорить о личности.

Право на образование?

Это также не решающий аргумент.

Суду все ясно. Встать! Суд идет. Расселись тут…

В зал походкой крупного слона, вальяжностью манер напоминающего директора зоопарка, вошел судья. В очках с толстой роговой оправой.

— В деле Капитализм против… кого?

— Против, ихтиАндра, Ваша Честь.

— Прописная буква в середине?

— Да, Ваша Честь.

— Опять какая-то нетрадиционная ориентация?

— Напротив: жуткий традиционалист… Диалектический материализм, изволите ли видеть…

— Против ихтиАндра, гм-гм; воля ваша, здесь что-то не так; он хоть живой, этот ваш ихтиАндр, in God we trust?

— Живой, Ваша Честь.

— Так на кого он похож? На обезьяну?

— Он не отрицает этой своей родословной, но не слишком ею гордится. Воспринимает этот факт со смирением реалиста.

— Вот как! Покрыт шерстью?

— Уже нет.

— Хвост?

— Нет, сэр, что Вы…

— Гомофоб?

— Видите ли…

— Как же он выглядит?

— Личность, сэр.

— Ах, личность. Ну, тем хуже для него. Или надо говорить — для нее? Неважно. И для него, и для нее. Не станем разводить сексизм и половую дискриминацию. В деле Капитализм против ихтиАндра, прости Господи, суд оглашает приговор, обжалованию не подлежащий: убить личность преступлением не считается. Формулировку «убить личность» рекомендуется считать провокационной, поскольку никто в подлунном мире не может объяснить суду, что есть личность. Следовательно, личности не существует как субъекта и объекта права, а также ее не существует и как одухотворенного существа, верящего в Создателя нашего. Это миф. А миф смешно убивать или не убивать; мифом следует пользоваться строго по назначению: верить в него или нет. ИхтиАндру,

будь он неладен, за клевету и злой умысел назначить наказание в виде пожизненного отлучения от кормушки, пардон за сленг, то бишь от самой лакомой части общественного пирога. Если кто не понял, от права заниматься самыми престижными профессиями, как-то: юрист, финансист… Кто там у нас еще? Юрист — раз, финансист — два… Ах, да, политик. Три. Все, что ли? Космонавт? Уже нет? Неважно. А также назначить принудительное обследование в психиатрической… Что? Что не так? Ладно, ладно, я услышал глас народа. Назначить, говорю, *добровольное* обследование — мы не звери, не так ли? — с обязательным представлением истории болезни суду. Мне лично. В частной психиатрической клинике, само собой. У мистера МакКилла. Что рядом с закусочной МакДоналдс. Кстати, который час? Всем спасибо, все свободны. Встать! Суд уходит. Расходится. По своим сугубо частным делам.

— Слава Богу!

— Слышали? Никто никого не убивал, у нас, слава Богу, не те времена.

— O, God, храни *мерику.

При социализме суд был сплошным кошмаром и издевательством над здравым смыслом, Божьим промыслом, а также над самими идеалами социализма.

Встать! Суд идет!

— Подсудимый! Для слепоглухонемых повторяю: под-су-ди-мый!

— Слушаю вас внимательно, дорогой товарищ судья.

— Что это еще за белогвардейщина! Надо отвечать коротко и ясно: я.

— Я.

— Это во-первых. Во-вторых, какой я вам товарищ? Я для вас гражданин, а вот вы для меня — нет.

— Я!

— Что — я?

— Чтобы коротко и ясно.

— Это правильно. Признаете ли вы себя японско-американским шпионом? А также английским гражданином. И вредителем, само собой. Широкого профиля.

— Нет, Ваша Честь.

— Что-о?

— Я имел в виду, «нет, гражданин начальник», господин судья.

— Как это — нет? Что значит — нет? Мы что, по-вашему, втроем здесь в бирюльки играем?

— Никак нет! Не в бирюльки!

— А что мы, по-вашему, здесь делаем? Втроем? А?

— Не могу знать!

— Что значит — не могу знать? Это прямое оскорбление суду. Это еще на десять годиков тянет. Таким образом, расстрел плюс десять лет. Без права переписки, само собой.

— Я!

— Что значит — я? Смотрите, подсудимый, доиграетесь… С огнем играете, шпион. Что вы видите за окном, позвольте полюбопытствовать? — недобро прищурился председательствующий, видимо, исчерпав набор аргументов.

— Я?

— Вы, вы.

— Я… За решетками окна я вижу белый снег.

— Снег — летом? Да вы, я вижу, беллетрист, а? Максим Горький, а? За окном, как легко догадаться, идет напряженное строительство социализма.

Вот сразу видно, что вы — чуждый элемент. Одним словом, шпион. Согласны, товарищи? Вижу, что согласны, какие еще нужны доказательства. Вот здесь, подписи поставьте. Ну, крестики. И не надо нервничать, товарищи. Где ваша идейная закалка? Каждый из нас может быть на месте этого шпиона, имейте в виду. А теперь на трудовой фронт — шагом марш! И будьте бдительны. Зорче стреляйте глазами. А ушки, так сказать, на мушке.

— Боже, что творят, что творят! Креста на них нет! — шепотом в зале. Только глубоко внутри себя. В самом сердце. — Иуды! Су*и. Гм-гм.

Шепот был заглушен громом аплодисментов.

Нет, как себе хотите, но капитализм есть очевидный прогресс по сравнению с социализмом, по отношению к которому капитализм когда-то близоруко рассматривался как натуральный регресс.

При социализме учение о личности выглядело безнадежной ересью — более правильной, по сравнению с существующими, однако вечно-временно запрещенной системой идей. При капитализме, где главным капиталом был простодушно объявлен именно капитал как таковой, а не человек, учение о личности утратило даже отчасти культурный статус ереси — оно попросту не принимается в расчет как идеологический ресурс при очевидном идеологическом дефиците. Выражение *золотой человек* капитализм стал понимать в прямом смысле: *человек из золота*. Дорогой мой человек. Буквально: очень дорогой. Очень, очень много нолей.

Я сознательно формировал себя как человек, ориентирующийся на приоритет духовного в жизни (пусть временами и в форме идеологически-нормативного духовного); модель бездуховного существования как воплощение некой высшей духовности всегда вызывала у меня отторжение (неприятие, улыбку, бешенство — в зависимости от обстоятельств). С годами основой духовности для меня стала свобода — но не воля, основа бездуховности! Век воли не видать — это сугубо капиталистическое представление о свободе.

Из первой эпохи, социалистической, я до конца так и не выписался, а в последнюю свою эпоху, капиталистическую, так и не вписался, почитая и то, и другое делом чести. Для меня вопрос *какая же эпоха лучше?* звучит примерно следующим образом: что вы предпочитаете, милейший: быть утопленным или, напротив, повешенным?

А ко мне пристают с ножом, остро заточенным жерновами эпохи: как-нибудь определитесь, не капризничайте. А то как раз окажетесь прирезанным. С кем вы, мастера культуры: с нами, духовно небогатыми толстосумами, — или против нас, за подлый социализм?

И вопросы *какая же эпоха лучше?* и *с кем вы?* представляются мне подлинно инфернальными. Мой ответ — я за личность, за себя, за ваше будущее — никому не интересен. Это явно несовременный ответ. Его просто некому слышать. А те, кому все же удалось расслышать, считают мой выстраданный ответ уклонением от ответа.

Вы слышите?

До самого последнего времени я наивно полагал, что достаточно благополучно перебрался из-под обломков одной эпохи под стеклянные своды дворцов иллюзий другой. По крайней мере, до следующего Землетрясения, а то и вкупе с Потопом.

На самом деле я стал свидетелем гибели эпохи культа идеалов (в частности, идеала справедливости), взамен которой как на дрожжах поднялась эпоха смертоносного торжества культа денег. Сегодня все имеет смысл ровно настолько, насколько оно стоит бабла-*злата* (от слова *зло*, ежу понятно).

Сегодня разговор торговца живописью с художником конкретен, по-деловому краток и язычески далек от философии. Вуаля.

Торговец. Приступим, времени совсем уж нет. А время — деньги.

Художник. Да я, собственно…

Торговец. «Черный квадрат», говорите, или что там у вас… Сколько стоит денег?

Художник. Каких денег? Это же всего лишь черный квадрат. Заготовка. Холст и краски — все. Любой малявка осилит. Так, тля на древе искусства. Такое задаром не пристроишь.

Торговец. Ставим вопрос в плоскость прагматическую, потому что с вашими критериями художественности толку не добьешься. Можно ли организовать скандальчик вокруг квадрата, чтобы к невзрачной геометрической фигуре (целых четыре колюще-режущих угла, вы вдумайтесь) потянулись простые люди с их здоровым любопытством, поэтически называемым тяга к зрелищам?

Художник. Можно. Скандальчик можно организовать вокруг чего угодно. Только что толку? Скандал вокруг заготовки завтра сойдет на нет, останется запятнанное имя. Все будут тыкать пальцем в голого короля.

Торговец. Вы меня неверно поняли. Можете ли вы свою убогую заготовку-картину превратить в блестящее зрелище? Скажем, вы думали, что достали из запасников законченный шедевр, а достали заготовку для шедевра. Обдернулись. Так сказать, явили миру начало начал шедевра. Квадрат — это вопрос трактовки. Божественный ляпсус — не такая уж глупость. Имени вашему в обозримом будущем ничего не угрожает, кроме славы, я вас уверяю. Хотите славы и денег?

Художник. А, вот как ставится вопрос… Правда, я хотел иной славы.

Торговец. Об иной славе творцы, как правило, редко узнают при жизни. Голодной, уточним, жизни. Вам оно надо?

Художник. Вы правы. Жизнь коротка, а искусство… Искусства на всех хватит.

Торговец. Это слова не гения, но мужа. Скандал, то есть, общественное внимание, — это уже какой-никакой капитал. А то, что стоит денег, — уже искусство. Ведь не может же стоить денег то, что совсем ничего не стоит, верно? Вот и наживка готова для толпы-пираньи. От вас — квадрат и скандал; за мной — первое капиталовложение. Это сработает. Я дам много денег — и ваша, пардон, картина превратится в искусство. Попробуйте докажите мне обратное. За дело, камрад. Мы будем первыми, кто отнесется к искусству не как к Промыслу, а как к Промышленному Производству. Первыми! А первый где бы то ни было — это всегда хорошие деньги. И запомните: в следующий раз лучше сначала скандал — а потом все что душе угодно. Квадрат можно так покромсать с помощью обычных ножниц — два кольца, два конца, а посередине гвоздик, — что получится целый кубизм. Соединяйте углы в произвольном порядке, если не скучно, — станете богатым и известным. Чего ж вам боле? Только вычеркните из своего лексикона слово *талант*, я вас умоляю. Говорите как приличный человек, как коммерсант, который и является истинным поэтом эпохи капитализма. Искусство — это то, за что назначены деньги; то, за что денег не дают, отныне перестает быть искусством. Баста, как говаривали великие итальянские художники, титаны эпохи Квадраченто. Хватит, натерпелись.

Художник. Да вы, батенька, поэт, и поэт истинный.

Торговец. Ах, оставьте. Так, для досуга. Кстати, предлагаю джентльменское соглашение. Треугольники, будьте так любезны, оставьте мне. Тут я буду первым. И конгениальным.

Так вот как-то.

То, что уместилось в рамках моей жизни, называется эпохальной сменой ценностных парадигм. Черное назвать белым, солгать с особым цинизмом — и оказаться пророчески правым. Такое происходит вообще раз в жизни — в жизни людей, в жизни планеты Земля, не говоря уже о жизни человека.

Я маргинально завис между натурой и культурой в мистически буквальном смысле. Между небом и землей. За что боролся — на том и был наскоро распят. Раздираем противоречиями.

И поделом, наверное.

Хотя, признаться, чертовски неуютно.

53

Да, ко мне в очередной раз пришло понимание, и в очередной раз более высокого уровня, нежели было до этого.

Это значит: ушел, канул в небытие (в поэтической ипостаси — в вечность) еще один отрезок жизни. Отрезок времени. Вместе с новым пониманием начинается немножко новая жизнь.

Я благодарен судьбе за то, что мне удалось, ступенька за ступенькой, забраться достаточно высоко. Голова еще не кружится, но воздуху определенно не хватает. Вокруг облака. Разве не к этому стремился я в жизни?

И вдруг, словно по команде того самого незримого, персонажа из детских фантазий, везде и во всем сами собой стали подводиться некие предварительные итоги, знаменующие начало некоего нового этапа, смысл которого я пойму позже. Когда будущее станет прошлым.

Совершенно неожиданно мне поступило приглашение поехать поработать на остров Русский. В Дальневосточный Федеральный Университет (ДВФУ).

Из центра Европы, по одной из версий, — на край земли.

Следующий отрезок жизни провести на острове Русский?

С другой стороны, что в этом необычного: я и так всю жизнь провожу на острове под названием Русский. Именно на острове. В изоляции. Так что в предложении известная логика присутствует. Моей жизни словно придается если не логическая завершенность, то логически мотивированное продолжение. Правда, не помню, чтобы я об этом кого-то просил.

Что это: ирония судьбы или черт знает что?

Следующий итог, предполагающий весьма перспективное начало, был еще более впечатляющим.

— Я беременна, — сказала моя жена Оксана. — У нас будет двойня. Девочки, не сомневаюсь.

— Что ж, — сказал я, — у меня появляется надежда, что лет через десять я буду освобожден от почетной обязанности мыть полы. Игра в бессмертие закончится. Иногда получаешь больше того, о чем просил (у кого? у себя? через посредничество судьбы? или наоборот?), иногда — меньше. В целом же идея справедливости, на которую я делаю ставку, представляется мне вполне жизнеспособной. Я люблю тебя.

Вот теперь я полностью готов к тому, чтобы позвонить Ю. И. Шкваренко.

Завтра же и позвоню.

Позвонил.

Не отвечает.

54

Я скажу: не надо рая, дайте родину мою.

Самое интересное — я так и скажу.

Преждевременное послесловие

В Запоздалом предисловии я, помнится, неожиданно для себя самого заговорил о зуде подведения итогов.

Какие итоги имелись в виду? Итоги моей жизни, надо полагать?

Это было бы так естественно для художественной автобиографии.

Один из итогов послужил непосредственным мотивом к написанию романа. В свои 54 года я стал утрачивать высокое ощущение своей избранности, которое мне было так внятно еще лет десять тому назад (но не давило при этом на меня). Я как-то по второму кругу начинаю недоумевать: а почему им всем так неинтересен феномен ихтиАндра (даже если это феномен Андреева)?

Неужели прошедший отрезок времени подтвердил их правоту?

И начинаю сам себе объяснять то, что знал и забыл. Тщеславие как-то эмпирически выдавливает честолюбие, занимает его место — и я «вдруг» нахожу себя другим.

Ergo: надо постоянно и неустанно напоминать себе, чем ты на самом деле являешься в этом мире. Не поддаваться искушениям *маленькой* логики. Постоянно быть достойным самого себя.

Это очень трудно. Это вызов не только себе, но и культуре.

Опять балансирую на грани пафоса. Куда меня тянет?

Архетип один: выразить себя, чтобы увековечить. Наотмашь дать каноном по роже вечности. Обессмертить себя. Хочется бросить вызов смерти, если совсем просто. Кундера был прав.

Однако я ни за что бы не взялся за роман, если бы он замешен был на чем-то личном. Теперь, когда я нахожусь где-то в середине работы над романом, я начинаю понимать, что меня волновал, к счастью, не я сам и не моя в пику кому-то завидная и содержательная жизнь (я не настолько сентиментален, чтобы прошлое ставить выше будущего, и у меня, к тому же, нет времени на прощание с угаснувшими чувствами — раздуть, понимаешь, слабеющий костер так, чтобы хилые головешки сгорели дотла; кроме того, доказывать кому бы то ни было собственную значимость с помощью автобиографии — это дурной тон, если не сказать род комплекса неполноценности; распахивать душу настежь, да еще впускать при этом толпы любопытствующих в свой умственный теремок — для этого необходимы веские основания); я интересен себе как итог некоего развития, противоречивого, но вместе с тем внутренне последовательного.

Так сказать, «и я».

Я ощущаю себя крайним, маргинальным звеном быстро доживающей свой век той эпохи, когда интерес, скажем, к Сократу, Монтеню или Пушкину был столь же естественным, как интерес Пушкина к деспоту Петру I, как склонность поддерживать свои силы вкусной пищей из натурального мяса или молока. Ценность любви, любви к женщине была одной из высших для нормально развитого и вменяемого хомо сапиенса. Ценность философии для образованных людей была очевидной, что рассматривалось как норма. Интерес к отечественной истории был не праздным, а человекообразующим.

Гармония между телом и духом, что ни говори, если и не достигалась каждым, то, по крайней мере, не отвергалась как цель осмысленной жизни. Элите духа было место в жизни.

Информационая эпоха изменила не только духовную пищу, чувства, мысли, но и еду как таковую.

Природа человека не изменилась, конечно, однако человек под воздействием обстоятельств становится другим, что я разумею следующим образом: центр тяжести жизни переносится из головы и сердца в область желудка.

Вертикальный стержень человека *тело — душа — дух* (где судьбоносный вектор культуры располагался *снизу — вверх*) абсурдически поменял верх и низ местами, и фактически структура человека обрела иной порядок: *тело — душа — дух*. Получился Федот, да не тот. Ориентация на большую личность мошеннически была подменена дезориентацией на маленького человека. Этот апокалиптический сюжет напоминает сказочную эпопею, столь любезную сердцам маленьких: вдруг явился мелкий Крокодил и ни с того ни с сего Солнце в небе проглотил. Ам — и все. И теперь вот предстоит Маше и ихти-Андру заново все расколдовывать. Чтобы жизнь медом не казалась. Чтобы жизнь была слаще меда.

На каком-то отрезке времени жизнь людей стала напоминать мультик, мультяшную сагу про то, что культурное прошлое есть дурной сон.

Я плохо помню многие события своей жизни; но я хорошо помню основные события отечественной истории. У меня плохая автобиографическая память, HSAM; и на здоровье; но у меня отличная историческая память. Личность не может позволить себе иметь плохую историческую память. Личность не может позволить себе малодушие стесняться истории своего отечества.

Я понимаю, почему люди становятся такими *другими*, и не обвиняю их; просто они мне неинтересны. Меня не впечатляет их искусственная глубина, их способы самовыражения и самоутверждения, их Крокодилы, их Светила. Мне неинтересно играть в игру *давайте будем интересны тем реальным людям, которые населяют Землю сегодня, а не тем идеальным существам, которые должны быть*.

Давайте, в частности, делать ту литературу, которая может заинтересовать дурачков-плебеев, а иных у нас нет и не предвидится, ибо взять их неоткуда. Из ничего и выйдет ничего. Не так ли?

Следовательно, литература может существовать только как духовная пища для даунов. А великая литература — в музеи, на свалку, на обочину; она больше не актуальна. Понимаете?

Вы же не желаете смерти для литературы?

Следовательно, должны принять новые стандарты, новый формат. Понимаете? Черный квадрат…

Более всего меня впечатляет вот этот унаследованный из древней античности царственный жест, исполненный абсолютной уверенности (римские контуры видны невооруженным взглядом): что, литература? великая?

На свалку, куда-нибудь за кулисы. Ко псам под хвост.

Походя.

Так сказать, между делом, между приемом химической булки, пахнущей ананасом и беконом одновременно, и посещением интернетфорума (либо порносайта: по настроению).

Убрать из жизни великое и глазом не моргнуть. Из гуманных соображений, гуманными способами убивать саму суть гуманизма. Это как?

Хорошо, если это новое варварство; а если это новое просвещение?

Вот представим на секундочку: это и есть новый эволюционный виток, нормальное развитие человечества. Великие духовные достижения прошлого в мгновение ока оказываются эволюционным тупичком. Этакой очаровательной ошибочкой. Приятным заблуждением. Бессмысленной тратой сил и энергии.

Не смешно.

В музей, говорите? Жизнетворчество — в музей?

Здесь я, пожалуй, с вами соглашусь. Думаю, литературе как способу духовного производства, в отличие от чтива как способа развлечения масс, пора придать статус всемирного культурного наследия, и на стенах тех колледжей, где преподают еще литературу, формируя у элиты духовной, меритократии, разумный образ мыслей, следует повесить таблички: «Охраняется государством. Действующий памятник культуры».

И напротив, следует ввести новую «вандальную» статью в актуальный (хотя реально-юридически не существующий, как многое из актуального) Нравственный Кодекс:

Ст. 1. Часть 1. За умышленное (а хуже того — неумышленное) разрушение тончайшего озонового слоя культуры путем написания бездарных коммерческих романов, которые мошеннически прикрываются названием литература, и тем самым незаслуженно присваивают себе колоссальный авторитет печатного слова, определить наказание в виде лишения прав на писание и публикование каких бы то ни было текстов сроком на девять лет.

Кроме того, виновный приговаривается к символическому штрафу в 1 (одну) денежную единицу (в соответствии со страной проживания-прозябания). С обязательным сообщением правнукам (а в особо одиозных случаях — потомкам до седьмого колена).

Чтоб неповадно было.

Часть 2. Организацию издательств, специализирующихся на производстве массовой литературы, считать особо тяжким преступлением, совершаемым группой лиц, за которое предусматривается наказание в виде пожизненного лишения прав на писание и публикование каких бы то ни было текстов.

Две денежных единицы и до девятого колена.

Без права обжалования.

С конфискацией права на честь.

Часть 3. Всех замеченных в жульническом графоманстве и неуважительном отношении к культуре незамедлительно представлять к ордену «Позорного пятна» (информирование во всех массмедиа обязательно).

Ибо: по заслугам и честь.

Прим. Убедительная просьба больных графоманией не трогать: они уже и так наказаны, бедняги. Более того, их следует признать жертвами культуры. Инвалидами одного из самых сложных видов человеческой деятельности: изящной словесности.

Они летели, как бабочки на огонь, прельщенные нектаром красоты; это прекрасно.

Они не рассчитали сил и опалили крылья; это печально.

Часть 4. Тот отрезок времени из темного грядущего, когда для чтива понадобятся таблички «Осторожно! Действующий рассадник антикультуры и величайший курьез. Музейный экземпляр. Охраняется государством», считать временем выздоровления.

С этого момента признать Ст. 1 утратившей силу.

Вот откуда родилась «Авто_био_граф_и_Я»: она родилась как сопротивление коллективному безумию. Последнее, что мне пришло бы в голову в качестве названия, — это «Исповедь». Перед кем? Ради чего? Простите меня, люди добрые, за то, что вы не такие, как я?

Мой роман имеет такое же отношение к исповеди, как закон стоимости — к деньгам, если проводить аналогию в терминах, любезных эпохе.

Нет, сопротивление.

В связи со всем вышесказанным во мне смутно копошится один образ.

Корабль, великолепный лайнер, плывет в открытом океане, в каютах тепло и уютно. Правила общежития понятны и до боли близки. В жизни есть место хорошему и плохому, есть трюмы и палуба, есть все необходимое для разумного развития, порок также любезен, куда же без него.

Но вот сложный механизм двигателя перестает слушаться капитана и его команду — и становится очевидным, что катастрофа — дело ближайшего времени. По инерции все ведут себя по-прежнему, как нормальные разумные люди (все воспитаны в традициях воспринимать будущее как нечто светлое, как априори гарантированное, и главное, ничего не стоящее, будто добро, красота, истина).

Я вижу себя на палубе; крысы уже покинули корабль. Беззаботность мою как рукой сняло, я полон изумительно дурных предчувствий, — но мое настроение и прозрение никому не интересны. Меня не слышат и не хотят слышать. Я ору, и мой хриплый крик легко уносит штормовой ветер.

Передо мной жизнь, которой уже нет. Хоть плачь.

Будет что-то другое, если будет; но прежнего уже не вернуть, корабль не спасти. Он обречен.

Я не могу не сопротивляться, осознавая при этом всю бесполезность и бессмысленность сопротивления. Просто в соответствии с моими принципами приличный человек должен сопротивляться злу.

Жутко прагматичный капитан говорит себе в прокопченную ароматным табаком бороду (негромко): «Значит, будем жить на скалах, если повезет до них дотянуть. А что делать? Жрать будем крабов и друг друга. Все лучше, чем помирать. Не паникуй. Не дрейфь, профессор».

Что-то такое.

Меня бесит, что все ведут себя вроде бы как разумные люди — а катастрофы при этом не только не избежать, но именно «разумное» поведение ее, во-первых, накликало, а во-вторых, вовсю приближает.

Что-то похожее на дурной сон.

Образ неточный, конечно, корявый; он разве что моделирует степень сложного по ментальному составу отчаяния. Здесь и гнев, и ярость, и обида, и жалоба, и иррациональный соблазн все пустить прахом.

Великая литература ушла, перестала создаваться — а этого никто даже не заметил.

Как падения Икара.

Просто перестали читать — и все.

Алло, цивилизация! Себя уважаем?

Поэтому я взял и написал автобиографию, которую понимаю как бессмысленное сопротивление, придающее смысл моей жизни. Это личное.

Но это не подведение итогов моей жизни.

Это, извините, подведение итогов жизни.

Поэтому никто так не заинтересован в том, чтобы я ошибался, как я сам, чтущий истину превыше всего. И по-моему, кстати сказать, истина стоит весьма дорого. Не по карману пигмеям-олигархам.

Я ненавижу маленьких людей.

Я ненавижу мерки маленьких людей.

Я ненавижу их страхи, чаяния, отчаяния и надежды.

Эти людишки чужды мне до смерти.

Единственное, что связывает меня с ними, — так это то, что я один из них. Спастись можно либо всем вместе — либо не уцелеет никто.

Это забавное обстоятельство существенным образом меняет картину, вновь переворачивая все с головы на ноги. Даже если порочную круговую поруку-западню придумал дьявол, я аплодирую божественному началу в человеке: лучшей стимуляции творческим способностям не найти. Выкладываться ради тех, кого презираешь, чтобы спастись самому: это действительно достойно творчества.

Кстати, вот это действительно мое глубоко личное.

Вот почему я сопротивлялся, сопротивляюсь и буду сопротивляться завтрашнему дню — то есть своим честным страхам и пророчествам.

Если мое сопротивление будет востребовано завтра, значит, как выяснится, сегодня я более-менее успешно выполняю свою задачу (хотя сию минуту я многим, порой не исключая себя, кажусь полоумным).

А если нет... Скажите так…

Впрочем, эта безумная история мне совсем не интересна. Я ставлю на разум человека.

Есть точка отсчета (она же линия обороны, она же пядь Земли): человек в принципе может стать существом духовным, и это делает его сильнее и счастливее; следовательно, человек обязан стремиться стать личностью. Даже не во имя истины, просто во имя жизни.

И литература — не последний инструмент в этом интересном деле. В каком-то смысле — первый.

Понимаю: эта культурологическая мантра звучит как-то ужасно традиционно, отдает резковатым, на мой вкус, мужественным ароматом героики — благородной плесенью античности.

Кредо из жестких логических связок отпугивает любителей понежиться в лебяжьем пуху мифов. Жгущий глагол *обязан стремиться*, острая бессюжетность и перегруженный синтаксис (чем перегруженный? чем? смыслом?) — это стилистические средства художественного самоубийства в нашу эпоху перемен к худшему. Недогруженность, тупая сюжетность и табу на императивность — вот ключ к художественному убийству, сиречь — успеху.

Именно так: массовая литература — каннибализм; элитарная литература — практически смерть автора. И его несчастных читателей. Элитарная литература, по сути, выступает в защиту тех, кто с восторгом травится массовой литературой, ничтоже сумняшеся жертвует литературой во имя чтива.

В этой ситуации ставить на литературу? На разум? Предлагать невозможное и при этом считать это единственно возможным выходом?

Это разумно?

Я испытываю неловкость, если хотите; острота противоречий небывалая; но вместе с алмазной чистоты пафосом, самим богом предназначенным для мутных пародий и карикатур, вы лишите меня того экзистенциального пустяка, что традиционно называется смысл жизни.

Собственно, жизни.

Возможно, мое единственное оправдание в том, что у меня нет выбора.

А у вас?

Мне кажется, ни у кого нет выбора, только сие положение вещей никому не объяснить. Никто слышать не хочет о поломке двигателя, этого железного сердца цивилизации.

Что ж, если пафос использовать разумно и умеренно — как специю, а не в качестве основного блюда, — вкус к жизни становится еще более ярко выраженным. Кто скажет, что это плохо?

Ведь вот сопротивляюсь и хочу, чтобы мое сопротивление понравилось тем, кого оно должно сокрушить.

Не смешно.

Хотя нет, все-таки смешно.

Что же получается: повествование «Авто, био, граф и Я» закончено, а жизнь — продолжается?

Роман «Авто, био, граф и Я» стал фактом автобиографии?

Это самое оптимистическое изо всех известных мне противоречий.

P. S. Неужели двенадцатый написанный мною роман доказывает, что я *действительно* художник?

Неужели он доказывает, хочу я сказать, что я самым эгоистическим образом *для звуков жизни не щадил*? Что я писательские амбиции поставил выше душевного спокойствия далеко не чужих мне людей?

Неужели я действительно за что боролся, на то и напоролся?

Вот тут для меня деликатный тупичок. Темное место. Нагадал себе так нагадал.

С одной стороны — нет, конечно, я не хочу обидеть своим романом живых, реально существующих людей. И я не сделаю этого. Я не таков. Со своей жизнью я волен поступать, как мне заблагорассудится; но вот их жизнью, которая стала частью моей жизни, я распоряжаться не волен. Если я так поступлю, то нарушу одну из незыблемых заповедей, на которых уверенно держится мой роман.

Где-то здесь проходит незримая, но явная черта между искусством и жизнью.

С другой стороны — зачем тогда я вдохновенно писал свой свободно дышащий роман? Зачем невольно искусство ставил выше жизни — затем, чтобы впоследствии опомниться и схватиться за голову, публично демонстрируя высоконравственность своей позиции?

О боги! Даже за фантазии свои приходится отвечать как за дела. Если я жизнь ставлю выше звуков лиры, то я не писатель, и с этим ничего не поделаешь; если я звуки ставлю выше жизни, то я плохой писатель. И с этим тоже ничего не поделаешь.

Кстати, может, с целью разъяснить себе это я и писал роман?

Держаться подобного образа мыслей весьма соблазнительно. К тому же похвально.

Как приятно быть хорошим. Лик так и просится в канон.

Здесь уже не стыдно поставить точку.

Виктор ГОРДЕЙ

И дождусь я белых журавлей…

Листок

Упал на траву, на песок,
Канул в Лету.
Ужель этот желтый листок
Кружит планету?

Вновь лето сжигает мосты,
Тучи — на дождик.
И жаждет душа чистоты.
Может, возможна?

Идти и идти бы вперед,
С песней хорошей.
И даль, и виски заметет
Белой порошей.

Потом — журавлям прилетать
С теплого юга,
Чтоб жизнь повторять, начинать
С первого круга.

Земля даст и краски, и сок
Травам и веткам…
Ужель этот желтый листок
Кружит планету?

* * *

Молодость по Божьей воле
Плачет птицей в тростниках.
Мне ни лесом и ни полем
Не дойти туда никак.

Я живу порой в сомненьях:
Что же значит грусть твоя?

Слышу, вижу в отдаленье
Очень юную — тебя.

Километром, может, сотым
Я спешу на голос твой.
Только гати и болота
Скрыли счастье пеленой.

Как мне быть с мечтой такою?
Не безумствую ли я?
Только там, за синевою,
Плачет молодость моя.

* * *

Осени ложится лист печальный,
Все короче и короче дни.
Словно птицы, в край стремятся дальний
Годы невозвратные мои.

Детства дни мелькнули, словно чайки,
Меньше стало в жизни суеты.
Шумных говорливых галок стайкой
Прочь умчались юности мечты.

Соловьи — свидетели свиданий,
Беззаботности былой дрозды,
Совы — очевидцы страсти тайной —
В синеве растаяли, как дым.

Им на смену из краев морозных
Прилетели новые жильцы:
Лебеди забот и дел серьезных,
Опыта посланники — скворцы.

Лист опал, и снег его припудрит.
Станет и прозрачней, и светлей.
И дождусь я птиц однажды мудрых,
И дождусь я белых журавлей.

* * *

Что ж, давай поговорим сердечно
Иль поплачем до рассветных зорь.
Закричали журавли над речкой,
Эхом отозвался темный бор.

Двое нас сегодня, нелюдимых.
Тишину разбудим долгих лет.
На сосне высокой в небе дымном
Серп луны повис, как амулет.

Это вздох мой, горький и печальный,
Или вскрик прощальный журавлей?
В этом нету абсолютной тайны:
В лес привел тебя я, как злодей.

И теперь в лесу пред целым светом
Я сижу, а рядом ходишь ты.
Не спасемся лунным амулетом
Мы от дней бегущих череды.

Будет разговор тяжелым, знаю.
Но откликнись только, что ж ты сник?..
Где-то рядом молча он блуждает.
Кто он — тень моя, судьба, двойник?

* * *

За окном закружилась поземка,
Стылый ветер — от ранней зари.
В косы вишен вплетают тесемки,
Словно алый рассвет, снегири.

Возле вишен, что в бархате снежном,
Мне отчетливей видится свет —
Новых дум и забот неизбежность
И ушедшей любви первоцвет.

Сколько раз здесь заплачут сугробы
И замедлит Ночанка свой бег!
А в лесах — ни обиды, ни злобы,
Только чистый, нетронутый снег.

Добрый день, снеговая поземка!
Добрый день, отраженье зари, —
Это в ветви вплетают тесемки,
Словно алый рассвет, снегири.

* * *

Все ушли. Никого не осталось.
Только тени в холодном окне.
Небо высветлил месяц усталый
И совсем равнодушный ко мне.

Мне совсем не из прихоти надо
Рассмотреть тьму ночную вокруг.
Может, ходит он где-нибудь рядом,
Мой надежный и преданный друг?

В мире, смысла утратившем стержень,
Где оружья шального не счесть,
Как нужна человеку поддержка
И рука на поникшем плече.

Без надежды вся жизнь станет серой,
Не согреться душе у огня.
Слышу, кто-то стучит в мои двери.
Может, вспомнил мой друг про меня?

Пейзаж с аистятами

Дни ушли привычной чередою,
И как будто горе все ушло.
На прудах за пеленой густою
Аистята стали на крыло.

И уже взлетают в поднебесье,
И летят мои тревоги вслед.
На зеленом полушарье тесном
Сколько было слез и сколько бед!

Может, и не так ушло далеко
Это горе, что меня прожгло…
На болотцах — невеселый клекот.
И в оврагах — дымка, как стекло.

У деревьев, потерявших силы,
Догорают дымные костры,
И на свежевзрыхленных могилах
Отекают цезием кресты.

Кто мне слово утешенья скажет?
Гром грохочет. Ярок молний свет.
И глядишь — в истерзанном пейзаже
Аистят уже растаял след.

Перевод с белорусского Елизаветы ПОЛЕЕС.

Вера ЗЕЛЕНКО

Два рассказа

Завтра я иду на свидание

Я ехала в автобусе по маршруту № 91, когда позвонил Артем. Я долго искала телефон в дебрях своей сумки, наконец нашла. Оказалось, он хотел похвастаться: закончил-таки двухгодичные курсы английского языка, на удивление с приличными отметками. Я не стала его разочаровывать: в современных реалиях грош цена тем пятеркам, будут и десятки ставить, лишь бы только платили. В общем, мне не хотелось слишком уж на него давить, для него и это была победа, да и формат телефонного разговора в переполненном автобусе не предполагал глубокого развития темы.

Когда я захлопнула телефон, обнаружила, что пассажир рядом уже другой, теперь их было даже двое: вместо девушки с невероятно длинными волосами сиреневого цвета — малыш лет шести и его мама с наметившимся животиком. Я сделала попытку встать, но молодая мама, пристроившаяся было с краю, сама уже поднялась — все-таки, видно, не очень удобно было сидеть им вдвоем. Уверенным жестом она остановила меня и сразу же уткнулась в печатные листы, тем самым дав понять, что не нуждается в моей опеке. Сидит ее ребенок, и ладно, и за то спасибо.

А малыш уже что-то рассказывал мне, так и не дав разыграться угрызениям моей чрезмерно чувствительной совести. Я взглянула на него: черты его лица были выточены и пригнаны явно с большой любовью. Чего он, собственно, добивается, этот — сразу видно — чрезвычайно разговорчивый малыш? Вот не хотелось мне ни с кем вступать в какие бы то ни было дебаты.

— А я погадал, люблю ли я папу, — сказал он доверчиво, но без тени заискивания.

В руках он крутил оборванную ромашку, то есть ее бархатистую желтенькую сердцевину. Мама мальчонки невозмутимо стояла рядом, уткнувшись все в те же плотно заполненные текстом листы. Я даже не сразу поняла, о чем говорит малыш. Ах да, ромашка… То есть, в папиной любви он не сомневался, а вот в своей, похоже, не слишком был уверен. Так, что ли? Или попросту перепутал слова? У маленьких такое порой случается.

— Папа мне скоро подарит бот. На день рождения. — Малыш явно рассказывал все это мне. Он жаждал поделиться с кем-нибудь своей радостью.

Не хотелось мне ввязываться в беседу — я чувствовала: сейчас невольно выйду «на сцену» вместе с этим словоохотливым мальчуганом, а потом будет поздно что-либо менять, — но он так доверчиво втолковывал мне о чем-то своем и очень важном, я не посмела его разочаровать.

— А что это — бот? — без интонации спросила я. Может быть, на этом наш разговор благополучно закончится? Если он почувствует с моей стороны

отсутствие всякого интереса? В любом случае, никто не посмеет мне сказать, что я не старалась быть вежливой. — Это такая лодка или самолет? — немного погодя зачем-то уточнила я. Вопреки намерениям.

— Ну как вы не понимаете? — он был воспитанный, говорил взрослым «вы», речь его была достаточно грамотной и изобиловала точными определениями.— Это такой трансформер, из него можно сделать и самолет, и человека, и бронемашину.

— А-а-а! — растерялась я.

Каюсь, я успела уже позабыть, каким острым и въедливым бывает детский ум, каким инженерным бывает мальчишеское мышление.

— А еще папа мне подарит планшет, мобильный телефон… — далее следовал внушительный список новомодных игрушек, в наше универсальное время одинаково годный как для детей, так и для взрослых. Малыш, очевидно, знал в них толк. — Он мне подарит много чего еще. Он мне подарит все, что я захочу.

— Счастливый! — вздохнула я. — У тебя есть желания!

— У меня их целый рюкзак! Желаний! — и он обрисовал тонкой рукой огромный круг в воздухе. — Когда у меня будут деньги, я куплю… — он на секунду задумался, — вообще-то у меня уже есть деньги, очень много денег.

Молодой мужчина, стоявший рядом, у окна, улыбался все шире, так что я на какое-то мгновение задумалась, уж не тот ли это счастливый папа, о котором малыш гадал на ромашке.

Тем временем сзади освободились два места. Мама малыша заняла одно из них и пригласила сына сесть рядом.

— Нет, я останусь здесь! — сказал он решительно.

— Я так и знала! — с тоской в голосе произнесла мать.

Я испытала смешливое изумление, передо мной, по всей видимости, разыгрывалась привычная для семьи драма.

— А я завтра иду на свидание! — вдруг выпалил малыш. В голосе его было слышно едва сдерживаемое ликование.

В этот миг я окончательно осознала, что уже безнадежно втянута в игру, затеянную малышом. Сопротивляться было бессмысленно. Собственно, я уже и не сопротивлялась. Я его уже почти любила, моего случайного попутчика на маршруте № 91.

Мы проехали храм, белеющий на фоне изумрудной, ярусами спускающейся к дороге лужайки, миновали мост через Свислочь с ее изломанными, живописными берегами; с левой стороны осталось почти игрушечное Троицкое предместье, справа — монументальное здание Оперного театра, украшенное несколько простоватыми фигурами Муз. В лучах заходящего солнца город казался пленительным.

— И с кем ты собираешься на свидание? — я все еще раздумывала, стоит ли так остро ставить вопрос, ведь ответ предполагает гендерное распределение ролей. Готов ли к этому малыш? В Европе, пожалуй, меня привлекли бы к ответственности.

— Как с кем?! С Ксюшей, конечно!

— А какая она, Ксюша? — Надо признаться, малыш все больше заинтриговывал меня. Я немного провоцировала его.

— Она хорошая.

— Блондинка?

Я почему-то вспомнила вдруг, как Артем, мой младший сын, который сегодня успешно окончил английские курсы или, по крайней мере, считал, что успешно окончил, когда-то давным-давно посещал логопедическую группу детского сада и, не имея в словарном запасе и трех слов, не пропускал

мимо ни одной блондинки. Влюбившись в логопедицу, миловидную и приветливую особу, похожую на Мэрилин Монро, он посещал все ее индивидуальные занятия и с другими логопедиками тоже, а логопедиками в нашей группе были исключительно мальчики. Что уже говорить о своих личных занятиях?! В общем, он сидел, и млел, и запоминал все то, что пропустил из-за врожденной лени в первые четыре года своей жизни. Предыдущую логопедицу Жаньегу, то есть Жанну Евгеньевну, он затерроризировал до предела, она звонила мне по вечерам и злобным голосом требовала денег — компенсацию за то, что трехлетний, не жаждущий общения с нею, пацан не давал ей жизни. «Он мне мешает проводить занятия! — кричала она истерично в трубку. — Заберите его от меня!» И вот год спустя чуть ли не первые слова Артема, конечно, восторженные, были об очаровательной молоденькой логопедице: «Мама, она — белая!!!»

Теперь я почему-то ждала от своего маленького попутчика восторженных слов о белокурой, и не иначе, Ксюше.

— Какие у нее волосы? — снова спросила я.

— Черные, — спокойно констатировал он. Я только начала продумывать свой следующий вопрос, как он выпалил неожиданно: — А еще я иду на свидание с Катей и с другой маленькой Ксюшей. Сначала мы позавтракаем, потом пойдем в парк. На свидание.

— Стало быть, сразу со всеми? — зачем-то уточнила я. — А сколько же тебе лет?

— Шесть с половиной. Летом я женюсь.

— Может, подожди чуток. Все-таки тебе еще только шесть, и у тебя еще все впереди.

— Я женюсь! — упрямо повторил он.

— И на которой из них? — раз уже пошел такой разговор, решила выяснить все до конца я.

— Не знаю, я еще не выбрал. Одна Ксюша еще маленькая. А другой уже шесть с половиной. Как и мне.

— Ты считаешь, она тебе больше подходит?

— Ну да! Она такая же взрослая, как я. А еще у нас есть толстенькая Настя. Раньше я ее не любил, обзывал бананом. А теперь я ее тоже люблю.

— Не переживай! Выберешь когда-нибудь. Все-таки рановато тебе жениться. У тебя еще все впереди.

И я замолчала. Он растрогал меня. Я подзабыла, какими забавными бывают мальчишки в этом нежном возрасте. Шесть лет, и такая глубина осмысления мира, такая жажда жизни, такой захват реальности: не упустить ничего, пережить всю палитру человеческих чувств и остаться при этом счастливым. Я поняла: мир принадлежит детям, он им внове, волнует их бесконечно, заставляет радостно биться сердца. Мы же несемся по колее, а в голове одно: накормить, напоить, обуть, одеть. Сунуть в руки книжку: идите, учитесь сами, если, конечно, сможете одолеть непростую науку сопереживания. А нет, так вот вам компьютер, и забудьте, что родители вам еще что-то должны. А у них в голове всякую секунду наводятся мосты с реальными и мнимыми персонажами, строятся планы по завоеванию мира. Им еще предстоит найти и обустроить свое место под солнцем, в обмен на спокойную сытую жизнь — отказаться от дара снова и снова переживать восторг.

— Я летом немного вырасту. А потом осенью еще немного вырасту. А давно будет еще одна осень, и я вырасту снова. Я буду большой. Только не знаю, как я, когда буду взрослым дядей, не упаду и не сломаюсь.

— Уймись! — сказала мама малыша у нас за спиной. Она, наконец, оторвалась от своих печатных листов. Однако крепкие у нее нервы. Впрочем, слова ее не возымели никакого действия. В подобных случаях, когда мои мальчишки рвались на сцену жизни, я всегда теряла самообладание. Я стаскивала их с подмостков, раздавала оплеухи, отвлекала любым способом. Я человек по природе застенчивый и считала, что такими обязаны быть мои дети.

— Он у вас славный, — я обернулась. — Не ругайте его!

— Можно, я тебя поглажу?! — я вернулась взглядом к малышу, прошлась рукой по короткой его стрижке. Я чувствовала огромную нежность к этому мальчонке. Касаясь его ершистой головы, я приманивала воспоминания, я плавилась в истоме призрачного счастья, будто снова видела маленькими своих давно повзрослевших мальчишек. Захотелось даже обнять его, потереться щекой о щеку, но я сдержала себя.

Мужчина, стоявший рядом, у окна, которого я на секунду приняла за отца мальчугана, так и вышел из автобуса с улыбкой на губах. Я огляделась. Большинство пассажиров пребывало в замечательном настроении, мне показалось, мир вокруг стал на минуту добрее и солнечней.

— Как мне не сломаться, не знаю, — повторил малыш.

— Не переживай, — стала утешать я его. — Другие же не ломаются. Ты будешь смотреть на других и делать так, как делают они. И ни за что не сломаешься!

— Завтра я иду на свидание! — опять сказал он. Очевидно, это событие столь сильно волновало его, что он готов был снова и снова говорить об этом. — Я иду на свидание и с Ксюшей, и с Катей. И еще с другой маленькой Ксюшей.

— Какой же ты любвеобильный, однако! — заметила я.— Счастливый все-таки ты. Все у тебя есть. И желания, и возможности, и подружки любимые.

— Да, я счастливый! Только мама меня иногда ругает. То лампу разобью, то телефон своего друга случайно уроню с третьего этажа. И теперь мне родители не купят новый, а старый мой совсем отобрали.

— Телефон что, с лестницы скатился? — не поняла я. Вот жаль мне всегда напрасно испорченных или, хуже того, потерянных вещей. Мальчишки мои ломали и теряли машинки десятками, крушили мебель, люстры разбивали вдребезги. Я долго училась обходиться без рыданий над рассыпавшимися в труху мещанскими ценностями.

— Нет, не скатился. Он случайно выпал из окна, с третьего этажа.

— Жаль, конечно, — посочувствовала я.

— Я завтра иду на свидание, — снова заладил он. Это событие занозой сидело у него в голове. — Я не знаю, кого выбрать.

В общем, к концу третьего захода обсуждения данного вопроса так ничего и не прояснилось.

— У тебя все еще впереди! — снова взялась утешать его я.

— Вы это уже говорили! — без тени улыбки укорил он меня.

Ну вот! Значит, ему можно в третий раз напоминать мне о предстоящем свидании со своими многочисленными подружками, а мне поучать его — нет. Такие они, наши дети! Все подмечают, формальных утешений и дежурных фраз принимать не хотят.

— Но это правильные слова! — упорствовала я. — Запомни их! И не торопись жить! Забавный ты все-таки…

— Мне это часто говорят, — резко ответил он.

Что бы я ни сказала, все звучало банально, малыш все отвергал, он жил и мыслил в другом частотном интервале. Банальность истины не завораживала его.

— Как тебя звать? — запоздало поинтересовалась я. Знаю ведь, что с детьми именно с этого вопроса положено начинать, однако множество других проблем сразу потребовали срочного разрешения. Между тем мне предстояло скоро выходить. Я не могла покинуть автобус, не узнав его имени.

— Алесь, — со вздохом сказал он и потупил взор.

— Какое красивое белорусское имя! — заметила я.

— Мне это часто говорят, — без интонации произнес он, все так же не глядя на меня.

— А тебе нравится?

— Очень! — неожиданно радостно воскликнул он. Настроение его менялось ежесекундно.

Мы подъезжали к станции метро «Московская».

— Смотрите, из этой ромашки можно сделать колечко и подарить его кому-нибудь!

Общипанная ромашка в его руках выглядела беззащитно и трогательно.

— Ромашка не самый удачный материал для украшений. Вот если бы золото или серебро, — я снова скатилась к банальности. — Мне пора выходить, малыш, — с сожалением произнесла я и поняла: мне нравилось называть его малышом.

— Мы тоже скоро с мамой выходим.

Я почувствовала, как мальчишечка искренне, так же, как и я, сожалеет о том, что пришло время расставаться. Я успела полюбить его всем сердцем. И он, очевидно, тоже успел привязаться ко мне. Вот так всегда: только найдешь себе друга, а уже время прощаться…

— Я желаю тебе успехов! — горячо сказала я, пытаясь взглядом еще раз обласкать его.

— И я вам тоже желаю много-много успехов! — уже вдогонку почти прокричал он мне.

Я вышла из автобуса. У меня было ощущение, что я только что снялась в каком-то славном, добром кино. И будто главный, совсем юный герой прозвучавшей истории назвал меня своим другом. Всевышний вдруг ни с того ни с сего надумал мне сделать чудный подарок. Он даровал мне кусочек обыкновенного, немного забытого, но очень пронзительного человеческого счастья.

«Реактор»

Мне на руку поставили едва заметный штамп, что-то вроде китайского иероглифа, он должен был светиться в инфракрасном, а может быть, и в ультрафиолетовом диапазоне. Это на тот случай, если мне вдруг захочется выйти подышать свежим воздухом. А потом снова вернуться в зрительный зал. Я понимала, что выгляжу несколько странно в этом довольно-таки злачном месте, — далеко не юная особа, этакая рисковая искательница сомнительных приключений.

Я разделась в гардеробе, но сразу же пожалела об этом — в помещении было прохладно. И все же назад я свое черное полупальто брать не стала. Будь что будет. Замерзну, так сразу и сбегу. Гардероб произвел тягостное впечатление. Облупившаяся краска какого-то казенного оттенка, ободранное зеркало — все будто в стадии так и не осмеливающегося начаться ремонта. Хотя, черт с ним, с гардеробом. Не за этим я, в конце концов, сюда пришла.

Я огляделась: лица были обычные. Ничего крамольного. Обладатели таких лиц по утрам на лекции делают вид, что слушают препода, на самом же

деле, по-детски трогательно подперев эти самые лица руками, досматривают последние сладкие сны. Мелькнуло в толпе вообще замечательное лицо — одухотворенное, можно сказать, даже глубоко интеллигентное лицо. Право, не ожидала ничего подобного в этих стенах.

Я устремилась за основным потоком посетителей, ибо не представляла, в каком направлении двигаться, и вскоре обнаружила себя в достаточно свободном пространстве, с одной стороны ограниченном грубо сколоченной сценой, даже не сценой, а скорее подмостками, с другой — барной стойкой, в компании унылого ряда одинаковых, скучных столиков, обрамленных такими же скучными стульями. Словом, ничего примечательного. Между сценой и стойкой простирался огромный танцпол овальной формы, где под натужные звуки музыки лениво извивались первые редкие ласточки с коктейлями в руках. Сверху, над барной стойкой, почти от одного края сцены к другому шел узкий балкон, с которого, очевидно, наблюдать за происходящим было особенно забавно.

Сцена выглядела мрачновато: черный фон, нагромождение металлических конструкций.

Я, наконец, заняла свое место — слева от барной стойки, если смотреть из зала. Я же смотрела в зал и на сцену, боясь упустить малейшую деталь.

Пели какие-то ребятки из подворотни. Собственно, пением это назвать было трудно. Это был некий звериный рык, истошный и мучительный, под такие же мучительные, затяжные гитарные переборы. По каким-то причинам все это называлось металлом. А может быть, панк-роком. Или хардкоромтехно. Много названий у данного направления. Теперь я догадывалась, как зазвучал бы ад для Вивальди. Мне показалось, музыканты только вчера взяли впервые гитару в руки, а вокалист вообще был незнаком с нотной азбукой. Выбиваемый ритм звучал агрессивно, рифы были явно облегчены, музыкальный сигнал — искажен жестким ограничением по амплитуде. Душа моя то и дело болезненно вздрагивала. Ну и ладно. Главное — не оглохнуть.

Они пели полчаса, не меньше. Я знала, что мне надо просто их перетерпеть.

Следующий солист был столь же плох, как и первый. Местами пение напоминало вой ураганного ветра, местами — вопль раненого зверя, надсадный крик марала, лишенного всякой надежды на встречу с единственной в мире самкой. Однако всякий раз, когда в конце утробной, удушающей фразы звучала некая, естественно завершающая животную мысль, музыкальная точка, зал впадал в неистовство. Танцующих прибывало.

Я человек достаточно далекий от музыкального мира. Но восемь, или девять, или даже десять лет музыкальной школы, день за днем прожитые вместе с моими сыновьями, сделали свое дело. Я всегда отличу хорошую музыку от плохой и очень хорошую от просто хорошей. И всегда про себя отмечу, стоит ли человеку заниматься музыкой вообще или лучше податься в менеджеры…

Самое забавное заключалось в том, что, закончив музыкальную школу, мой старший сын скрипку забросил, а мне так и не простил восьми, или девяти, или десяти — это с учетом подготовительного класса и перехода в более серьезную школу — лет испытания музыкой. Иногда мне кажется, что и характер его стал раздражительным и капризным благодаря все той же скрипке. Он порывался столько раз ее бросить, сломать, где-нибудь забыть, а то и вовсе выкинуть из своей жизни, что я и счет потеряла, и только моя железная воля заставила его пройти весь тернистый путь до конца. Он возненавидел скрипку, а заодно и меня, и отца в придачу — за то, что тот не освободил его из моих цепких объятий. Он превратился в скрытного, нервного и привычно

отдельного, словно астероид в небе, подростка. Грубое и ломкое все больше брало в нем верх. Так сложилось: он не думал меня прощать, а я не нуждалась в его прощении. Впрочем, можно сказать иначе: я не потакала ему в его скорби по загубленному детству, он не нуждался в моем так и не состоявшемся раскаянии. А потом и вовсе мне дали понять: никто и никогда мне больше не позволит вторгаться в чужое пространство. Я просто обязана это вбить, вбуравить в свое сознание.

И только в моменты своих знаковых выступлений — а их было совсем немало: и в Красном костеле, и в костеле Святого Роха, и в Большом зале филармонии — мой сын не только забывал о своей ненависти ко мне, к скрипке, к музыке, но и поднимался в своем забвении до немыслимых высот, когда невозможно было различить, то ли скрипка плачет, и смеется, и поет, то ли душа сына парит над залом вместе с божественными звуками, льющимися откуда-то из сердца Вселенной. Ему кричали «браво», и тогда казалось, что он весь мир готов обнять — в благодарность за разделенный с ним восторг перед красотой настоящей музыки. И это состояние длилось еще несколько часов, захлестнутое дыхание медленно восстанавливалось, он незаметно приходил в себя — чтобы потом снова продолжить излучать ненависть.

Мы привезли его однажды в школу на дополнительный урок, чтобы потом всем вместе дружно отправиться на дачу. Была суббота, через две недели предстоял выпускной экзамен. Я стояла за дверью и слушала, когда же он, наконец, начнет играть. Он так и не приступил к уроку. Эвелинка терпеливо ждала, когда иссякнет поток слез и жалоб в адрес черствых, не способных понять тонкое устройство его чувствительной души, бессердечных родителей. Она что-то внушала ему своим тихим, очень интеллигентным, я бы даже сказала, аристократическим голосом, который я очень любила. Я вообще обожала нашу Эвелину Сергеевну, она была человеком редкой внутренней культуры… Сын не слушал ее, он твердил, словно сомнамбула, одну и ту же короткую фразу: «Они не понимают меня!» Он был глух к доводам рассудка.

И когда настал момент выбора, он сказал: все что угодно, но только не скрипка. И выбрал архитектурный колледж — благо и в этом задатки имел приличные, вовремя подкрепленные занятиями в изостудии параллельно с занятиями музыкой.

Я снова огляделась, наметанным глазом зафиксировала: за барной стойкой стоял вполне вменяемый парень. Ничего зловещего я в нем не углядела. Для такого сомнительного места вполне милое, даже дружелюбное лицо. Я заказала себе коктейль, чтобы хоть чем-то себя занять и не выглядеть совсем уж белой вороной.

Парочка за соседним столиком выясняла отношения.

— Ты чего поскакала, словно коза, курить с этой сволочью? — голос срывался на фальцет.

Я скосила глаза на сердитого парнишку. Он показался мне совсем зеленым, пожалуй, и усы еще не растут. Подруга выглядела значительно старше. Таких полно отирается на проспекте, от Макдональдса и до станции метро «Октябрьская». Глаза ее были грубо обведены карандашом, губы горели фиолетовым.

— Дэн, не дури! Это старый мой друг. Вместе в школе учились.

— Ну да, конечно. Вчера в «Абрикосе» встретили чела, с которым ты в детский сад ходила, позавчера чувак ремонт твоей маме делал. Завтра будет личный врач-стоматолог. Так скоро в городе не останется ни одного не знакомого нам чела.

Подруга звонко рассмеялась.

— Слушай, это просто невыносимо. Нельзя же быть таким ревнивым. Может, тебе лучше с Женькой начать тусоваться? Могу познакомить. Даю голову на отсечение, она еще ни с кем не целовалась. Только если и тебе не захочется, я тут ни при чем. Выбирай!

Ну и нравы, однако. Мне стало немного не по себе.

А дальше на сцену вышел мальчишка — полная противоположность тем двоим, что оглушили меня с первой ноты. Он был такой — как бы это точнее выразиться — легкий, такой гибкий, в белой рубашечке и черной жилетке, с узким кожаным черным галстуком. И в очках — в черной роговой оправе. Они ему очень шли.

Прежде чем начать петь, он перекинулся фразой с гитаристом, что-то смешное сказал барабанщику, весело поприветствовал публику в зале, что было воспринято с явной благосклонностью. Его здесь ждали, ему были рады. Такой раскрепощенностью вдруг повеяло от его фигуры, такой открытостью и уверенностью в себе и в том, что все будет принято и понято правильно, что я диву далась: надо же, как бывает! Танцующих все прибывало. Кое-кто держал мобильник наготове — они знали, зачем сюда пришли.

Мальчишка запел, и я сразу же почувствовала, поняла с первой ноты: перед публикой выступал настоящий музыкант. Он пел на английском, но это было не важно. Я слышала шум ветра, и рев океана, и гул тайги, и дикий рык зверя, но это было так здорово, так музыкально точно, в таком приличном частотном диапазоне, что захотелось встать, пройти в зал и рассмотреть мальчишку лучше. Он встряхнул головой, очки стали медленно падать, он вовремя их подхватил, улыбнулся чуть иронично над своей собственной неуклюжестью, сунул их в нагрудный карман жилетки. Немного погодя воткнул микрофон в гнездо на стойке, жестом показал, что дает музыкантам возможность проявить себя, и ловко спрыгнул в зал. Его тотчас окружили зрители. С улыбкой, полной осознания своей неоспоримой значимости в этих стенах и в этот момент, он выслушивал одних, обнимал по-дружески других, что-то втолковывал третьим.

Кто-то сверху, с балкона, бросал бумажные самолетики. Они долго кружили над танцующими, а потом медленно падали им под ноги.

В толпе зрителей я неожиданно узнала парнишку-соседа, он жил под нами, но только двумя этажами ниже. Он чувствовал себя здесь как рыба в воде. Носился по залу, что-то выкрикивал, по-дружески ко всем приставал и ждал, чтобы кто-то начал приставать к нему. Ему было вольготно в этих странных декорациях. Надо же!

Музыканты играли прилично. Гитарист вообще показался мне симпатягой. Кажется, я сидела за одним столиком с его молодой женой. Он подходил к ней в начале концерта. Я отметила в нем благородство черт и трогательное отношение к женщине. Такое сразу бросается в глаза. На безымянных пальчиках пары сверкали новые обручальные кольца.

Мальчишка, вдоволь пообщавшийся с приятелями в зале, вернулся на сцену. Новая песня зазвучала так, что я на минуту забыла, где нахожусь и зачем. В клубе «Реактор», на концерте рок-музыки, — напомнила себе на всякий случай.

Мальчишка пел, и в тонких переливах голоса я чувствовала его тоску и боль, любовь и страсть, мечту и веру — все то, что наполняет человеческую жизнь неповторимым содержанием и делает ее счастливой. Я видела тот сложный путь, который ему предстоял и который, я знала, пройти сможет только он.

На сцене пел мой сын.

Изяслав КОТЛЯРОВ

Словесный путь

Венок сонетов

1

Тональностью изменчивая суть
уже не может сутью оставаться, —
не проявляясь, хочет проявляться…
И пусть не проявляется, и пусть.

Ее уже не пробую вернуть,
но стыдно в этом все-таки признаться,
что сам же и учу ее скрываться
во всем, что даже криком не шепнуть.

Да, нету бескорыстной похвалы,
а ей все так же милости милы, —
и прячет их в несказанной надежде.

В звучании скрывается сама
от совести, от страха, от ума,
хотя слова и впрямь еще все те же.

2

Хотя слова и впрямь еще все те же,
но вот уже иное говорят.
Я не пойму: творятся иль творят,
но сделались дырявее и реже.

Таким нельзя предшествовать предтече, —
они и укоряя не корят,
благодареньем не благодарят,
а возражать им незачем и нечем.

Хоть жил по целям, а не по годам, —
я знал, что и возьму лишь то, что дам,
что воздается слава лишь умершим.

Вновь, как паломник, пред собой стою,
их голоса в себе я узнаю,
но сказанного ими стало меньше.

3

Но сказанного ими стало меньше, —
вдруг тьмою стерлось, ветром унеслось,
в словах заглохло, так и не прочлось, —
и кажется беспамятней и мельче.

А ведь умели душу прятать в сердце,
коль здесь им невозможно было врозь, —
с душою сердце вроде бы срослось,
да, в каждом тайнознания владельце.

Я помню, что возопиют и камни,
но вновь об этом говорит Лука мне:
«Забудь свои пророчества, забудь, —

они уже не раз успели сбыться…»
Хочу душе душою помолиться…
И вдохом невозможно не вздохнуть.

4

И вдохом невозможно не вздохнуть,
хотя о чем вздыхается — не знаю.
Я только, задыхаясь, вспоминаю, —
сам начинаю в памяти тонуть.

Но жалко что-то нежное вспугнуть.
Его я и в беспамятстве скрываю,
вот в этот час, вот в этот миг вживаю, —
видения со взгляда не смигнуть.

Небесное во мне предощущенье, —
не вдох, не вздох уже, а вдохновенье.
На многое хотел бы посягнуть.

То, с колыбельной песенки, начало
меня еще ничем не промолчало…
Себе словесный выбираю путь.

5

Себе словесный выбираю путь.
А может, это он лишь выбирает

меня, который знать того не знает,
но если и поймет когда-нибудь, —

захочет дальше истины взглянуть
и по-земному небо прочитает,
которое в словах его мерцает,
предощущая жизни абсолют.

Вновь о себе, как будто о другом,
я говорю и явно, и тайком…
Вдруг вместо «если» выдыхаю «еже», —

в нем и «пока», и то, что «до сих пор»…
Столетьями продолжу разговор, —
и вместо «потому» скажу «понеже».

6

И вместо «потому» скажу «понеже»,
ведь наше время — изо всех времен…
В словах я слышу колокольный звон.
Вот в гуле эха: «временно», «донеже», —

звучания сзываются на вече, —
я тоже каждым звуком наречен,
хоть кажется, что вовсе ни при чем,
но мне ничуть от этого не легче.

Я прячу удивление иль страх.
И что с того, что Никон — патриарх?!
Он в троеперстном, греческом сюжете.

«Коль против солнца водишь, пряча лик,
то не блуди нас нонче, еретик…» —
так Аввакум, бывало, скажет прежде.

7

Так Аввакум, бывало, скажет прежде:
«Молю ти ся и помощи прося —
управи ум, чтоб истина мне вся
не оставалась таинством в секрете…»

Иль это выговаривает ветер?
«Хоцу глаголати… Да будет суть сия,
спасет ее собою харатья,
живущая сама в любом завете…»

Он знал, что после всех земных изгнаний
сожжен отец духовный Епифаний,
и Лазарь испытал такую жуть…

Представил, что таким же остается
движение процессий против солнца, —
вселенским гневом забирая грусть.

8

Вселенским гневом забирая грусть,
нагой, в осыпанной землей темнице,
завидуя любой летящей птице,
учил себя неистовости чувств.

Господь непостижим для пересуд, —
что плохо году — хорошо седмице.
Теперь и в яме, будто бы в светлице, —
перо в руке ему как будто кнут.

Клочки бумаг морщинятся от букв, —
в них долго слышен сердца перестук,
пока не восстановится слиянье…

Пожизнен или обезжизнен срок?
Он все еще подвижник и пророк…
Прочту «простого грешника» признанье.

9

Прочту «простого грешника» признанье
о том, как был кнутом нещадно бит,
как дождь по боли каплями стучит,
а ночь уже — лишь смерти ожиданье.

Как в лодке плыл в тюремное скитанье,
в студеной башне на соломке спит…
«Прости!» — уже не шепчет, а кричит.
И вот изба дана для оживанья.

Весной простор не сам себе вернул
и на море Байкаловом тонул,
тащил на Химке лямку в глухомани.

По Ингоде проплыл… А там — Тобольск.
И снова — Нерчь, где холод, голод, боль…
Исчезнет в расстоянье — расстоянье.

10

Исчезнет в расстоянье — расстоянье,
а почему — никто и не поймет.
В день века Бог, наверно, разберет
все Аввакуму наше сострраданье.

Поминовенье или поминанье?
Уже и слово слову отдает
себя, коль быть собою устает,
а сказанное прячется в сказанье.

Не сам ли учиню я грехотворство,
коль вижу лишь страдальца благородство,
лица не замечаю — только лик?

Он, и царем обласканный, неласков,
не позабыл своих кандальных лязгов, —
и в голосе не шепот вдруг, а крик.

11

И в голосе не шепот вдруг, а крик:
«Сошелся б, Аввакумушко, ты с нами!..» —
«Сходитесь-ко со мною лучше сами…»
И то молчанье слышится, то рык.

Коль нет Владыки — то полно владык.
Глядят чужими — Никона — глазами,
как вновь стоит, закованный цепями,
которыми бренчать уже привык.

Расстрижно охнул им Соборный Храм —
и прокляли… А он проклявших — сам
в обедню ту мятежную сурово.

«Лишь Божье почитаю… Чист есмь аз!..»
Вновь все, что внятно слышу я сейчас, —
живого просторечия основа.

12

Живого просторечия основа:
«Аз есмь я грешник, блудник, есмь я тать,
смог лицемерцем окаянным стать…
Небесного не ощущаю крова…

Я знаю, что простить нельзя такого…
Молитесе о мне…Час умирать…
Я знаю меньше, чем хотел бы знать,
но мне хватает разума Христова…»

«Имам его!..» Откуда этот гул?
Овраг во тьме качнулся и вздохнул.
Осыпался в нем шорох, как полова.

И можно ли, умея, не уметь,
когда уже так хочется иметь
из «Жития» взыскующего слова?!

13

Из «Жития» взыскующего слова
для приобщенья к истине хочу.
Вновь мысли этой истине учу
во имя Духа все-таки святого.

Нет, не желаю — с голоса чужого,
иначе сам свое осирочу, —
и в помыслах уже не различу,
быть может, даже самого простого.

Что сечиво — топор, или секира,
что лодка — струг, а лира — это лира.
Я в тех словах исчез или возник?

«Зане», «зело», «имати», «ино», «кесарь»,
«ясельничей», «толмач», «тиун» и «лекарь»…
Понеже я люблю природный наш язык.

14

«Понеже я люблю природный наш язык», —
вновь повторяю вслух за Аввакумом,
а то, о чем случайно ли подумал,
я знаю от себя, а не из книг.

И тоже, тоже мыслящий тростник, —
да, человек, чья мысль всегда угрюма,
скрывается от шума или глума
в душе, что и сама себе тайник.

Словам я исповедовался ею.
Теперь уже, как раньше, не умею:
так страшно осторожное вспугнуть…

Неужто все еще не замечает,
что призрачно и явственно мельчает
тональностью изменчивая суть?

15

Тональностью изменчивая суть,
хотя слова и впрямь еще все те же,
но сказанного ими стало меньше, —
и вдохом невозможно не вздохнуть.

Себе словесный выбираю путь
и вместо «потому» скажу «понеже», —
так Аввакум, бывало, скажет прежде,
вселенским гневом забирая грусть.

Прочту «простого грешника» признанье —
исчезнет в расстоянье — расстоянье,
и в голосе не шепот вдруг, а крик, —

живого просторечия основа
из «Жития» взыскующего слова:
«Понеже я люблю природный наш язык…»

Журнал «Памир» в гостях у «Нёмана»

Минск. Национальная библиотека Республики Беларусь

Наши читатели уже привыкли к тому, что время от времени гостями журнала становятся писатели разных стран, регионов или даже отдельные издания. «Нёман» тоже довольно часто бывает в гостях у зарубежных журналов. Так, второй номер старейшего литературно-художественного, общественно-политического журнала Союза писателей Таджикистана «Памир», который через три года отметит свое семидесятилетие, был полностью посвящен современной белорусской литературе. На его страницы перекочевали произведения многих авторов «Нёмана»: Миколы Метлицкого, Анатолия Аврутина, Елизаветы Полеес, Алеся Бадака, Михася Башлакова, Наума Гальперовича, Валерия Гришковца, Василя Зуёнка, Казимира Камейши, Георгия Киселева, Василя Макаревича, Юрия Матюшко, Владимира Мозго, Геннадия Пашкова, Михася Позднякова, Андрея Скоринкина, Александра Осиновского, Александра Атрушкевича, Алеся Жука, Олега Ждана, Екатерины Карпович, Алеся Карлюкевича, Ирины Батаковой, Веры Зеленко. Согласитесь, такой внушительный список способен дать представление если не о всей современной белорусской литературе, то об очень значительной ее составляющей. А знаем ли мы нынешнюю литературу дружественного нам таджикского народа? Увы, совсем мало! Будем надеяться, что благодаря сотрудничеству журналов «Памир» и «Нёман», председателю Союза писателей Таджикистана Низому Косиму, главному редактору «Памира» Джуме Куддусу, писателю и издателю, который столько сделал для укрепления белорусско-таджикских литературных связей, Ато Хамдаму и многим другим нашим друзьям из Таджикистана, белорусы смогут открыть для себя новый удивительный солнечный мир — современную таджикскую литературу.

От редакции.

Низом КОСИМ,
председатель Союза писателей Таджикистана

Точки соприкосновения

Литературные связи являются важной составной частью любой литературы и благотворно сказываются на литературном процессе, содержании художественных произведений, литературных жанрах и личности писателей. Это можно увидеть и на примере литературных связей таджиков и белорусов, народов, имеющих богатую историю и культуру.

Существует много точек соприкосновения, объединяющих наши народы и литературы, важнейшими из которых являются реалистические корни и романтический дух наших литератур, крепкая историческая память, искреннее стремление литераторов и героев их произведений к истине и справедливости.

Основной период возникновения и укрепления наших литературных связей приходится на советское время. Национальные литературы наших народов именно в то время получили мощный импульс развития, обогатились новым содержанием и сутью, стали действительными творцами духовной жизни народа. Лучшие творения Якуба Коласа, Янки Купалы, Петруся Бровки, Максима Танка, Янки Брыля в переводе стали достоянием таджикских читателей, нетленные произведения Садриддина Айни, Абулькасима Лахути, Мирзо Турсун-Заде, СотимаУлугзода, Джалола Икроми зазвучали на белорусском языке. Тем самым навстречу друг другу были раскрыты врата сердец двух народов. Особо хочется отметить, что многие из упомянутых великих писателей были лично знакомы и своей дружбой и взаимной симпатией вдвойне способствовали сближению и сотрудничеству наших народов.

В годы Великой Отечественной войны фашистские орды люто свирепствовали на белорусской земле, от рук злодеев пал каждый третий житель страны. В ратной борьбе за освобождение Беларуси от фашистской чумы героически сражались сыновья многих народов необъятной державы, в том числе прославленные таджикские писатели Хабиб Юсуфи, который, к сожалению, потом погиб в боях за Польшу, Фатех Ниязи, Абдуджаббор Каххори, Мухиддин Фархат. Славный сын таджикского народа Домулло Азизов пал смертью храбрых за эту священную землю и удостоился высокого звания Героя Советского Союза.

К счастью сегодня, когда определенные круги пытаются заново переписать историю и, искажая правду истории, игнорируют самоотверженный вклад представителей других воистину братских народов в Великую Победу, белорусский народ с дальновидностью и благодарностью свято чтит их память. Яркое тому свидетельство — увековечивание памяти Домулло Азизова, чьим именем названы улица и школа, установлен бюст и в честь которого открыт музей, повествующий о подвиге нашего земляка новым поколениям этой земли.

Все это, безусловно, достойно самых ярких страниц литературы. Страниц, занимающих особое место в произведениях всемирно признанного писателя — баталиста Василя Быкова, известных литераторов Андрея Макаенка,

Алексея Дударева и других. Страниц, подобных роману Фатеха Ниязи «Не говори, что лес пустой», в котором отражены мужественная борьба белорусов и таджиков, других народов бывшего Советского Союза, а также стихов, принадлежащих перу поэтов-воинов из Беларуси и Таджикистана и свидетельствующих о высоком чувстве патриотизма и гражданском долге.

Доказательством духовной близости таджиков и белорусов является и то, что они и после принудительного распада союза братских советских народов сохранили чувство дружбы и искренней симпатии друг к другу. Сегодня всесторонние отношения между нашими странами возобновились и все больше расширяются и крепнут, многочисленные соглашения по взаимообмену в гуманитарной сфере создают благоприятные условия для укрепления духовных уз наших народов. Соглашения между Минской и Согдийской областями, городами Минск и Душанбе, Узденским и Яванским районами, общество дружбы, проведение дней культур в наших странах являются звеньями этой золотой нити духовного единения. День белорусской поэзии в Душанбе, выставка книг в обеих странах, публикация трех белорусских авторов на таджикском языке и двух таджикских на белорусском, коллективные сборники, серия материалов в литературных изданиях — вот неполный перечень работ, проделанных в этом направлении.

Вечная тема, объединяющая все прогрессивные литературы мира, это сплочение и единение народов, утверждение дружбы, братства, верности и сердечности между людьми. Мы следуем наставлениям наших великих писателей, что очень ясно и достоверно сформулировал Рыгор Бородулин, переводчик Хайяма на белорусский язык: «Не столь важно, как называешься ты: православный, католик или мусульманин, — ведь Бог един».

Весьма рад, что и я вношу свою посильную лепту в это важное дело. Знаменитая пьеса замечательного драматурга Алексея Дударева «В сумерках» в моем переводе, постановке Народного артиста Таджикистана Мирзоватана Мирова и в блистательном исполнении главных ролей Народными артистами Марям Исаевой, Хабибулло Абдураззоковым, Ато Мухаммаджановым многие годы с триумфом шла на сцене Государственного академического драмтеатра им. Лахути. Рассказы и стихотворения Алеся Бадака и Миколы Метлицкого, благодаря сборникам «Вечерний костер» и «Неувядающий цветок», стали доступны широкому кругу таджикских читателей. Кстати, первая из этих книг, включающая в себя произведения девятнадцати поэтов и тринадцати прозаиков, подробно знакомит таджикского читателя с новинками современной литературы Республики Беларусь.

Творческий взаимообмен наших литературных изданий, бывший доброй традицией и возродившейся спустя много лет, будет помогать духовному сближению двух народов и стран, разделенных, на первый взгляд, большим расстоянием. Эти преисполненные любовью и симпатией страницы сродни белокрылым голубям, которые передают искренний привет литераторов двух навечно братских и дружественных народов друг другу и являются предвестниками нашего творческого братства.

Ато ХАМДАМ

Мохсанам

Маленькая повесть

Я славлю этот мир, пусть будет вечен он!
Пусть сбудутся надежды всех идущих!
Я славлю женщин прелесть, их огонь,
Нас к верности и подвигам зовущий.

Низом КОСИМ

Когда Асхоб вернулся к себе в редакцию, в кабинетах уже никого не было. И то сказать, час поздний, да и погода не располагала к творчеству. Стояла поздняя осень, сыпал мелкий занудливый дождь, сыростью пропитались и дома, и люди. В такую пору тянет забиться под крышу своего дома, в тепло и уют, и предаться размышлениям о превратностях судьбы. Но молодой журналист думал о другом. Он только что побывал в педагогическом университете, где прошла дискуссия об этике отношений между мужчиной и женщиной. Наиболее продвинутые, как теперь выражаются, студенты утверждали, что ныне, в эпоху рыночных отношений, отходят в прошлое такие понятия, как честь, верность, семья, любовь, порядочность… Все это лишь забивает голову и отвлекает от дел. Должно быть проще. Встретились, понравились друг другу, переспали и разбежались каждый по своим углам. Возможны дети? Ну, это не аргумент. Сейчас столько средств, чтобы избежать беременности…

Асхоб снял мокрый плащ, сел за свой стол и опустил голову на сложенные руки. Ему предстояло написать корреспонденцию о состоявшейся дискуссии, а он сам не пришел еще к определенному выводу: нужна ли в современном мире любовь и как жить, если в ней отпала надобность?

С одной стороны в рассуждениях студентов была определенная правота, а с другой — что же делать тогда, скажем, с поэзией Рудаки, с творениями того же Шекспира, где все построено на возвышенных чувствах?

Молодого журналиста привел в себя резкий телефонный звонок. Асхоб даже вскинулся на месте, помотал головой, чтобы прийти в себя, и поднял трубку.

— Слушаю, — произнес он нехотя.

— Салом, ака, — послышалось в трубке. — Как жизнь?

— Какая жизнь может быть в такую погоду?

Асхоб узнал голос собеседника. Это был его давний приятель Нормурод, легкий на подъем и веселый парень, порхавший по жизни, как мотылек, не обремененный ни обязанностями, ни постоянными занятиями. Одним словом, бизнесмен.

— Настроение ничего? — продолжал допытываться Нормурод.

— Сойдет, — неопределенно отозвался Асхоб, ожидая продолжения разговора.

— Ну, ты не забыл?

— О чем?

— Во дает. Мы же с тобой договорились.

— Прости, брат, совсем вылетело из головы.

— С тобой дело иметь, через день разоришься. Ладно, хорош. Ты готов?

Асхоб задумчиво почесал затылок и напряг память. Ничего определенного в ней не всплывало.

— Алло, ты слышишь меня?

— Да, да, конечно.

И тут журналиста осенило. Они собирались куда-то пойти.

— Нормурод, а это обязательно? Устал я, как пес.

— Э, ако, без ножа режешь. Надо быть хозяином своего слова.

— Может, отложим?

— Нельзя, подведешь меня сильно.

— Как это?

— Я тебя так расхваливал, чуть ли не как мыслителя вселенского масштаба. Такой интерес разжег, если не появишься, мне больше веры не будет.

— Ну, коли так, — протянул Асхоб задумчиво. — Ладно, рискнем.

— Это другое дело, — в голосе Нормурода послышалось оживление.

— Только я забыл, что это за мероприятие?

— По формуле: два на два.

Асхоб озадачился.

— Это еще что такое?

— Хорош прикидываться. Говорю же: два на два. Мы с тобой и две телки.

«Вон оно что», — дошло до Асхоба.

— А в честь чего эти посиделки?

— Да не посиделки, а так, маленький междусобойчик.

— Ну все равно, по какому поводу?

— Не прикидывайся. Ты что, не мужик? Это называется «охота на лис». Посидим, побеседуем, угостимся, а дальше… видно будет.

— То есть, как видно будет?

Голова у журналиста была тяжелой, слова собеседника с трудом проникали в его сознание.

— Ты что, никогда в жизни баб не видел? — в голосе Нормурода проявилось раздражение. — Потолкуем по душам, подготовим почву, а там — седлай коней. Смелость, как говорится, города берет. Для тебя стоящую телку приготовили.

— Кто такая?

— Знакомая моей подруги.

— Дошло теперь. Значит, к твоей подруге отправимся?

— Именно к ней, она давно у меня в памятный список внесена.

Асхоб усмехнулся.

— Под каким номером?

— Черт знает, уже со счета сбился. Да не в этом суть. Главное, нужно составить компанию.

— Извини, но никакого желания, — попытался отговориться молодой журналист.

Нормурод искренне изумился.

— Это еще почему? Ты вступил в общество импотентов?

— Не в этом дело. Ты же знаешь, я не любитель таких развлечений. С незнакомыми женщинами стараюсь не затевать интрижек. Может дорого обойтись.

— Э, брат, волков бояться — в лес не ходить. Берусь натаскать тебя по высшему классу. Уж кто-кто, а я в этом плане полную десятилетку закончил.

— Нормурод, ты бы… — Асхоб явно сдавался — и приятель чутко уловил это.

— Хорош болтать. Пора становиться мужиком. Через полчаса жду тебя на улице. Тачка есть, проскочим по магазинам, отоваримся и вперед.

Слова приятеля отрезвили Асхоба. Для журналиста вопрос денег всегда был самый болезненный, ибо слов и замыслов у него в избытке, а с наличностью слабовато.

— Отоваримся… — пробормотал он, придумывая причину для окончательного отказа.

Нормурод весело рассмеялся.

— Не трусь, ака, прорвемся. Бабки с моей стороны. Этого добра хватает.

— Дело не в этом, братец… Видишь ли…

— Ладно, хорош козу чесать. Нет желания телку гладить, посидишь, составишь компанию, а там можешь и отъехать.

— Пусть так, — сдался молодой журналист. — От тебя, как от назойливой мухи, не отобьешься.

— Это по-нашему, — бодро отозвался Нормурод. — Давай вылетай на просторы.

Когда-то он запутался в сетях мелкого бизнеса, Асхоб поддержал его своей статьей о предпринимательстве, и Нормуроду удалось уладить миром вопрос о просроченном банковском кредите. С тех пор он считал себя должником журналиста и постоянно придумывал для него развлечения, вроде нынешнего.

— Только не ставь меня в неловкое положение перед незнакомой женщиной, — успел сказать напоследок Асхоб.

— Заметано, — донеслось до него. — Познакомлю вас, а там сами разбирайтесь. Как говорят в народе, хочешь — шей, а хочешь — распарывай.

* * *

Через час с лишним приятели уже входили во двор симпатичного особнячка, отделанного в европейском стиле, на окраине города. Нормурод познакомил журналиста с миловидной хозяйкой, которая назвалась Гавхар. Была она разбитной и держалась непринужденно.

Прошли в комнату, Асхоба усадили на диван, а Нормурод с хозяйкой принялись расставлять на круглом столе привезенные яства и бутылки. Гавхар то и дело постреливала глазками в Асхоба, проявляя к нему явный интерес, но он держался отчужденно и уже не раз пожалел, что дал себя втянуть в эту авантюру. Одно успокаивало: больше никого

в доме не было. Это ободрило журналиста. «Ну и прекрасно, подумал он, посижу с полчасика, потом извинюсь и пойду своей дорогой. Пусть этот донжуан в одиночку развлекается с очередной жертвой».

Когда все было готово, хозяйка пригласила садиться за стол. Нормурод, подражая охотничьей собаке, поднял нос кверху и принюхался.

— Где? Где? Не чувствую?

Гавхар, во всем соответствующая своему дружку, усмехнулась.

— Опоздали, мои родные. Моя подруга посидела полчасика, а потом ушла.

Нормурод огорчился.

— Так не пойдет, в одном саду двум сборщикам будет тесновато. Я этого человека с превеликими трудностями сюда вытащил, бульдозер пришлось нанимать, а ты говоришь — опоздали. Нужно что-то сообразить.

Асхоб повеселел от услышанного, однако вида не подал и по-прежнему сидел, сохраняя на лице отсутствующее выражение.

Между тем Нормурод не успокаивался.

— Мы так на тебя рассчитывали, — он сокрушенно покачал головой.

Гавхар рассмеялась.

— Перебьешься. Я вижу, ты все десять пальцев в рот хочешь затолкать.

— Десять не десять, а нужно ковать железо, пока горячо. Мужчина, пока живет, всегда стремится срывать цветы удовольствий.

Молодая женщина неопределенно пожала плечами. Ее жест окончательно распалил Нормурода.

— Пойдем другим путем, как говорил классик. — Он схватил Гавхар за руку. — Давай-ка вытащим твою подругу из норы. Она далеко живет?

Гавхар искренне развеселилась.

— Сиди уж, тоже мне охотник. Без тебя справлюсь. Сейчас она тут будет.

— Это другой разговор, — удовлетворенно вздохнул Нормурод. — А то я уж совсем духом пал. Так где ее берлога?

— Это тебя не касается, — отозвалась Гавхар.

— Не скажи, скроешься, потом с собаками тебя не сыщем.

— Через полчасика ждите. Посидите пока, побеседуйте, выпейте по пиалке чая. Я быстро.

Она накинула плащ, взяла зонт и вышла из дома.

Нормурод вел себя в комнате молодой женщины по-свойски. Включил магнитофон, открыл шкаф и извлек оттуда шахматы. Высыпал фигурки на стол, стал расставлять их на клетках. Налил в пиалки чай и одну из них подвинул к приятелю.

— Хуш, ако. Ну-ка сразимся пока.

— Двигаю вперед пешку, — Асхоб включился в игру.

— Удивительный ты человек, братан, в шахматах с пешки, с женщинами сам пешка. Скучно так жить. А, ну их к черту… — Нормурод смахнул фигуры с доски и снова сложил их в коробку. — В такой вечер пить чай — преступление. Лучше по стопке коньяка махнем. — Он взял в руку бутылку и пристально вгляделся в ее этикетку.

— Зато ты, вижу, сразу с больших фигур начинаешь, — улыбнулся Асхоб.

— Стараюсь помаленьку. Если брать пример с друзей, то скоро святым сделаюсь. В мечети и то в самом дальнем углу сидеть буду. Ну что, врежем?

— Только по чуть-чуть, чтобы дорогу домой не потерять.

— Здесь переночуем.

Нормурод налил коньяк в четыре рюмки и расставил их по столу.

— Это чтобы сегодняшняя охота не сорвалась. Вроде наживки.

Но выпить приятели не успели. Дверь отворилась и в ее проеме показалась хозяйка дома. За ней в комнату вошла женщина, но такая, что глаза обоих дружков удивленно расширились. Если Гавхар была типичной прожигательницей жизни, то ее подруга оказалась совсем другого поля ягода. Довольно высокая, с хорошей фигурой и с явным чувством собственного достоинства. Большие, слегка удлиненные глаза ярко блестели на смуглом лице. Она была не просто привлекательной, она была на редкость красивой.

— Ого-о! — протянул Нормурод.

Подругу не смутила такая оценка ее достоинств. Она сдержанно поздоровалась и позволила Асхобу снять с нее плащ. Мельчайшие капельки дождя на густых черных волосах искрились сотнями бриллиантиков.

— Знакомьтесь, моя подруга Мохсанам, — представила Гавхар и повлекла ее к столу.

Приятели по очереди назвались.

Все четверо расселись за столом. Красота и сдержанное поведение подруги Гавхар поначалу обескуражили опытного сердцееда Нормурода, и он втайне пожалел, что не хозяйка дома предназначалась его приятелю. Но расстановку фигур на этой шахматной доске было уже менять поздно, и он сумел взять себя в руки.

Самый лучший способ снять напряженность в компании — начать пить, что Нормурод и сделал. Первый тост был традиционным — за знакомство! Затем проводили лето, потом выпили за окончание ненастья, дальше за любовь…

Коньяк без конца подливался в рюмки, но только в две, что крайне нервировало Нормурода. Асхоб делал лишь мелкие глотки, Мохсанам только пригубливала напиток. Зато Нормурод с Гавхар не стеснялись. Их лица раскраснелись, взгляды и слова становились все более нескромными.

— Ну и парочка подобралась, — пьяно протянула Гавхар. — С вами бардачок не устроишь. Чего сидите как деревянные? Потанцуйте, на веранду идите, глотните свежего воздуха, обожмитесь пару раз…

Но Асхоб с Мохсанам не слышали ее советов. Они украдкой поглядывали друг на друга и ощущали еще большую неловкость. Такое чувство возникает тогда, когда понимаешь, что сел не в свои сани, и в то же время не хватает решимости изменить ситуацию.

Окончательно захмелевшая хозяйка дома толкнула Нормурода в бок и мотнула головой в сторону Асхоба с молодой женщиной. Ее жесты означали: «Давай-ка оставим их наедине. Может, договорятся до чего-нибудь. Да и нам с тобой пора заняться делом».

Нормурод правильно понял намек. Он с трудом поднялся с места и обхватил Гавхар за плечи. «Вперед, подруга!» Затем обратился к сидящим:

— Оставляем вам эту комнату. Выясняйте отношения, хотите — лежа, хотите — на словах. У нас своя программа. И просим нам не мешать.

— Устанете сидеть, располагайтесь на диванчике, — бесцеремонно добавила хозяйка дома. — Захотим войти, постучим. Пока, не скучайте, — неожиданно заключила она по-русски.

Подвыпившая парочка, пошатываясь, скрылась во внутренней комнате.

Асхоб и Мохсанам остались одни. Ими овладело внезапное смущение. Оба хмурились, никто не решался первым нарушить напряженное молчание. Звучавшая музыка показалась им громкой, бьющей по ушам. Асхоб поднялся из-за стола, подошел к магнитофону и уменьшил звук.

— Вот спасибо, — сказала Мохсанам, — на нервы действовала. И как можно слушать такую безвкусицу?

— И у меня такое же чувство было, — согласился Асхоб. Не желая больше молчать, он произнес первое, что пришло в голову: — Вы кажетесь такой усталой.

Мохсанам сдержанно усмехнулась.

— Вы хотите предложить мне отдохнуть на диване?

Ее фраза задела журналиста за живое.

— Не надо равнять меня с моим приятелем. У нас разные интеллектуальные планки. Я никогда не навязываюсь женщинам, — отпарировал он с излишней резкостью.

Молодая женщина смутилась.

— Прошу извинить. Просто ситуация тут более чем двусмысленная. А вообще-то, вы верно угадали. Я действительно неважно себя чувствую. Работа у меня беспокойная. Все время люди идут, с жалобами, с претензиями. И каждому хочется помочь, а не всегда есть такая возможность.

— И кем вы работаете? — полюбопытствовал он.

— Возглавляю профсоюзную организацию в одном солидном учреждении. Правда, солидном лишь с виду, а так сплошная грязь и злоупотребления.

Асхоб сочувственно кивнул.

— Понимаю вас. Время сейчас сложное. Все слепы и глухи друг к другу. Как говорится, даже собаки на хозяев гавкают. Но все-таки хоть что-то полезное делаете.

— Как сказать, — устало отозвалась Мохсанам. — В большей степени стараюсь, в меньшей получается.

— По крайней мере, хоть сочувствуете людям.

Мохсанам махнула рукой.

— Вместе с грузом нерешенных проблем иду домой. Настроение препаршивое, жить не хочется. И если бы муж относился с пониманием к моему состоянию, стрессы быстро бы снимались и не оставляли видимого следа. А так начинались ссоры, скандалы, упреки и подозрения в неверности. Нагулялась, мол, где-то досыта, а теперь еле ноги тащит. Не дай Бог таких мужей.

Асхоб внимательно слушал откровения молодой женщины, стараясь полнее вникнуть в ее внутренний мир.

— И это продолжается до сих пор? — осведомился он.

— К счастью, уже нет, — ответила она с едва заметной усмешкой. — Семейные размолвки остались позади.

— То есть?

— Сочла за лучшее остаться одной. Теперь поздно приду или рано, никто не косится на меня, не встречает угрозами разобраться со мной, никому нет дела до моего настроения. Так лучше.

— Значит, ваш муж оказался понятливым и охотно пошел на разрыв? — полюбопытствовал Асхоб.

Мохсанам согласно покачала головой.

— Можно сказать и так. Видно, он настолько был ко мне равнодушен, что хотел лишь одного: больше никогда не встречаться, даже случайно.

— И теперь вы…

— И теперь я живу с двумя детьми, но без мужа.

— Извините меня, — сказал Асхоб с чувством. — Я не хотел возвращать вас в прошлое.

Она махнула рукой.

— От него и так никуда не денешься.

— А ваш муж?

— Живет себе. Моментально забыл о нас и снял с себя все заботы о детях. Думала, может, в Россию отправился на заработки, как другие, оказалось, нет, тут, в городе ошивается, благополучный, хорошо выглядит.

— И нет никаких сожалений ни у вас, ни у него?

Мохсанам усмехнулась.

— У него-то нет, это точно. А что касается меня, то я иногда виню себя в разрыве. Где-то надо было стерпеть обиду, где-то переступить через себя. Двенадцать лет прожили вместе, и что в конечном итоге? Только горечь разочарования и мутный осадок на дне души. И дети остались без отца. Дочь вроде смирилась, а сын, вижу, скучает. Не хватает ему мужского присутствия. Женщина обязана быть слабее и терпеливее мужчины, я же не согласилась с этим — и итог, как видите, печальный.

Мохсанам замолчала. Она прикусила нижнюю губу и отвернулась в сторону окна, стараясь скрыть появившийся предательский блеск в глазах. Ей не сразу удалось избавиться от тягостных воспоминаний, о чем свидетельствовал невольный вздох.

Асхоб почувствовал себя неловко и попытался утешить молодую женщину, возвратить прежнюю доверительность в их разговоре.

— Простите меня, ничего нет хуже, как задевать чувствительные струны чужой души. Подводит меня проклятая профессиональная любознательность. Так и тянет добраться до сути людских взаимоотношений, выяснить скрытые побудительные мотивы. Не первый случай, когда с виду семья цельная и прочная, а оказывается, ее фундамент весь в трещинах.

— О-о, как вы заговорили, — она взглянула на Асхоба с любопытством. — Да, теперь я вижу, вы с вашим приятелем не одного интеллекта. Другой давно бы полез обниматься, а мы с вами в дебрях психологии потерялись.

— Охота пуще неволи, — неопределенно откликнулся журналист.

— Из ваших слов можно сделать вывод, что вы — творческий работник?

— Пишу понемногу, — согласился Асхоб.

— И в каждом новом человеке видите героя своего нового романа?

— Ну, романа — это громко сказано, — возразил он. — Просто множество разнородных впечатлений в конечном итоге суммируются в

очерк или рассказ. Вот теперь мне нужно написать материал об отношениях современных мужчин и женщин, и я ничего дельного не могу сообразить. Зыбкие впечатления, как в тумане. А вот в разговоре с вами, как в насыщенном растворе, что-то начинает проясняться, появляются кристаллики мыслей.

— Ну что ж, я рада, что хоть чем-то смогла оказаться полезной вам, — отозвалась Мохсанам.

Тонкая ниточка взаимной симпатии, которая сразу возникла между ними, начала крепнуть и обретала все новые оттенки, но инерция интереса к красивой женщине влекла журналиста дальше по уже оформившейся колее.

— Простите, я больше выступаю в роли следователя, чем журналиста, — повинился Асхоб. — Но что поделать, коли вы интересны мне. Вот вы сказали, что я мало похожу на своего приятеля. Но и вы тоже отличаетесь от своей подруги. И тем не менее, приняли ее предложение и пошли в незнакомую компанию, так сказать, по формуле — два на два, как выразился мой дружок. А ведь не секрет, что такие посиделки организуются с определенной целью: меньше слов и больше дела. Как же это понять?

Мохсанам заметно смутилась.

— Ну что ж, вы правы. Но пришла я без мысли нарушить целостность этого вот дивана. Просто ваш приятель охарактеризовал вас как человека оригинального и несовременного. По его словам, вы сторонитесь женщин, способный журналист, не без писательских задатков, и каждая ваша статья — проблемная, с психологическими исследованиями. Вот я и подумала: неужели остались такие мужчины? Любопытно стало.

— А если бы я повел себя традиционно? — спросил Асхоб не без тайного умысла до конца прояснить ситуацию.

— Тогда получили бы по физиономии и на этом наше знакомство завершилось.

— Даже так? — он машинально провел ладонью по щеке.

Она рассмеялась.

— По вашему жесту можно подумать, что подобное уже случалось.

— Вообще-то нет, но это было бы еще одной гранью моего познания жизни.

Теперь молодая женщина ослабила поводья своего любопытства.

— Ну, подробности моего бытия вы уяснили. Теперь моя очередь. Почему вы избегаете женщин? Вы что, сторонник нетрадиционных отношений между полами?

Пришла очередь покраснеть журналисту. Его даже покоробила прямизна вопроса.

— Нет, с этим все в порядке, — отозвался он с усмешкой. — Моя история несколько напоминает вашу. Меня женили сразу после университета на дальней родственнице. Самому не встретилась девушка моей мечты, как пишут поэты. Я — не красавец, это объективный факт, и если мои сокурсники из тех, что побогаче или симпатичнее, никаких проблем с женским полом не испытывали, то со мной девушки не искали знакомств. Кроме того, чтобы учиться, я вынужден был подрабатывать в редакциях, таким образом, времени для развлечений не оставалось.

Мои родители решили за меня эту проблему, и как оказалось, неудачно. Творческий труд требует полной самоотдачи, другого занятия, признаться, я для себя не мыслю, а моя молодая супруга не понимала моей самоуглубленности. Ее хотелось ходить в гости, гулять по вечерам по улицам города, заходить в бары и рестораны. Она была хороша собой, и мужские взгляды кружили ей голову. А какие бары при журналистской зарплате, да и не до прогулок. Газета, она, как хищный монстр, требует все больше материалов, и желательно с «изюминкой», со скрытой или явной сенсацией. А этому надо соответствовать… Кончилось тем, что моя жена через три года при мне демонстративно собрала вещи, хлопнула дверью и ушла к шеф-повару одного ресторана. У него был достаток, две машины, денег без счета, и жизнь их завертелась, как разноцветная карусель. Я постарался понять ее, хотя было, конечно, досадно и возникло ощущение собственной неполноценности…

— А дети? — негромко спросила Мохсанам.

— К счастью, обошлось без них. Намечался один, но моя благоверная поспешила избавиться от него своевременно.

Мохсанам сочувственно коснулась его руки. Она хотела спросить еще о чем-то, но действительность грубо ворвалась в зыбкий мирок их духовной близости. До этого в соседней комнате слышались звяканье бутылки о стаканы, смешки и перешептывания, перемежаемые звуками смачных поцелуев. Теперь же что-то грохнуло, потом донеслось сопение, сменившееся стонами и тяжелым прерывистым дыханием. Комментариев, как говорится, не требовалось. Мохсанам и Асхоб ощутили неловкость. Они старались не встречаться взглядами, но нужно было что-то делать, чтобы разрядить обстановку, и первой постаралась это осуществить молодая женщина. «Ей не откажешь в решительности и находчивости», — подумал журналист.

— Я думаю, вам, как инженеру человеческих душ, будет любопытно узнать, что же послужило окончательной причиной моего семейного крушения, — заговорила Мохсанам. — Надо сказать, ничего оригинального. Первые четыре года мы прожили в мире и согласии. Дети радовали глаза, и ничто не предвещало бури в стакане воды. — Ироническая улыбка скользнула по ее губам. — А потом меня избрали председателем профсоюзной организации, и начались треволнения, о которых я уже говорила. Ссоры, выяснения отношений. Муж работал в солидной организации, в какой, не скажу, это не имеет значения. И вот он стал дежурить по ночам, чего раньше не было. Сначала раз в месяц, потом два, а затем уже и еженедельно. Я старалась верить ему, и без того обстановка в доме была напряженной…

Как-то среди ночи, во время его очередного отсутствия, меня разбудил звонок. Спала я крепко и сперва подумала, что кто-то стоит у двери. Но нет, звонок повторился, это был телефон. Я включила свет ночника и бросила взгляд на часы — половина второго ночи. Сердце сильно забилось, меня охватила тревога. Подняла трубку и выкрикнула: «Алло!» Послышался низкий мужской голос, который без приветствий и представления произнес:

— Извините, красавица, нарушил ваш сладкий сон.

— Кто вы? — спросила я. — Я вас не знаю.

— Это не важно, дорогая сестрица.

— А что важно? — я никак не могла отойти от сна.

— А важно то, что вы доверчивы сверх меры. Такая красавица, при одном взгляде на вас слюна закипает во рту, а цену себе не знаете. Вам вешают лапшу на уши: муж ушел дежурить, и вы верите…

— Так, дальше.

— Хотите знать, что дальше?

— Ну уж если сказали «а», то говорите дальше по алфавиту.

Злость начала охватывать меня и прорывалась в словах. Невидимый собеседник почувствовал это и победно усмехнулся. Ему показалось, что он достиг цели.

— Скажу, все скажу, дорогая моя. Ничего не стану скрывать. Дальше по алфавиту идет буква «б». Так вот ваш муж находится в доме у одной «б», и не просто находится, а лежит с ней в теплой постельке и так пыхтит, что на всех этажах слышно.

— И вы ради того, чтобы сообщить мне эту сплетню, сами не спите и другим покоя не даете? Ну, сами понятно: зависть — штука довольно беспокойная, но я-то тут при чем? Или у вас тонкий слух, и пыхтение будит вас?

Мой невидимый собеседник явно ожидал другой реакции и потому искренне удивился.

— Э-э, вы мне не верите?

— Не верю, — сказала я резко.

— Ну, молодец, первый раз вижу такую стойкую женщину.

— Положим, не вижу, а слышу. Так будет точнее. С грамотностью, как и с порядочностью, у вас не все благополучно. А теперь мой вам совет: заткните уши ватой, чтобы не слышать сопение моего мужа, положите трубку на место и больше не беспокойте меня.

Но невидимый собеседник не успокаивался.

— А если я вас все-таки постараюсь уверить, что ваш муж дежурит в квартире одной известной «б», дам ее адрес и номер телефона, тогда как?

Злость прокатилась по телу жаркой волной, и я уже больше не сдерживалась.

— Знаете что, родной мой или братец, как вам больше нравится, можно, я задам вам один вопрос?

— Буду рад, — снисходительно согласился невидимый собеседник. — С нетерпением жду.

— Мне интересно: мой муж в постели сейчас не с вашей женой? Что-то вы уж очень волнуетесь. Если так, то я только рада за него.

Мой собеседник опешил.

— Ты… Вы… Вы чего плетете? В своем уме?

— Я-то в своем. А вот вам нужно быть внимательнее. Я сама сколько раз видела, как он валил вашу женушку в постель и так ублажал ее, что посуда в шкафу звенела. Не верите? Хотите, дам магнитофонную запись послушать?

В трубке воцарилось долгое молчание. И если бы не дыхание, которое достигало моего слуха, можно было бы подумать, что связь оборвалась. Мы поменялись ролями, и такая ситуация меня начала забавлять. Я отбросила всякие любезности и заговорила прямо и грубо.

— Чего заткнулся? Кончилась соловьиная песня? Вот так, родной мой. Прежде чем на других грязь лить, свои простынки отстирай. Надо мужиком быть, а не той же самой, на букву «б».

— Ты… ты чего говоришь? — донеслось до меня.

— То, что слышишь, — отозвалась я ласково. — Еще раз позвонишь, подробно сообщу: как, когда и в какой позе твою жену употребляют. Понял ты, импотент паршивый? Если и это тебя не остановит, всем расскажу: кто ты такой и какой формы у тебя рога. У меня телефон с определителем номера. Я знаю, откуда ты звонишь, и установить твой адрес не составит никакого труда. Дошло?

Снова томительное затишье.

— Ау-у, — позвала я. — Запас сплетен кончился? В сон потянуло?

— Ну ты… ты…

Я перебила своего доброжелателя.

— Я-то знаю, кто я. А тебе ведомо — кто ты?

Мой собеседник начал приходить в себя.

— И кто же я, кроме импотента?

— Ты подонок, провокатор и юбочник. Слышал такое слово?

Он постарался усмехнуться.

— Нет, поясни.

— Охотно. Это такие существа среднего пола, которые сами ни на что не способны. Они прячутся под кроватями и слушают, что на них делается по ночам, трутся возле женских туалетов и бань и стараются подглядывать в щелочку. А потом удовлетворяют себя рукой или просят других мужчин утешить их…

Слушая это повествование разгорячившейся женщины, молодой журналист не мог удержаться от смеха.

— Но вам-то откуда известны такие подробности?

Мохсанам порозовела от смущения.

— Об этом столько сейчас пишут. Не хочешь, да будешь знать.

— А почему вы сочли, что тот доброжелатель из таких вот юбочников?

Она пожала плечами.

— Логика тут простая. Разве будет настоящий мужчина нашептывать незнакомой женщине по ночам сплетни? Если жена изменила ему, он сам с ней разберется. А смаковать чужие постельные утехи по телефону… Просто злость заставляла меня плести все, что приходило в голову, и оказалось, попала в цель.

— И что потом? — спросил Асхоб, едва удерживаясь от смеха.

Мохсанам покрутила головой, словно сама удивлялась продолжению той давней истории.

— Потом… От моих слов у него, видно, дыхание перехватило, он так долго молчал, что я подумала — может бросил трубку? Но нет, по-прежнему слышалось тяжелое дыхание. Мне уже надоела эта словесная перепалка, и я осведомилась: «Ну что, хватит с тебя или продолжать?»

— Хватит, — донеслось ответное.

— Ну тогда на здоровье. Хочется верить, что ты навсегда забудешь этот номер телефона. Если еще раз, даже ошибочно, позвонишь сюда, отыщу тебя и всю физиономию расцарапаю.

Мой собеседник, прежде чем прекратить наше милое общение, вздохнул и униженным тоном проговорил:

— Да, урок ты мне преподала. Впервые с такой женщиной столкнулся. Извини… Теперь мы в расчете. Только я, действительно, хотел предупредить тебя. Поняла ты, не поняла, как говорится, твое дело. Та, о которой я сказал, ну, которая с твоим мужем… я ее давно знаю. То с

одним мужиком путается, то с другим, разбивает семьи… Хотелось проучить ее, а вышло по-другому. Никакая она не моя жена…

И он положил трубку. Я несколько мгновений слушала короткие гудки, потом отодвинула телефон в сторону и уставилась в темное окно. Ощущала крайнюю подавленность, и в сознании билась только одна мысль — неужели все это правда? Расстроенная, снова легла в постель, но сна не было, удалось задремать только под утро, а впереди предстоял трудный рабочий день. Меня привело в чувство прикосновение холодных рук и запах чужих духов. Это был мой муж, стоявший возле постели. Я присмотрелась к нему: глаза воспаленные от бессонницы и вид какой-то помятый. Налицо — ночь, проведенная в утехах…

Не стала ничего говорить. Нет, вру, спросила лишь одно: как прошло дежурство?

Он делано рассмеялся.

— Нормально, только спать не пришлось.

— Это сразу заметно. — Я старалась не встречаться с ним глазами.

Он встревожился.

— То есть?

— Глаза твои тебя выдают.

— А что в них?

Верно в народе говорят: у вора на голове шапка горит.

— Глаза у тебя красные, как у кролика, — пояснила я по-возможности спокойным голосом.

— Ехидничаешь? Это что-то новое у тебя. Я и правда почти не отдыхал. Все время из районов звонили.

— Ну и я о том же. Видно, что ни на метр не отходил от телефона. Ладно, главное, отдежурил без происшествий. Умывайся, завтракай и ложись отдыхать. Я отведу детей в садик и потом на работу. Пока, до вечера.

Быстро собрала детей и ушла с ними из дома…

Мохсанам замолчала. Отпила из пиалы глоток холодного чая и сидела, задумчиво прикусив нижнюю губу.

Сопение в соседней комнате прекратилось. Утомившиеся любовники заснули. Доносилось похрапывание Нормурода.

Молчал и Асхоб, потом негромко осведомился:

— И все на этом? Звонков больше не было? А «дежурства» мужа продолжались?

Молодая женщина усмехнулась.

— Нет, мой неизвестный доброжелатель больше не тревожил меня. Мне даже интересно стало: неужели так сразу я отучила его сплетничать. А что касается моего мужа, то его дежурства стали повторяться все чаще. Теперь уже не два раза в месяц, а каждую неделю. Я чувствовала, что он заметно остыл ко мне. В разговорах со мной обходился без ласковых слов, в постели старался не прикасаться ко мне, отговаривался головными болями… Я оставила его в покое, но в душе моей поселилось недоверие к нему, постепенно перераставшее в отчуждение. И в то же время не хотелось давать воли сомнению, все-таки он был отцом моих детей. Это так просто не откинешь. Можно было, конечно, пойти к нему на работу и выяснить всю правду о его дежурствах, но противно было идти на такой шаг. Ну охладел, ладно, бывает, но не грубил, не скандалил. И мы начали жить каждый по себе, все больше отдаляясь друг от друга.

Наконец… Я устала от двусмысленного положения, взяла отпуск и уехала с детьми к родителям. В районе им было невесело, скучали по дому и еле выдержали две недели. Стали проситься в город. «Хотим папу увидеть, друзей своих». С каждым днем их просьбы звучали все чаще, и я пошла им навстречу. Разумное желание детей — закон для родителей. Позвонила мужу, но на переговорном пункте ответили, что с Душанбе временно связи нет. На работу к нему тоже не могла дозвониться.

Как говорится, когда не везет, то зубы и о кисель сломаешь. Так и с нами случилось. В дороге автобус вышел из строя, и мы на попутках добрались до города уже поздней ночью. Запасные ключи у меня были, и я не особенно тревожилась. Даже если мужа не будет дома, в квартиру все равно попадем.

Когда подошли к нашей многоэтажке, света уже во многих окнах не было. В том числе и в нашем жилье. Оно и понятно, время ушло за полночь. Поднялись на третий этаж, остановились перед дверью, я принялась рыться в сумочке, отыскивая ключи…

Асхоб, слушая прерывистый монолог Мохсанам, невольно отметил, что она стала рассказывать с излишними подробностями. Было ясно, подошла к главному, не очень приятному для нее, и потому подсознательно оттягивала переход к нему.

— Достала ключи, — продолжала молодая женщина. — Вставила их в замочную скважину, но они не входили. Значит, дверь была заперта изнутри. Повеселела, и дети тоже оживились. Отец дома. Нажала на кнопку дверного звонка, раз, другой, третий.

Спустя какое-то время послышался голос мужа.

— Кто?

— Папа, это мы! — закричали дети.

Молчание. Я уже подумала, что он спросонья не разобрал, кто с ним говорит, но за дверью послышался какой-то шум, что-то упало.

Я обеспокоилась, снова нажала кнопку звонка.

И тут послышался голос мужа, но какой-то неуверенный.

— А… а я думал… Сейчас, только оденусь… Ключи куда-то задевались…

А куда могли затеряться ключи, если мои не входили в замочную скважину?

Слышались за дверью шаги, невнятное перешептывание.

Понятно, муж был не один. Неясное подозрение охватило меня, между тем, сумятица в квартире нарастала. Я уже различала голоса.

— Лезь в окно.

— Высоко, упаду.

— Где-то веревка была.

Кровь горячей волной ударила мне в голову. Второй голос был женским. И я уже не могла сдерживаться. Всему должен быть предел, в конце концов.

— Эй, Зариф, хватит метаться. Ладно, развлекаешься, но не делай глупостей. Человека погубишь. Гостей надо провожать в дверь, а не в окно. Убьется, нас с тобой заставят отвечать.

Я колотила в дверь руками и кричала во весь голос.

Услышав шум в коридоре, соседка напротив выглянула из своей квартиры. На ее лице были написаны любопытство и ожидание предстоящего скандала.

— Может, чем помочь? — осведомилась она. — Вор залез к вам в дом? Идите сюда, звоните в милицию.

Я сумела взять себя в руки и сдержанно ответила:

— Угадали. Только этот вор не простой. Такой, который крадет покой в чужих семьях. Не беспокойтесь, соседка, сами разберемся. Никакой милиции не нужно. Отдыхайте, простите, что вас потревожили.

Нездоровый интерес у соседки разгорелся еще больше, и она неохотно затворила свою дверь, без сомнения, плотно прижавшись к ней ухом, чтобы не пропустить ничего из разыгрывающегося скандала.

Мой муж по-прежнему метался по квартире. Слышались глухие голоса.

— Ну, чего боишься, лезь в окно… Я подержу…

— А если веревка оборвется…

— Она капроновая…

Мои дети, видя всю эту сумятицу, стали плакать.

Я снова постучала в дверь.

— Зариф, говорю тебе, пусть твоя гостья уходит по-человечески. Даю слово, не трону ее. Мне интересно посмотреть на ее физиономию. И детям на вас обоих полюбоваться невредно. Будь же мужчиной, в конце концов…

За дверью стало тихо. Меня уже забавляла трусость попавшихся любовников. Я продолжала увещевать их.

— Слышишь, что говорю? Давай по-хорошему закончим эту историю. Ты же не хочешь скандала? Сейчас весь двор на ноги подыму, начну дверь выламывать, стыда тогда не оберешься…

Молчание…

— Ну что же, ты вынуждаешь меня на крайние меры. Открывай, пока я свидетелей не притащила. Тебе же лучше. Или ты уже соображать перестал?

Ключ залязгал в замочной скважине. Мы с детьми отошли подальше от двери, отворявшейся наружу. Показалась женская фигура с платком, наброшенным на голову. Она натянула его на лицо и шла, отворачиваясь от нас. Дети, осознавшие, что происходит, побоялись, что я сейчас брошусь на чужую женщину. Фируз шагнул вперед и загородил мне дорогу. Я осторожно отстранила его и рывком стащила платок с головы незнакомки. Волосы у нее были растрепаны, глаза от испуга бегали, мне только запомнилось, что она была белолицая и моложе меня.

— Видите, дети, вашу новую маму? — выкрикнула я срывающимся голосом.

Сын и дочь заревели и вцепились в меня.

— Не надо нам такую маму… У нас ты есть, — заголосили они.

— Ваш папа умеет выбирать себе красоток, — сказала я язвительно. Подняла платок с пола и набросила его на голову своей сопернице.

— Ты можешь далеко не уходить. Подожди часок во дворе. Соберу свои и детские вещи и оставлю вас в покое. Теперь эта квартира ваша, и этого труса можешь забрать себе целиком. Я тебя не осуждаю. Сама виновата, что семья развалилась со скандалом. Раньше нужно было догадаться, что идем к концу. А я, дура, верила…

Гнев затмевал мне рассудок. Я не знала, как мне сильнее уязвить неверного мужа.

— Фируз, Парвиночка, — я ласково погладила детей по голове. — Решайте сами. Хотите, продолжайте жить тут. Этот человек будет вам отцом. Это мне он теперь чужой. А вы можете остаться.

Дети снова заревели. Они цеплялись за меня и умоляюще глядели заплаканными глазами.

— Не… не… мамочка… Мы с тобой, с тобой… Куда ты пойдешь — и мы туда тоже.

— Ну и хорошо. Постойте в коридоре. Я сейчас выйду.

Я вошла в квартиру. Муж стоял в углу и прятал от меня глаза. Он молчал, и у меня тоже не было особого желания выяснять с ним отношения. Все было понятно без слов. Я не стала даже смотреть на него, подошла к шкафу, стащила сверху большой чемодан и принялась бросать в него свои и детские вещи. Собиралась торопливо, хотелось скорее покинуть это жилье, ставшее мне ненавистным. Вспомнила о ключах. Вытащила их из кармана и бросила на пол посреди комнаты.

Вышла с чемоданом на лестничную площадку. Соседка снова отворила дверь.

— Куда ты с детьми пойдешь? — попыталась она урезонить меня. — Пусть твой благоверный катится на улицу. Или переночуй у меня, а утром поедешь.

Усталость и равнодушие к собственной судьбе охватили меня.

— Спасибо, — отозвалась я еле слышно. — Мне даже дышать тем воздухом противно. Простите, что разбудила вас. Сами видите, не моя вина.

Я изо всех сил сдерживалась, чтобы не заплакать. Но женщина есть женщина, моей выдержки хватило ненадолго, и я, вытирая слезы платком, побрела с детьми на улицу.

При слабом свете уличного фонаря увидела ту самую женщину. Она сидела на скамейке под тополем и плакала от стыда, закрыв лицо руками. Бросилась ко мне, хотела что-то сказать в свое оправдание, но мне было не до нее. Я едва держалась на ногах. Молча отстранила ее рукой. Она сделала попытку, или мне показалось в полумраке, встать передо мной на колени. И тогда нервы мои не выдержали. Изо всех сил я толкнула ее в грудь, и она упала в пыль. Впрочем, там ей и было место.

Я подхватила чемодан и зашагала по тротуару. Дети, хныча, семенили за мной, и мы брели неясно куда, спотыкаясь и ничего не замечая вокруг…

Мохсанам тяжело вздохнула и завершила свое горестное повествование словами:

— Вот и вся история моей любви и развалившегося семейного очага, товарищ журналист. Может, пригодится вам для какого-нибудь очерка на темы морали?

— М-да, — протянул Асхоб, потирая лицо ладонью. — Тут больше на роман тянет. — Он хотел этой шуткой снять с души молодой женщины напряжение, и ему это удалось. Она слабо улыбнулась и кивнула головой.

— При известном таланте можно и роман написать.

— И что потом? — не смог сдержать профессионального интереса Асхоб. — Вы больше не видели «сладкую парочку»?

— Что потом? — переспросила она. — А ничего интересного, не стоит даже вникать в подробности. Остальное, как у всех, и может быть, лучше. Расстались по-хорошему, без скандала и вытаскивания грязного

белья в суде на всеобщее обозрение. Он предлагал мне квартиру, мебель, вещи, а мне противно было видеть все это, и я отказалась…

Вот уже пять лет живу одна. Впрочем, почему одна, со мной дети, они греют меня, как солнышко, и не дают душе заледенеть. На судьбу не жалуюсь, снимаю квартиру, обещают вскоре дать свою. Работа есть, зарплата неплохая, свожу концы с концами…

— И как представляете себе будущее?

— Как всякая мать. Нужно поставить детей на ноги и определить их в самостоятельную жизнь.

— Но ведь у вас и личная жизнь должна быть тоже? Зачем же вы заживо себя хороните? Вы же еще молоды и хороши собой.

Мохсанам усмехнулась.

— У меня несовременное воспитание. Предложений сколько угодно. И стать содержанкой, и обрести статус второй или третьей жены с квартирой и деньгами. Другие идут на это, а меня такие предложения оскорбляют. Я сторонница семьи по любви и серьезных отношений тоже на этой основе. Не хочу размениваться и быть постельной принадлежностью для какого-нибудь спекулянта с золотыми зубами. За пять лет никакой мужчина не тронул моего сердца. Буду коротать свой век в одиночестве.

— Удивительно, — покачал головой Асхоб.

Молодая женщина искоса поглядела на него.

— Странно слышать от вас такое слово. Вы ведь тоже живете один. И не пустились в загул, как ваш приятель, — она кивнула в сторону двери, откуда доносился храп Нормурода. — Значит, и у вас есть нравственные ценности, которые вы не хотите обращать в разменную монету. Вы же не повели себя со мной, как донжуан, а предпочли выслушивать мою исповедь. Мне нужен мужчина, который делил бы со мной тяготы жизни, а не видел во мне только усладу для своего тела. Легко сгореть, как мотыльку в пламени свечи, но что приобретешь взамен?

— И что же, никто не захотел делить с вами беды и радости? — полюбопытствовал журналист. В глубине души он осознавал, что не стоит бередить незажившую рану в ее сердце, но что-то побуждало его до конца прояснить характер этой удивительно красивой и несчастной женщины. Может, то, что он слышал в ее горестях отзвук собственной несложившейся судьбы? Бывает, выслушивая чью-то жизненную повесть, мы неожиданно для себя находим выход из собственного тупика, в который загнала нас цепь разнородных обстоятельств.

Мохсанам пожала плечами.

— Может, и были такие. Но одного их желания недостаточно для меня. Не рождалось в сердце ответного отзвука. Должно быть, как эхо. Ты крикнешь, а горы отзываются раз, другой, и разносится твой голос далеко по ущелью.

Я не встречала настоящей искренности. Всегда ощущала в сочувствии какую-то двойственность, и это настораживало меня. Не хотелось разочароваться еще раз, я не переживу подобного, а ведь у меня дети. Вам, мужчинам, проще в этом отношении. Для вас близость с очередной женщиной, даже если и не оправдались надежды, — победа, а для нас это всегда горькое поражение.

Асхоб слушал молодую женщину с тревожным чувством. Как журналист он знал, что бывают встречи эпизодические, пообщались, поговорили и забыли друг о друге. А бывают и такие, которые надолго

остаются в памяти и порой серьезно сказываются на твоей жизни, изменяя ее плавное течение. Не из таких ли его встреча с Мохсанам? Он хотел этого и боялся, очень уж спокойно существовал последнее время и подсознательно не желал сердечных потрясений. Но чувствовал, что просто так им разойтись не удастся.

— А что вы думаете обо мне? — спросил он как бы между прочим. Она пристально посмотрела на него, их глаза встретились, взгляды были испытующими и вопрощающими.

— О вас? — переспросила Мохсанам и задумалась. — Прежде всего, вы не оригинальны. Из десяти мужчин девять обязательно задают такой вопрос. Оно и понятно, еще не старая женщина, миловидная, одинокая, авось и клюнет на приманку.

Асхоб ощутил мгновенную досаду.

— Ну что вы всех стрижете под одну гребенку? Может, я и традиционен в поведении, но, поверьте, без всякого умысла. Для меня это действительно важно. Какая-то глубина открылась в нашей встрече, такая, от одного взгляда в которую кружится голова.

— Ну, если так... — она посмотрела на настенные электронные часы. — Мы с вами находимся в этом приюте продажной любви три часа. Можно сказать — много и мало. Наши друзья использовали их, как говорится, на полную катушку. Для них это большой отрезок времени. Они не упустили свой шанс развлечься. Для нас же — это лишь первые шаги в познании наших внутренних миров. Нам дан какой-то другой шанс, который проявится лишь в будущем. Сумеем ли мы воспользоваться им? Вопрос. Вы слушали меня внимательно, без той иронии, которую порождает мужская солидарность. Это уже немало. Сопереживали мне, значит, я вам чем-то пришлась по сердцу. И я подсознательно почувствовала в вас близкого человека, который может стать мне другом. А я в этом по-настоящему нуждаюсь. Дай Бог, конечно, чтобы я не ошиблась.

— Думаю, вы не ошиблись, — отозвался он серьезно.

— Наверное, вы — хороший человек.

Он шутливо склонил голову и прижал руку к сердцу.

— Благодарю за комплимент. Постараюсь оправдать ваше доверие. Поверьте, мы, мужчины, далеко не всегда слышим от женщины искренние слова, без игры и фальши.

— Я сказала от чистого сердца, Асхоб-ака.

Они помолчали. Минуты уходили незаметно. Дождь на улице кончился, и слышно было, как редкие капли тяжело ударяют по наличнику окна. Внезапно комната, в которой они находились, стала тяготить их. Все тут было фальшиво и пропитано духом продажного чувства.

— Тогда у меня одно предложение, — сказал журналист.

— Слушаю, — Мохсанам повернулась к нему.

— Может, нарушим старинное правило: приходишь сам, а уходишь по разрешению?

— То есть, исчезнем по-английски, не беспокоя хозяев?

— Именно так. Пусть они храпят себе и видят сны, те самые, которые соответствуют их натурам.

— И какой будет наша программа действий?

Асхоб пожал плечами.

— Она диктуется поздним временем. Я провожу вас до дома и дам номера своих телефонов. Заметьте, своих, ваши я не прошу. Предостав-

ляю вам свободу выбора. Захотите, я с радостью услышу ваш голос. Нет — значит, не заслужил большего. Останутся лишь приятные воспоминания о странной встрече.

— Ну что ж, я согласна, — улыбнулась Мохсанам.

— Тогда встали?

— И как можно скорее.

Они оделись, еще раз окинули взглядом комнату. Асхоб погасил свет и галантно пропустил молодую женщину вперед в растворенную дверь. Осторожно закрыл ее и услышал, как щелкнул французский замок.

— Теперь нам путь назад отрезан.

— И прекрасно, — отозвалась она серьезно.

Они вышли на улицу. Воздух был до отказа напитан влагой, уличные фонари во мраке казались большими шарами, подвешенными высоко над тротуарами. Шаги гулко разносились в тишине, пахло прелыми листьями и сырой землей.

Мохсанам помедлила и взяла Асхоба под руку. Они дошагали до проезжей части дороги и сразу же увидели желтый огонек такси. Журналист поднял руку, и машина остановилась возле них.

Это был видавший виды «жигуленок», из тех, которых уже не жалко. Он явно доживал последние месяцы, после чего пополнит собой какую-нибудь мусорную свалку.

Поехали. Водитель, пожилой, с одутловатым лицом и вислыми седыми усами, окинул взглядом пассажиров.

— Хорошо, что стояли вместе на дороге, — сказал он хрипловатым баском. — Иначе до утра бы куковали.

— Почему? — удивился Асхоб.

— Когда один мужик «голосует» в такое время, это или алкаш, или наркоман, — пояснил водитель. — С таким только свяжись. И денег не получишь, и из кабины пока вытащишь, вспотеешь. А если девушка одна, дави на газ и мимо. Значит, «живец».

— Не понял? — заинтересовался журналист.

— А чего тут не понимать. Вроде одна, бедненькая, а за деревом или в кустах ее подельники прячутся. Тормознул, они тут же к машине — и привет. Выручку отберут, а то могут и без машины оставить.

— А машина им зачем?

— А затем — или на запчасти разберут и толкнут их потом на рынке, или свои дела обделают и бросят ее где-нибудь в районе. Уж на что я на развалюхе езжу, и то отбирали.

— Дожили, — покачал головой Асхоб.

— А ты думал.

До сорок шестого микрорайона докатили быстро. Распрощались с водителем и зашагали дальше. У пятиэтажки остановились. Свет горел в редких окнах, темнота, казалось, еще более сгустилась.

— Вот тут я и обосновалась с детьми, — сказала молодая женщина. — На третьем этаже, угловая квартира.

— Дети уже спят? — спросил Асхоб.

— Да, я им сказала, чтобы не ждали меня, — отозвалась Мохсанам.

— Привыкли уже? — не удержался журналист. Мысль о том, что Мохсанам может часто отлучаться из дому по вечерам, вызвала у него ревность, и он сам удивился этому.

Она поняла его состояние и улыбнулась.

— Ничего подобного, просто они у меня разумные и слушаются меня.

— Вот мои телефоны, — он вырвал листок из блокнота и написал на нем колонку цифр. — Надеюсь, я недолго буду ждать звонка?

— А нужно ли? — спросила она еле слышно.

— Мне — да. Я думаю, нам суждено быть вместе.

Мохсанам недоверчиво покачала головой.

— На развалинах ничего нового не построишь.

— Это как сказать, — возразил он. — Обломки можно убрать, участок расчистить — и пожалуйста, поднимай стены.

Она опять улыбнулась. Ее улыбка была такой милой, что у него защемило сердце. Уже было поздно, нужно было идти, а он никак не мог решиться на разлуку. Он ловил себя на этом и дивился сам себе. Вроде не мальчик и не юноша, а робость и волнение сковывали его надежнее всех пут.

— Знаете что, — сказала Мохсанам оживленно. — Мы нетрадиционно встретились. Необычно провели вечер. Давайте и распрощаемся оригинально.

— Это как? — заинтересовался Асхоб.

— Обычно мужчина целует женщину напоследок, а мы поступим наоборот. Я поцелую вас.

Он удивился, хотя слышать подобное было приятно.

— Наконец-то я встретила мужчину, который увидел во мне ровню себе, слушал меня и сочувствовал. И не навязывал мне свои низменные желания. Я уже отвыкла от такого общения. Спасибо вам за это. Я тоже хочу, чтобы наша встреча стала первым звеном в долгой цепи совместной жизни. Может же такое сбыться?

— Может, — сказал он решительно. Наклонился к ней и выпятил губы. — Итак, жду поцелуя.

Она засмеялась.

— Хотите получить по полному счету? И это недавний скромник!

Она коснулась губами его щеки. Он не позволил ей отстраниться. Их поцелуй был долгим и удивительно приятным.

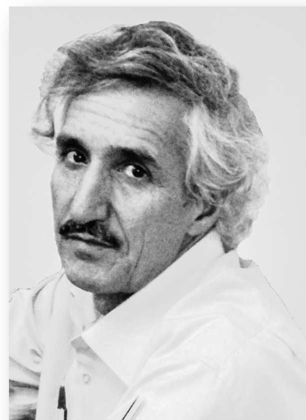
Мохсанам решительно высвободилась из его объятий.

— Мне пора, — сказала она и побежала к дому. Ее каблучки звонко цокали по тротуару.

Асхоб смотрел ей вслед с улыбкой ребенка, внезапно нашедшего любимую игрушку. Он был счастлив и не верил сам себе.

Он брел домой, вдыхал сырой воздух, напитанный множеством мельчайших дождевых капелек, и размышлял о превратностях судьбы. Он не верил в любовь с первого взгляда и попался в ее сети. Он твердо намеревался не заводить больше никаких сердечных романов, а теперь торопил наступление дня, надеясь, что он начнется с ее телефонного звонка. И еще Асхоб знал одно — он сможет написать отчет о студенческой конференции так, как надо. Это будет острый и проблемный материал, в котором автор опровергнет утверждения скептиков об отсутствии в нынешнем мире настоящей любви.

Перевод с таджикского Леонида ЧИГРИНА.



Низом КОСИМ

Улица вечности

* * *

Мой отец день и ночь молился,
чтоб у его детей
не было военного детства.
И его
у нас не было.
У меня не было военного детства,
я
не знал никогда —
что это такое.
Я жил в покое.
Поэтому я не молился,
чтобы
у моих детей
не было военного детства,
и у них
стало военное детство.
Дети мои,
помолитесь,
чтобы у детей ваших
не было военного детства,
и,
верю я,
этого у них
не будет.

Перевод с таджикского автора.

Одной бухарской девушке

Зарафшон свои воды несет к Бухаре,
так душою к тебе, о печаль, я стремлюсь!
Ты ее переполнила, право, скорей,
чем тебе я успел затвердить наизусть.

Далеки времена, что была ты моей,
Но в душе моей все мы вдвоем.
Только путь мне заказан к калитке твоей, —
Так мы горечь тоски познаем.

Далеки времена, что моей ты была,
не годы,
а века пронеслись,
как стрела…

Я и рад бы тебя позабыть навсегда,
да не выйдет —
твой образ ничем не стереть.
С обезумевшим сердцем что делать,
когда
Зарафшон свои воды несет к Бухаре?..

* * *

Снег —
редактор печальных стихов осени —
вписал этой ночью
свои в Книгу времени.

Там каждая дорога — невидимая строка,
каждое дерево — лишний восклицательный знак,
припорошенные пригорки — непрозвучавшие рифмы,
там реки подобны безжизненным строкам,
ручьи — тоже как строки, но сухие,
все достоинство которых — в их невыразимой скуке.

Прошлой ночью
в раскрытой тетради окна
железнодорожная колея оказалась несравненным бейтом.
Нынешней ночью редактор-снег
безжалостно вычеркнул его,
не в силах осознать главного:
настоящий стих — это
и грузовая магистраль,
и средство достижения человеком цели.

Листая страницы монотонных белых стихов
Снега,
вглядываясь в снежную пелену, —
многословный поэт в своих творениях таков, —
мечтаю о настоящем поэте,
представляю себе желанные строки весны.

Он придет непременно, этот новый поэт,
с новым виденьем чистого мира,
и стихи его будут совершенны и желанны.

Невидимые дороги —
тайнописью начертанные строки — сделает зримыми;
замерзшие реки —
эти застывшие строки — сделает текучими.
Замшелому ретрограду
вернет, наконец, ощущение жизни,
сделает молодым…

Перевод с таджикского Виктора ЗУЕВА.

Мать

Пряди волос твоих белых спасут нас от бед,
Сделают сердце любое добрей и теплей.
Словно планету от тьмы очищает рассвет,
Ты заставляешь очиститься души людей.

Целые страны зря ото сна подняла,
Люди встают, и весь день их заполнен трудом.
Старшие встанут и младшие, оставив дела,
Если, подобная утру, ты вступишь в наш дом.

Светлое утро вручает удачу на день.
Рано встающим везет — так везде говорят.
Утро седых твоих прядей над нами, как сень, —
Значит, мы с тобою удачливей прочих в сто крат.

Мир бесконечен,
Мы славим тебя лишь одну.
Нет ничего драгоценней.
Поклон тебе, мать.
Вспомнив тебя и святую твою седину,
Встанем с почтением,
Мы просто обязаны встать.

* * *

Мой путь — поэзия.
Сейчас
Она влечет меня к тебе,
Любить тебя дает приказ.
Ты — главное в моей судьбе.

Разбилось сердце.
И напор

Стихов я удержать не смог.
Не ведал я до этих пор,
Как яростен любви поток.

Мои стихи — как колея
(Иди ко мне, иди по ней),
Как провода (пусть речь твоя
По ним течет ко мне скорей).

Взяв ручку, становлюсь я пьян —
Ведь ты в любой строке живешь:
На твой прямой и гибкий стан
Знак восклицательный похож.

Листы тетради —
Белизну
Лица напомнили они.
А на чернила я взгляну —
Они как волосы черны.
Писала не стихи рука —
К твоей душе искала брод.

И лучшая моя строка —
Дорога, что к тебе ведет.

Перевод с таджикского
Сергея НИКОЛЬСКОГО.

Улица вечности

Памяти Героя Советского Союза
Домулло АЗИЗОВА

Мама, душа моя, здравствуй, кровинку родную, меня, ожидая,
Ты все глаза проглядела и боль мою чувствуешь, знаю;

Богу известно, как я по тебе, по глазам твоим добрым скучаю,
В лицах других матерей образ твой светлый ищу и найти я пытаюсь;

Сердцем я вижу: матери все на земле одинаковы, схожи друг с другом,
Где бы то ни были — в мыслях о чадах они ни на миг о них не забудут.

Твердо решил потому: до Победы сражаться я буду,
Чтобы, родная, мной могла ты гордиться повсюду.

Из Беларуси пишу тебе, милая мама, далекой,
Не описать ее боль, а напишешь — в золу обратятся все строки;

Сказкою, раем земным белорусская слыла страна,
Славилась добрым, сердечным, открытым народом она;

В пламени адовом злобы врага теперь бьется народ,
В скорби сгорает, и боль его сердце мне жжет…

С братьями против врага мы сразимся в бою беспощадном
Вместе, единые в помыслах, в ногу шагаем мы рядом.

Сердце таджика и белоруса связал этот праведный бой,
С подлым врагом буду биться, дороги не знаю иной!

Чащи лесные от края до края зеленой листвою меня защищают,
Деревце каждое, словно сестрица, оберегает.

Искренний, чистый душою народ и страну его чтоб сохранить,
Ради свободы и счастья не пожалею, отдам свою жизнь;

Ради детей, матерей белорусских готов умереть я, коль надо,
Кровью своей расплатиться в сраженьи за правду…

…Вот уже минуло, мама, лет шестьдесят с той поры,
Вновь этот мир бесконечный зеленым цветеньем покрыт;

Сын твой, о мама, верным остался данному клятвенно слову,
Прах свой смешал он с землей белорусской,
навечно ушедши в безмолвье;

Нет, не ушел в неизвестность, проспектом в столице восстал,
Улицу именем славным героя народ благодарный назвал;

Улицей этой к верности, счастью, любви и покою дорога ведет,
К мужеству, братству она поведет поколенья вперед;

Улица эта научит сердечности, новым свершеньям совместным;
Памятник верности Родине, подвигу вечный;

Этим проспектом я начал свой путь в Беларуси весенней,
В Таджикистан приведет он, в родимый мой край непременно;

Этот проспект начинается с верности клятвы,
С вечною жизнью соединенье — в его завершенье.

Перевод с таджикского Нори РАББИМДУХТ.

ФАРЗОНА

Здравствуй, любовь!

Письмо в будущее

Итак, к моим слабым волосам,
Утерявшим свою прежнюю пышность,
Прикрепляю заколку с бантом и в таком виде,
Вызывающем насмешку,
Вхожу в новый век —
Навстречу будущему, компьютерная память которого,
Не знаю, чьи стихи запомнит,
Навстречу будущему, которое, надеюсь,
Снова в глазах какого-нибудь человека
Зажжет искру сердечности,
Снова в душе какого-нибудь мужчины
Родит мужество,
Снова в зеркале явит добро,
Снова в каком-то сердце появится
Истина красоты.
12 часов. Наступает новое тысячелетие.
Как прекрасен полет золотых фейерверков
В небе лазурном!
Многомиллионнолетнее небо,
Как новорожденный младенец,
Равнодушно к приходу нового тысячелетия.
Юные девушки цветущую юность свою несут
Этой ночью к центру города,
К огням,
К празднику елки,
К прекрасному блеску.
О, исстрадавшиеся сердца!
Вы слышите звуки шагов будущего?
Освободитесь от мрачной действительности!
Старая женщина,
Европейка с тележкой навоза,
Идет из двадцатого в двадцать первый век.

Ребенок ходит по улицам,
Продавая в такой холод мороженое.
Нищий со своими пустыми просящими руками
Вступает в новый век,
Нищий, который в этом веке, возможно,
Станет шахом или же по-прежнему останется нищим…
Один бедный мужчина спешит домой, и может, впервые
Несет своим детям торт.
О брат!
Пусть твои мысли плывут в цветах,
Пусть этот маленький безгрешный торт
Сладкой сделает жизнь —
И твою, и людей мира…
Прощай, ты в старом веке осталась,
О моя прекрасная юность!
Рассветы благоухающие,
Вечера в пышном цветении деревьев.
Воспоминания, наполненные ароматом сирени…
В написанных песнях осталась ты,
О любовь, сладкий трепет души моей…
Прощай, красота и привлекательность,
О фея, сидящая на вершине чистоты!
Мои благословенные дочурки,
В ваших лицах весна сверкает свежестью.
Я целую ваши наивные глаза.
Из уважения к вашему детству,
Из уважения к величию матери,
Из уважения к каждому, кого люблю,
Приветствую жизнь!
Снова плачу. Снова смеюсь.
Свое маленькое пылающее сердце
Повешу на елку —
Росинки своей жизни свяжу
С новой жизнью, с океаном будущего.
Прощай, о любовь!
Нет, не хочу прощаться с тобою.
Здравствуй, любовь!
Здравствуйте, дорогие глаза,
Подарившие моим глазам
Самый прекрасный взгляд;
Здравствуйте, дорогие руки,
Поддержавшие мои руки,
Чтобы я свою древнюю и усталую сущность
Донесла до нового века.
Здравствуй, дорогой друг, ожидающий у порога будущего,
Здравствуй! О, твой благословенный привет —
Песня грядущего…
Итак, к локонам своим я прикрепляю заколку с бантом

И иду
К простору нового тысячелетия.
Письмо с приветствием светлому утру у него в руке —
Итак, в ожидании меня вестник,
У ворот стоящий.

Провозвестник рассвета

Птичка в часах выскочила из дверцы:
— Ку, ку, ку.
Дети радовались. Я же вздохнула.
Ох, месяц март! Почему голое дерево
Так равнодушно к твоей ласке,
Почему на поцелуй солнца
Не отвечает весенним приветом,
Почему не чувствует, как под корой
Ползет муравей?
Нет, нет. Я не похожа на это дерево.
Мое счастливое лицо ощущает вкус весны
От поцелуя маленьких губ…
Шохонаджон, дочь моя, иди же сюда,
В сладком рассвете
Будем печь торт
В честь рождения яблоневых цветов.
Видишь, придут сюда ангелы
И серебряные крылья свои
Подарят яблоневому деревцу,
И в зале без потолка —
Нашем дворе —
Будут слушать музыкальную программу птиц.
Сегодня весна вспомнит, что она — весна.
Сегодня день бунта семян во чреве земли.
Один цветочек, один цветок заката и рассвета,
Один вьюнок — источник всего прекрасного.
Сегодня я хочу упрекнуть ручей:
«Почему ты, что чище всех, взволнован так
Лаской солнца?»
Сегодня птичка из часов уснувшего сердца
Снова запоет: «Ку, ку…»
Мать говорит:
— Полюби слово «благодарность»,
Вершина счастья — это смех детей
И умение быть таким,
Чье присутствие рождает радость в сердцах…
Моя мать — провозвестник восхода.
Из ее нежных рук
Рождается музыка рассвета.

В ее много видавших глазах
До сих пор живет вера в будущее.
До сих пор она верит, что жизнь прекрасна,
Что лучи из окна снова озарят мир,
И благородные мужчины, как отец, еще есть,
И угнетатель придет к угнетенному с ворохом извинений,
А богач подарит сироте жемчужину слез,
Немой, что молчал сто лет, внезапно заговорит,
И старый паралитик встанет с места…
Любовь, подобно ласточке,
Снова улетает от забвения
И свивает гнездо на потолке сердца.
Через занавес памяти мать вспоминает:
— Твой отец в день нашего знакомства читал стихи Гейне,
Сура благословения любви была такой.
Я тоже сегодня хочу читать стихи…
Чей это голос…
Чей голос, который я слышу глазами?
Это чихнул цветок яблони. Будь же здорово ты,
Дитя весны!
Чей это голос…
Может, это голос взгляда солнца
На смущенный розовый цветник?…
Может, это удары пальцев незнакомца
О хрусталь моего сердца?..
Открываю книгу предсказаний Хафиза,
Он отвечает:
«Пришла весна, и ты стремись к радости,
Ведь снова придут весны, зацветут цветы,
Но ты будешь под землей».
О священное слово! О глас Бога!
Разбереди мое сердце и стань вестником тайной любви,
Стань счастливым посланцем
Любви моей к миру!

Перевод с таджикского Бароат ХАДЖИБАЕВОЙ.

Абдулхамид САМАДОВ

Конь уходил…

Рассказ

Он был заядлым лошадником, сколько и каких только лошадей не побывало в его руках! Но его сердце завоевал серый конь в яблоках, которого он полюбил, как жену и детей, друзей и товарищей. Конь стал ему лучшим другом, дороже жизни. И в те дни, когда он шел без коня, пешим, он чувствовал себя усталым и потерянным, ничего и никого не видел вокруг. А в душе вновь и вновь повторял: «Конь для мужчины — его крылья, сила его и мощь». Жеребец был резвым, любил играть со своим хозяином. Увидев его издали, конь оживал, расцветал и начинал перебирать ногами, стуча копытами, опускал уши, тряс гривой, кружился, касался губами его плеча ласково покусывал его ладони, выражая тем самым свою любовь. В такие минуты человек от счастья забывал обо всем на свете, его сердце наполнялось гордостью, он ликовал. День ото дня жеребец становился красивее, мужал на глазах. Все вокруг любовались его статью, иноходью, ему не было равных на скачках. И стар, и млад с завистью и восторгом говорили: «Вот это конь! Какой красавец, цены ему нет! А хозяин жеребца — настоящий счастливчик. Каков мастер, а? Такого скакуна воспитал!» Словно чувствуя и ловя на себе эти восхищенные, иногда завистливые взгляды, слыша комплименты, он начинал играть густой, шелковистой гривой, длинным хвостом, склонял чуть набок мощную мраморную шею, гарцевал особой поступью, плавно и мягко неся своего хозяина.

Во время козлодрания у жеребца, казалось, вырастали крылья, он летал, грозно и звонко ржал, иногда кусая мешающих ему скакунов, извиваясь, как змея, и с триумфом выводил своего хозяина вперед, к победе. В такие минуты радостные крики и восклицания взмывали над полем, в то же время зажигая в сердцах злопыхателей и недругов ненависть, зависть и желание выместить на скакуне и его хозяине свою злобу. На самом деле, из-за этого красивого и сильного рысака у человека появилось много друзей, но еще больше врагов, которые были готовы убить, уничтожить скакуна. В самые неожиданные моменты, когда наездник, натянув поводья и неистово пришпоривая коня, с криком, угрозами и огромным трудом старался прорвать кольцо озверевших игроков, недруги преграждали дорогу его скакуну и исподтишка били того по морде каблуком сапога или рукоятью нагайки, норовя выбить из строя, заставить отстать, обессилеть от ударов и толкотни, не позволить донести тушу козла до финиша. Но не тут-то было! А мужчина бил себя кулаком по колену и потирал вспотевший лоб жеребца или, прильнув грудью к шее скакуна, обессиленно наваливался на него, смеялся ему в ухо, продолжая с любовью поглаживать вспотевший лоб животного. Скакун, вздохнув спокойно, кусал удила.

Зависть и ненависть людскую порождали сила, ловкость, слава жеребца и мастерство наездника. Стоило им победить на каком-либо состязании, как все кругом начинали хвалить их, а завистники умирали от бессильной злобы.

Как-то давний друг мужчины попросил продать ему скакуна.

— Продать? Нет, не продам, — сказал он. — Лучше убей меня и забери его!

Друг не отставал. При каждой встрече все настойчивей просил продать иноходца. Несколько лет он изводил мужчину своей просьбой, осточертел ему своей наглостью.

— Какой же ты наглец. Пристал, как репей. Даже клещ так не присасывается, как ты. Хочешь?! Забирай! — в сердцах сказал он.

Его поступку поразились даже враги, а доброжелатели призадумались.

— Дурак, пожалеет еще, — говорили они. — Он никогда не сможет больше найти другого такого скакуна.

— Этот нахал заморочил ему голову, заколдовал словно. Достал его вконец.

— Может, и так… Но у него характер такой. Если попросят о чем-либо, отдает не задумываясь… Щедрый.

— Не-ет, этот его поступок — это потеря удачи и счастья. Ведь такой конь считается гордостью настоящего мужчины!.. Странно, кому он сделал назло? Говорят же, цыган сердится — себе вредит.

— А еще говорят: «Дружба дороже денег».

— Э-э-эх, алчный, корыстный человек не может быть другом.

— Коня можно купить всегда, но друга найти ой как нелегко. Говорят же: «Потерял друга — голову потерял»…

Молодой мужчина оседлал скакуна и привязал к приколу в центре двора. Жеребец стал скакать галопом вокруг привязи, как в первый раз, когда его вывели на свет из темной конюшни на открытый воздух, грозно заржал, встряхнул густой шелковой гривой и хвостом, с тревогой, грустью и мольбой оглядев молчаливо стоявших поодаль хозяина и членов его семьи. Хозяйка поднесла к морде жеребца полный поднос овса, дабы тот в последний раз поел домашней пищи. Такое правило у нее было: лошадей, которых муж собирался продавать, на прощание кормила. Этим жена исполняла и свой человеческий долг, и душу отводила, облегчала. Но жеребец только понюхал овес, а есть не стал, лишь вздохнул глубоко и горько. Словно говоря, что не станет есть овес предавшего его хозяина. Блюдо в руках женщины и голос ее задрожали.

— Догадался, умница, обо всем и обиделся, до глубины души обиделся, — сказала женщина, и слезы потекли по ее лицу. — Раньше, увидев меня издали с овсом, начинал резвиться… Не отдавай коня, не терзай мне душу. Он для нас как талисман удачи и счастья. Не отдавай…

Мужчина криво улыбнулся. Нет, это была не улыбка, а нервный тик. Он побледнел. Вспомнил, как в первую брачную ночь сказал жене: «Я тебя прошу об одном: если хочешь, чтобы я был доволен тобой, хорошо ухаживай за моим конем. Пусть я буду голодным, но он — никогда».

«Я боюсь. А вдруг он лягнет меня?»

«Не бойся, он смирный и умный, никогда не обидит мою любимую женщину, — ответил тогда мужчина. — Погладь его лоб. А когда подаешь воду или корм, поглаживай шею, гриву. Увидишь, как он привяжет-

ся к тебе, станет родным, как брат. Лошадь — одно из самых преданных животных».

Молодая женщина встала рядом с мужем и с опаской, нерешительно прикоснулась ладонью к лошадиному лбу. Конь стоял спокойно, не шелохнувшись и ровно дыша. Женщина гладила и чесала лоб и шелковую упругую шею. Вдруг увидела в зеркале глаз коня себя и прижавшегося к ней мужа. Так они стояли после никох — бракосочетания за свадебным пологом.

Сердце девушки колотилось в бешеном ритме от волнения и ожидания неизвестности, когда к ней завели жениха, с шутками-прибаутками заставили взяться за руки и смотреть в глаза друг другу, поднесли к ним зеркало. И в тот миг, когда они увидели в нем свое отражение, девушка зарделась от стыда, задрожала, как напуганная лань, в больших прекрасных глазах стоял немой вопрос. Жених внешне казался спокойным, он с улыбкой, смущенно смотрел на невесту.

И вот теперь они снова увидели друг друга в зеркальном блеске лошадиных глаз…

В первую брачную ночь парень рассказал невесте притчу о мужчине, который был таким же заядлым лошадником, как и он, любил своего коня больше всех на свете. А жена его от ревности отравила коня.

— Вот подлая, коварная! Разве может женщина быть такой безжалостной и беспощадной? И как наказал ее муж?

— Никак…

— Почему? Выходит, он не любил коня от всей души.

— Не-ет, любил. Но ведь и жена была влюблена в него до безумия…

— Да-а-а… Оказался меж двух огней…

— Именно так… После гибели коня мужчина потерял всякий интерес к жизни. Долго скорбел по нему, затворившись в четырех стенах. Потом выстругал из дерева музыкальный инструмент наподобие гиджака, колки и корпус которого напоминали голову прекрасного коня… Всю оставшуюся жизнь он сочинял и играл на нем грустные песни в память о своем ушедшем друге…

— Он тебя задурил, что ли? Очнись, не отдавай коня! — решительно сказала ему жена, глядя на полные грусти глаза жеребца.

— Я до сих пор еще ни разу не менял своих решений! — взревел муж, быстро отвязал коня с привязи и, не оглядываясь, двинулся к воротам.

А во дворе начался переполох: жена с детьми плакали навзрыд, словно провожали в последний путь покойника, они смотрели на нового хозяина жеребца полными слез и ненависти глазами. Конь вначале грозно заржал, затем захрапел — словно заплакал. Мужчина вел его под уздцы до подножия гор, шел, опустив голову. И когда отдавал поводья другу, заметил, что скакун спокойно, будто окаменев, опустил голову и стал нюхать землю, нет, скорее горько вздохнул, а из глаз, полных горя и печали, стекали крупные слезы. Это увидел только его хозяин, глаза которого тоже помутнели от слез.

— Забери седло и все его снаряжение, — сияя от свалившегося на его голову счастья, с волнением воскликнул его друг. — Пригодятся еще…

— Не нужно. Они для него сделаны…

Друг его переменился в лице, заволновался, словно нашел клад с несметным богатством, дрожащими руками схватил поводья, голос стал хриплым, глаза забегали — смотрел то на мужчину, то на коня. И словно боясь, что тот может передумать и отнять свое сокровище, торопливо сунул ногу в стремя, вскочил, словно кошка, в седло и, не попрощавшись, даже не поблагодарив, пришпорил коня. Скакун обезумел от неожиданности. Взвился на дыбы, пронзительно и мощно заржал. Это ржание было болью от измены, несправедливости, крик и вопль протеста. Затем стал неистово бушевать, глаза стали безумными, два-три раза поднялся на дыбы, с диким визгом и ржанием стал лягаться, закружился, словно в водовороте, уткнулся мордой в землю. Видимо, решив таким образом сбросить с себя этот позорный груз и чучело кабалы. Из-под его копыт полетели комья земли. Но всадник, словно клещ, прилип к седлу, безжалостно дергал удила, норовя разорвать коню губы, чтобы тот почувствовал силу наездника, смирился и покорился ему. Иноходец совершенно обезумел от грубости всадника: так дико, не по-человечески с ним никогда еще не обращались. И до сих пор ни одна чужая нога не ступала в его стремена.

Бывало, когда молодой хозяин с плетью за поясом вел его под уздцы, душа жеребца пела и ликовала, он весело ржал, подняв голову к небу, прикасался губами к хозяину, ласково покусывал плечо. А тот оборачивался и с любовью смотрел на жеребца, поправлял ремни, подпругу и крепления стремян, гладил его по холке. Конь тут же прижимался к хозяину.

Довольный и счастливый сметливостью своего питомца, хозяин легко вдевал ногу в стремя, птицей взлетал в седло и ласково похлопывал коня по шее. Зачем послушному коню плеть? Ни к чему. Хозяин огревал его плеткой только в самые трудные моменты во время козлодрания. А так ему было достаточно одного лишь намека, движения, чтобы он пустился галопом с места в карьер, гарцуя с равномерным топотом копыт на радость всем односельчанам.

Но сейчас всадник жестоко и больно хлестал скакуна по шее, крупу и бокам. От ударов и свиста нагайки у хозяина заложило уши. Словно хлестали не коня, а его самого. Он скрючился, сжался и прикрыл глаза руками, чтобы не видеть мучений своего любимца.

— Эй, ты, зверь, урод! — заорал он. — Не смей бить коня!

Услышав голос хозяина, скакун в порыве неистовства захрапел, взвился на дыбы и с грозным ржанием повернул голову, посмотрел на хозяина обезумевшими, наполненными кровью и обидой глазами. В его взгляде стоял немой укор, словно он хотел крикнуть: «Кому ты меня отдал, о мой друг?! За что!?»

Конь взмок от пота, с губ стекала кровавая пена. Сердце хозяина готово было разорваться от укоряющего взгляда, молящего ржания скакуна, от свиста нагайки. Он кинулся было за конем и его всадником: так велико было желание догнать их, поймать и скинуть наездника наземь. Но увы! Силой шпор и нагайки тот погнал скакуна уже слишком далеко. Хозяин терял силы и еле держался на ногах, все нутро его горело от презрения к себе и позора. Словно птица, у которой подрезали крылья на лету, он сел на холодную землю, опустив бессильно и виновато голову.

«Эх ты, дурень безмозглый, кому и что ты хотел доказать? И что из этого вышло?» — шептал он сквозь слезы. В его ушах звенел душераздирающий хрип-ржание скакуна, перед глазами стояла дорога, уходящая вдаль, и поднятая высоко рука всадника с нагайкой.

С болью в сердце несчастный стал молить Бога, чтобы скакун сбросил с себя наездника, сломал ему руки и ноги — только такого заслуживает безжалостный изверг! — и вернулся к нему. Ох, если бы чудо свершилось! Он бы упал перед конем на колени, целовал бы его копыта, обнял за шею, расцеловал глаза и, прильнув головой ко лбу, горько плакал, вымаливая прощение. И пусть при этом конь укусит его, не ласково и с любовью, как раньше, а с ненавистью, сильно, за плечо или руку. Не беда. Пусть оставит на его теле метку, отпечаток совершенного его хозяином предательства. Но нет, конь уходил все дальше и дальше. Глаза уже с трудом различали силуэт всадника и скачущего прочь коня. Боль и горечь навалились на несчастного тяжелой ношей, превратились в скорбь, скорбь по утере того, кто был его силой и славой, скорбь от осознания того, что друг на деле оказался не другом, а смертельным врагом…

Конь уходил, а из глаз мужчины стекали горькие слезы, плечи его мелко тряслись. Откуда ему было знать, что на тропинке у самой пропасти скакун уже вырвался из плена изверга и, свободно и гордо, как ветер, летел к дому, где его ждали внимание, любовь и забота всех жителей, и перед глазами скакуна стояли полные горя и печали глаза хозяйки, детей, которые, возможно, просят Всевышнего возвратить им украшение их двора и крылья хозяина дома…

Перевод с таджикского Комиламо КАМОЛОВОЙ.

Гулназар КЕЛДИ

Есть преданье старинное...

Старая мельница

Ты молчишь, как старуха:
она — все одна да одна,
в тихих сумерках сядет,
вся жизнь ей сквозь слезы видна.
Что теперь о судьбе,
что теперь об удачах скорбеть?

Не скрипит колесо,
зеленеет,
как старая медь.
А когда-то оно
так вращалось и пело оно,
словно было оно
колесом и судьбы
заодно,
словно горцу оно
утешенья шептало слова,
чтоб его,
как зерно,
не смололи потерь жернова.
Век прошел в суете,
все, бывало,
кружись да кружись!
Ты с водой ледяной,
ты дружила с рекою всю жизнь,
чтобы добрых людей
согревало пекарен тепло,
колесо твое шло,
а куда оно, бедное, шло?..
Не спала до утра —
клокотала,
скрипела всю ночь:

так хотелось тебе
этим людям усталым
помочь,
детвору накормить —
выше не было в мире забот:
детства малый ручей —
он, как в море,
впадает в народ.

…Деревянная мать —
для сирот отшумевшей войны,
твои руки всегда
были смолотым солнцем полны.
Что там Мекка,
когда есть священное слово:
мука,
и паломники шли,
из далекого
шли
кишлака…

Ты теперь не нужна,
каждый дом теперь
радостью сыт,
и никто на тебя
с ожиданьем теперь не глядит,
и ночами в окне,
не горит теперь лампы огонь,
и повисло теперь
колесо,
как пустая ладонь.

Я хочу,
чтобы стих поднимался
с любого листа,
и вращался,
и пел
наподобье того колеса,
чтобы строчка — текла,
как муки вседержавная нить.
Брось под жернов судьбу!
Стих — он тоже умеет кормить?

* * *

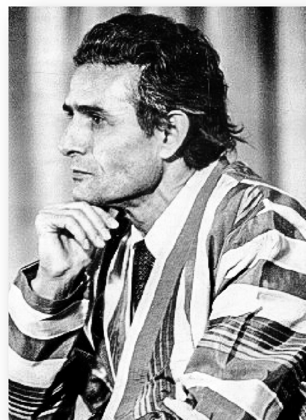
…Есть преданье старинное,
Вняв звону струн,
я в стихах передам его.

Это давнего времени явь,
Повествует о давнем —
предание.
…Горец,
гор неприкаянный сын,
нищий, голый
(лишь посох был с ним),
после долгих скитаний за счастьем
вспомнил мать,
и как будто
сквозь сон —
звон ручья
(в тихой памяти он
чуть звенел,
как браслет на запястье),
и запел:
— Заклинаю того
(пел со стоном,
тоске своей вторя),
кто отчизну покинет, —
его
ждут в изгнании
слезы и горе…
А другой,
как печально гласит
достоверное это преданье,
тоже нищ
и надеждой лишь сыт, —
он за золотом шел,
пропадая
на чужбине —
за темною далью…
…Камень родины —
понял с тоской, —
тот, что даже у всех
под ногами,
лучше (понял), чем тот, золотой,
мною так и не найденный
камень…
И о третьем,
еще об одном —
эта повесть старинная.
Третий
в иноземном селенье чужом
осознал
перед самою смертью:
— …На чужбине любой —
только гость.

Как хотел бы я лечь, умирая,
в мою землю,
как падает горсть
из ладони семян золотая…

…Я поэт.
Собиратель крупиц.
Стол похож
на звенящую драгу.
Сколько нужно,
чтоб стих,
уступив,
чистым золотом
лег
на бумагу!
И нежнее,
чем шепот и шелк,
тверже, чем
драгоценнейший камень,
слово есть, —
о, его я нашел
в каждом вздохе
народных преданий.
Это слово:
«отчизна».
На нем —
в строчках
держится
все мирозданье.

Перевод с таджикского Сергея КОРНЕЕВА.



Мумин КАНОАТ

И мир поэзии проснулся

Любовь матери

Где-то детство
волною качает
мое вдохновенье,
Блестки солнца сверкают
И грани волны серебрят.
И планета моя,
Та, что в детстве звалась колыбелью,
Ярким солнцем заполнена,
Словно восход иль закат.
По утрам, словно солнце,
Над тесной моей колыбелью
Милой мамы лицо
Восходило всегда надо мной,
И слова ее лились
Протяжною, ласковой трелью,
Западая мне в душу,
Как в окна
соцветья
весной.
А когда я подрос,
Вылез я из своей колыбели.
Мне хотелось туда, где качает вода облака.
А когда я пошел
Не спеша
по стене,
еле-еле,
Мне поддержкой была
Также крепкая мамы рука.
И тогда-то я понял,
Увидев любви восхожденье,
Что любовь — это солнце,
Которому нужен простор…

Где-то детство
волною качает
мое вдохновенье,
Словно солнца лучи
Над высокими пиками гор.

Устод Рудаки

О, каждый вздох, что был рожден твоею грудью,
израненной душой, больного сердца глубью,
стал песнею — и мир поэзии проснулся,
и мир людей — рекой под ветром — встрепенулся!
Стихи вошли в сердца, и в души, и в зеницы,
их люди занесли на вечные страницы:
старейшую раскрыть из лучших книг планеты -
твои ученики доныне все поэты!
Живет твой каждый вздох, страницы согревая,
И каждая из строк — твоя душа живая,
твой голос, твой напев, твой пыл, твое горенье -
благословляют нас на новые творенья!

Перевод с таджикского Олега ДМИТРИЕВА.

Любовь

Придет любовь, огнем спалит,
Но жажду сердца утолит,
И настигает на пути
Того, кто пробует уйти.
Сказал бежавший от огня:
«Спокоен я!»
Друзья, он лжет!
Огонь любви страшней вдали,
Вдали стократ сильней он жжет!

Перевод с таджикского Елены ПЕТРОВОЙ.

Джума КУДДУС

Красный рубин и черная страсть

Рассказ

Братья Абуилёс и Латиф занимались торговлей в Бактрии, вместе переносили все невзгоды постоянных путешествий по чужим странам, горным тропам и джунглям, кишащим разбойниками. Они были честны друг с другом и все делили по-братски, благодаря чему их богатство все время росло. Латиф не стремился к богатству, а Абуилёсу все было мало. Более того, он завидовал младшему брату и считал, что тому досталось большая часть наследства и лучшая половина отцовского дворца. А жена брата Нозанин, которая была молода, горда и думала только об украшениях, — лучше и красивее, чем его жена. Деверь Абуилёс еще и подливал масла в огонь ее страсти:

— В древнейших книгах умнейшие из умнейших ученые писали, что бирюза и рубин приносят счастье своему обладателю. Если человек смотрит утром на них, целый день настроение будет хорошим. А женщина, у которой есть бирюза, будет счастливой матерью и иметь много детей.

Санам, жена самого Абуилёса, не согласилась:

— Еще в пятнадцать лет отец подарил мне перстень с бирюзой, прошло десять лет, но счастье вижу только во сне.

Нозанин разозлилась и потребовала:

— Вот видите, у Санам есть бирюза, поэтому каждый день ее копилка пополняется, у нее дочери и сын. А у меня нет ни бирюзы, ни рубинов — нет и детей. Хочу красный бадахшанский рубин!

Абуилёс с укором посмотрел на брата.

— Как так? При твоих-то возможностях.

Тогда Латиф купил в Пешоваре очень дорогой рубин. Но тот оказался фальшивым.

Знающие люди посоветовали:

— Идите в Таджикистан, на Памир. Это рядом, не больше ста километров. Там идет война, разруха, поэтому можно приобрести бадахшанский рубин за бесценок.

Итак, братья с двумя слугами тронулись в путь. В первом приграничном селе к ним присоединился бадахшанский ювелир Надир. Он посоветовал идти дальше, к горе Кухи-Лал, что в переводе значит — Гора Рубина.

— Мошенников много, а настоящий рубин найти — большая удача.

— А сколько он стоит? — как всегда поинтересовался ценами Абуилёс. — Не выйдет так, что ворота обойдутся дороже, чем сад?

— Нет, — успокоил Надир. — В 1990 году, перед распадом Советского Союза, за карат неограненного рубина давали 56 рублей, а после обработки в

Москве он уже стоил 816 рублей. Как видите, мало было толку от этого богатства местному населению. А сегодня камень можно купить за 300—400 долларов.

Беседа сокращает дальнюю дорогу. Надир много рассказывал гостям о Памире.

— Говорят, там есть целебные источники, — поинтересовался Латиф.

— Да, Ходжа Оби Гарм, Гармчашма, Оби Гарм, Шохамбари, Хирманак и другие. Подобных им нет во всем мире. А источник Фатима и Зухра дает женщинам силу материнства.

— Надо отвезти туда твою жену, — заметил Абуилёс.

Но Латиф промолчал. Он не хотел говорить об этом. Ведь сама Нозанин пока не спешила обременять себя заботами о ребенке. Поэтому изменил тему:

— Вокруг столько красивых гор. Когда же мы увидим Кухи-Лал?

— Завтра…

На следующий вечер путники увидели вдали большую вершину, испещренную маленькими тоннелями, похожими на норки птиц.

— Вот это и есть Кухи-Лал, — сообразил Абуилёс.

—Да, — подтвердил проводник Надир. — В народе говорят: Кухи-Лал — нога рубина, Ямчун — голова рубина, Сумлин — сердце рубина. На соседних вершинах тоже найдены драгоценные камни. Это и есть ваша цель. Пойдемте в селение Бошгумбез. Поищем там добытчиков рубинов.

В честь гостей издалека сельчане устроили настоящий памирский пир с песнями и плясками. Несмотря на лихие военные годы, дастархан был уставлен яствами. Сидели они под большим деревом, спелые абрикосы которого касались земли, а рядом текло сразу несколько горных ручьев. Гости приятно удивились:

— Воистину, это райский уголок … — повторяли братья.

Шогулом, староста села, рассказывал о драгоценных камнях.

— К сожалению, в течение тысячелетий у Таджикистана не было хозяина. Каждый, кто мог, увозил часть богатства — нашего национального достояния. Слава Богу, наступило время независимости. Вот уже и гражданская война закончилась. Все будет хорошо.

Таджики всегда верят в завтрашний день.

— Вот, мы тоже поможем вам, — сказал Абуилёс. — За кусочек рубина дадим целое состояние, что-то вроде гуманитарной помощи…

Наступила неловкая тишина.

— До 90-го у нас была спецтехника, но потом ее увезли обратно в Россию.

— Мы заплатим достойно…

Учитывая положение односельчан, разруху и бедность, Шогулом поставил вопрос на голосование.

— Конечно, в тех местах, где не ведет разработки государство, можно поискать. Но вручную добывать рубин очень опасно.

Решили:

— Желание гостя — закон. Кто не исполнит его — не имеет чести и достоинства.

Пять человек согласились лезть в пещеру. Трое пошли к Абуилёсу, двое — к Латифу. Потом появился еще один добытчик: худой смышленый парень.

— Меня зовут Айдибек. Запишите, — попросил он.

Абуилёс посмотрел на него свысока.

— Вообще, твое имя должно звучать — Идибек.

— Нет, когда мне дали это имя, отец зарезал верблюда. Ни за что не откажусь от него, хотя оно, может быть, и неправильное.

Такой неуважительный ответ не понравился Абуилёсу, и он обратился к брату:

— Бери его, если хочешь. Мне он не нужен.

Латиф согласился.

Старейшины рода дали разрешение и попросили у Бога благополучного исхода дела.

Шесть добытчиков разошлись по разным тоннелям. Прошло четверо суток. Но никаких вестей от них не было. Жители села заволновались. Шогулом сказал:

— В длинных вручную вырытых тоннелях можно заблудиться или остаться погребенным под осыпавшимся песком, а еще может укусить ядовитая змея или скорпион.

К вечеру пятого дня из главного тоннеля вышел исхудавший, измазанный красной глиной Айдибек. Он еле двигался. Вышел на свет и упал. Парня на руках отнесли к речке, сняли пояс, одежду и обмыли. В поясе оказался небольшой кусочек красного рубина. Староста распорядился никому не отдавать его до прихода в себя Айдибека. Когда тот очнулся, спросил о других. И услышал, что вернулся лишь он.

— Проси что хочешь, но поработай на меня, — предложил Абуилёс.

— Сначала поклянись Богом.

— Клянусь. Ты только сделай. Подарю свою машину, сестру отдам тебе в жены…

— У меня только одна просьба: не заставляй больше идти в Кухи-Лал.

— О Боже, нет...

— Ты поклялся Богом. Знаешь, почему не вышли те пятеро из тоннеля? Потому что желания у тебя низменные. Черная страсть кипит в твоей душе. В старину говорили: если у человека желания черные, рубин не будет служить ему. Пусть лучше камни служат нашему народу.

— Почему так говоришь, брат? Я чист перед тобою и достойно буду платить за труд.

— Я горец, мне не нужна роскошь. Горы — мое богатство. Скалы — мой дом.

— Нет у меня плохих намерений. Поверь.

— И ты поверь. Это не я говорю. Так решила Кухи-Лал. Рубин не будет служить тебе.

— Служил же другим. Вот, Советскому Союзу...

— И что же? Недолго он прожил, сам себя съел изнутри. Вспомни, что стало с теми, кто украл наши рубины: создатель мировой державы Александр Македонский умер молодым. А имя Навуходоносора проклято навеки.

— Да, тебя не переспоришь…

Айдибек обратился к старосте:

— Бобо Шогулом, разделите деньги за этот кусок рубина на шесть частей, раздайте их родным погибших, а за мою долю устройте поминки погибшим.

Староста прослезился.

— Мы ищем драгоценные камни, но не видим под носом чистейший алмаз — истинного человека. Спасибо, Айдибек. Больше никогда не согласимся на такое.

Рано утром гости тронулись в путь. К вечеру следующего дня достигли границы. Перейдя ее, сели на лошадей. Оба молчали. Абуилёс в душе проклинал себя за то, что не смог различить настоящего добытчика рубинов.

Путь пролегал по узким горным тропинкам. Шли и ночью. Как-то раз лошадь Абуилёса остановилась и не хотела перепрыгивать небольшую пропасть. Хозяин несколько раз ударил ее и, нечаянно или специально, зацепил коня брата. Латиф дремал в седле, не смог удержаться и вместе с конем полетел в глубокое ущелье. Это произошло так быстро, что он даже не успел ничего понять…

Нозанин ровно неделю оплакивала мужа. На восьмую ночь Абуилёс зашел к ней, чтобы успокоить, и предложил:

— Выходи за меня замуж… Получишь рубин.

Недолго думала несчастная вдовушка. Она давно догадывалась о чувствах деверя. И местный закон был на его стороне. Но бес вселился в душу женщины.

— Сначала отдай рубин, — тихо произнесла она.

Абуилёс без колебаний открыл свой ларец, но вдруг замер и потерял дар речи.

Что за сатанинское превращение?

Вспомнились слова Айдибека: «Черная страсть кипит в твоей душе. В старину говорили: если у человека желания черные, рубин не будет служить ему… Вспомни, что стало с теми, кто украл наши рубины: создатель мировой державы Александр Македонский умер молодым. А имя Навуходоносора проклято навеки…»

Рубин превратился в горстку пепла. Предсказание Айдибека сбылось. Может, сам Латиф положил пепел вместо рубина. Может, слуги украли камень, а в узелок завернули золу. Это останется тайной горы Кухи-Лал...

Нозанин дала пощечину деверю и стала звать на помощь, мол, он хочет взять ее силой. Но в этом уже не было нужды. Сердце Абуилёса перестало биться. В его смерти обвинили Нозанин. Санам отомстила за мужа, вонзив в нее нож.

Все трое, желавшие получить рубин, погибли.

Перевод с таджикского Рухшоны КУДДУС.

Мухаммад ГОЙИБ

Стихи дня

Раздумья

Нет прежних тем и ценностей былых,
Холодный ветер выстудил просторы,
От нищеты свободный глас затих,
И монументы опустили взоры.

Замолкли водопады без воды,
Сады пожухли, нет без влаги силы,
Повсюду увядания следы,
И желтизна все краски оттеснила.

От воровства теперь уж нет преград,
Спит караульный, прежней нет заботы,
Торговцы обделенные вопят,
Но нет надежды, что услышит кто-то.

О каменные бьются берега
И распадаются на брызги волны,
Вражда повсюду, царствует разлад,
И гибелью до края мир наполнен.

Покоя нет нигде и никому,
Вестями мир тревожащими полон,
Вот беглецы покинули тюрьму,
И иностранец кажется шпионом.

В уединенье видится покой,
Молитвы обретают силу действий,
И верим — только Бог, никто другой,
Нас одарит и оградит от бедствий.

Свечные огоньки, как волчий глаз,
Как будто хищник кружит возле стада,
Потоком кровь повсюду разлилась,
А террористам этого и надо.

«Мигрант», — звучит сейчас со всех сторон,
Мигрантов караваны беспредельны,
И кто на жизнь надеждой обделен,
Тот в дальний путь пускается, смертельный.

Ценней воды в пустыне — горький хлеб,
Который добывают на чужбине,
Удел мигрантов — сотни тяжких бед,
Обман и униженья — дар отныне.

И даже сон не дарит им покой,
Им снятся дети, бедные, без детства,
И рад мигрант возможности любой,
Чтоб только от нужды куда-то деться.

Жестокий и такой бесправный век,
Чем защититься от его нападок?
Стал очень уязвимым человек,
И прах могильный — вот его отрада.

Мечты теперь, как капельки воды,
Перо роняет на бумагу слезы,
И там, где прежде высились цветы,
Растут грибы сухие вместо розы.

Еще, и что еще... Еще чего нам ждать?!
И в зазеркалье мы заглядываем снова,
Коль слезы даже ливнем проливать,
И то не обелить наш век суровый.

Еще, и что еще... Струят огонь слова
Нам, выплавляя золото итога:
Коль в времени поэзия жива,
Так, значит, время к ней не так и строго.

Узел

Хор сытых, обеспеченных певцов
Хвалу отчизне воздает без счета,
Но смысла нет в пустом потоке слов,
Лишь о себе их явная забота.

Другим они остатки раздают,
И горло тех не пропускает стоны,
В противоречье горестном живут,
Развяжут ли тот узел миллионы...

Газели

Мечты мои на скакуна похожи,
Не каждый всадник с ними сладить может.

Одна лишь для меня могила в мире тленном,
Мир, полный суеты, мазар обыкновенный.

Ее лукавый взор ресницами прикрыт,
И каждому свою судьбу сулит.

Костер уж догорел, он в угасанье бледном
Лишь искрами вершит свой пир победный.

Не досаждай, открытость неприятна,
Ведь каждому свое, змея змее понятна.

Лиса с ружьем и льва сломить сумеет,
Безжалостный охотник всех сильнее.

Смерть каждому в конце свою поставит точку,
Суть смерти познаем мы каждый в одиночку.

* * *

Парад, как зрелище, подумать побуждает,
Что царь свою судьбу оберегает.

Щебечет и кричит, вокруг порхает птица,
И ясно, что змея в гнездо к птенцам стремится.

Неплохо кошке с псом сдружиться, точно знает,
Случается, враги друг другу помогают.

Звеном последним цепь приходит к завершенью,
Так и бревно с петлей отнюдь не украшенье.

Стенать на зло с добром, поверьте, вряд ли надо,
Ведь всякий сад, с богатствами его, теснит всегда ограда.

В содействии любом чрезмерность не жалеют,
От множества лекарств больной сильней болеет.

Для жизни ешь, а не живи для пищи,
Потоки вод посевам явно лишни.

Перевод с таджикского Леонида ЧИГРИНА.

Аскар ХАКИМ

И с именем Отчизны

Приток

Кровь моя течет с вершины Слова,
Отражая ненаглядный мир,
Чтоб тебе, газель, пропел я снова,
Грудь мою пронзай, любимый Сир.

Как вода, замешена в которой
Глина плоти огненной моей,
Ты и впредь зеленовато-скорый
Будешь, Сир, мне прочих рек милей.

Глядя на тебя, я видел синий
Полог неба. И скрывать свои
Сны перед тобою был не в силе —
Тайные видения любви.

Мама мне кидаться запрещала
В твой поток. Она наверняка
Про любовь и не подозревала,
Что во мне металась, как река.

Дважды в год ты, Сир, как одержимый
В паводке доходишь до лугов.
Чаще я, на вид невозмутимый,
Выхожу душой из берегов.

И в мои раздумья посвященный,
Для стихов даря мне стройный лад,
Вдаль, к Аралу, искони влюбленный,
Ты с Амударьею мчаться рад.

Песнь моя, напевам вашим вторя,
Между вами держит путь земной.
Помоги ей, Сир, дойдя до моря,
Помоги остаться под луной.

Родина

Отчизну, что от предков получили
В наследство мы,
потомкам передать
Должны и в благоденствии, и в силе,
Минувшего умножив благодать.

И каждый из сынов не потому ли
Вложить обязан душу и чело,
Какие б ветры встречные ни дули,
В изящество, ученость, ремесло.

Была отчизна, есть она, и вечно
Ей пребывать,
отрады не тая,
Что счастливы семи колен
сердечно
С ее судьбой сливаться сыновья.
Мы за нее любые примем муки,
И чувства одиночества,
как мать,
Она не даст в пространственной разлуке
Ни одному из сыновей познать.

И с именем Отчизны неизменно,
Высокой преисполнены любви,
В Иране и Камол, и Авиценна
Слагали сочинения свои.

Держаться за подол ее нагорий
Стремится с малолетства каждый сын,
Чтоб, звездный отсвет отразив во взоре,
Подняться до заоблачных вершин.

И мертвого восславить, и живого
Она готова.
И, пред ней в долгу,
Через ее признание и слово
Явить себя я времени могу.

Таджикский язык

Не вечен каждый, кто имеет след,
И даже рекам исчезать не внове.
И только не покинет белый свет
Народ, запечатлевший душу в слове.

Я, смертный, рад пожертвовать собой,
Чтобы душа таилась вечно в слове.
Покуда жив язык таджикский мой,
В его груди гореть мне каплей крови.

Пока язык мой здравствует,
и я
Жить буду с соплеменниками вместе.
Мне песню даровала Сырдарья,
Чтоб выражал свой нрав я в этой песне.

Забуду ли пророчество:
«Народ
Большой иль малый, властный иль гонимый,
В подлунном мире до тех пор живет,
Покуда с ним язык его родимый».

Одолевая времени туман,
Осилить смерть я смог бы на Востоке,
Когда б в золотоносный Зеравшан
Я превратил бы собственные строки.

И если враг замыслит извести
Народ страны,
он, все о нем проведав,
Творить злодейство, как всегда почти,
Начнет с уничтожения поэтов.

И предостережение отцов
Нам вспоминать с тревогою не ново:
«Когда народ лишается певцов,
Он превращается в глухонемого».

Былое поднимает из руин
Искусный реставратор — век двадцатый.
Творения, достигшие вершин,
Нам предстают, являя дух крылатый.

Завистливым столетьям вопреки
Народ таджикский будет жить, покуда
Звучат стихи, похожие на чудо,
Царя его поэтов — Рудаки.

Перевод с таджикского Якова КОЗЛОВСКОГО.

Мансур СУРУШ

Бахрамов огонь

Рассказ

Доктору Фаридуну Джунайду посвящаю

Быстро покончив с завтраком и с тревогой поглядывая на стенные часы, я стал укладывать учебники в сумку. Мама, как всегда помогая мне, укоризненно покачала головой.

— Сколько раз можно повторять! В школу надо готовиться загодя, еще с вечера. А тебе все нипочем. Оттого и опаздываешь вечно. Вот и вчера ты весь день вместе с Шерзодом пропадал на развалинах старой крепости. И что вы ищете там?

Я только хмыкнул в ответ и, перекинув сумку через плечо, заторопился в школу. Но не успел сделать и пару шагов, как в соседнем дворе раздался шум. Было слышно, как громыхнули ведра о землю, вслед за этим раздался чей-то сдавленный крик.

— Что вы наделали, уважаемая? Вы же погасили священный огонь!

Я узнал голос постояльца наших соседей Нурбахша. Казалось, еще немного и от досады он заплачет, как ребенок.

— Откуда мне было знать?! — раздался в ответ виноватый женский голос. — Я испугалась, как бы не случился пожар.

Несомненно, голос этот принадлежал тетушке Мархабо, нашей ближайшей соседке и матери моего одноклассника Шерзода.

Движимый любопытством, я подбежал к ограде, отделявшей наш дом от соседнего, и, поднявшись на цыпочки, заглянул вовнутрь.

В глубине двора, возле небольшого флигеля я увидел тетю Мархабо с ведрами в руках. Лицо ее пылало, дыхание было порывистым. Видимо, волнение, охватившее ее, еще не улеглось.

Напротив хозяйки, широко расставив ноги и согнувшись под вязанкой дров, с печально опущенной головой стоял человек средних лет. Это и был Нурбахш.

Из открытых дверей флигеля все еще несло гарью.

Я сразу смекнул, в чем дело. Еще на прошлой неделе Нурбахш поведал нам с Шерзодом о том, что он соорудил в своей комнате домашний алтарь, в котором собирается развести священный огонь. Видимо, огонь он зажег ночью, а утром, когда пошел за хворостом, и случилась эта оказия. Заметив отсвет огня через перегородку, тетя Мархабо рассудила по-своему и тут же залила пламя водой.

…Нурбахш появился в наших краях недавно. Высокий, худой, весь какой-то нескладный, по-детски трогательно-беспомощный, он излучал добродушие и вместе с тем скрытое лукавство, придававшее ему неповторимое обаяние.

Тетушка Мархабо, добрая душа, согласилась сдавать пришельцу свой пустующий флигель.

Поговаривали, что Нурбахш ученый и под развалинами старой крепости на окраине нашего селения ищет следы духовной жизни далеких предков. Правда это или нет, никто точно не знал. И все же Нурбахш каждый божий день выходил за околицу, бродил в одиночестве и почти ни с кем не общался. Вернувшись домой, он, облачившись в белые одежды, подолгу молился на понятном только ему языке. Но несмотря на все его странности и чудные манеры, тетушка Мархабо была довольна своим постояльцем. Тихий, непритязательный, он, хотя тетушка Мархабо и не требовала никакой мзды, исправно платил за жилье, а в свободное время помогал Шерзоду готовить уроки.

Однажды, когда мы возвращались из школы, Шерзод рассказал о том, что Нурбахш собирается в горы для сбора травы, из которой изготавливают хаому. Я спросил, что это такое и для чего она предназначена. Но Шерзод, как ни старался, не смог дать вразумительный ответ. Видимо, он и сам до того ничего не слышал о хаоме.

Следовавший за нами двоюродный брат Шерзода Далер, который в том году заканчивал школу и был очень начитан, иронически заметил:

— Эх вы, неучи. Знайте же, что ваш Нурбахш последователь Зардушта[1], или проще говоря, зороастриец. Этой древней религии когда-то поклонялись и наши предки. Теперь же зороастрийцев у нас можно по пальцам пересчитать. А хаома — это священный напиток, который они употребляют перед совершением богослужения.

Видя, что мы слушаем его с разинутыми ртами, Диловар вознамерился прочитать нам целую лекцию о зороастризме. Но тут мимо нас, весело переговариваясь, прошли несколько девушек. Заметив среди них Парвин, первую красавицу нашей школы, Далер смешался и долго смотрел ей вслед. Оглянувшись украдкой, она подарила ему ослепительную улыбку. Всем было известно о сердечной привязанности Диловара и Парвин, но что влюбленных ждет впереди, трудно было предугадать. Их отцы уже много лет находились в кровной вражде.

— Слушай, — когда мы остались одни, сказал вдруг Шерзод. — Давай и мы завтра пойдем собирать траву для священного напитка. Нурбахш сам предложил это.

Я охотно согласился. На другое утро мы втроем, обогнув селение, свернули с большой дороги и по хорошо протоптанной тропе пошли в горы. С далеких вершин дул легкий ветерок, сбивая дневную жару. Вскоре мы оказались на зеленой поляне, обильно покрытой еще мокрым от росы разнотравьем. Нурбахш внимательно огляделся и, подойдя к невысокому кустообразному растению, молодые прутьевидные побеги которого имели темно-сизый оттенок, стал осторожно срезать с него листья. Оказалось, это эфедра, о чудодейственных свойствах которой я был наслышан и раньше. Именно из нее люди в древности изготавливали хаому, напиток, который дарит силу и вдохновение.

[1]В европейской транскрипции — Заратуштра.

Утомившись, мы присели возле родничка. Нурбахш, дав нам возможность передохнуть, стал рассказывать о вещах, дотоле нам неизвестных. От него мы тогда узнали, что много столетий назад мудрый Господь Ахура-Маздо, ниспослав откровение пророку Зардушта — сыну Поурушаспы, из рода Спитама, открыл ему суть новой религии и поручил обратить людей в истинную веру. Зардушт учил, что для праведного человека в его изначальной борьбе со злым духом Ахриманом обязательными являются три заповеди: Добрая мысль, Доброе слово и Доброе деяние.

— Никогда не забывайте, — говорил нам Нурбахш, — что оружием Зардушта против Ахримана считаются не только страстная вера его последователей в бессмертную религию маздаясны, но и неукоснительное соблюдение этих трех всеобъемлющих и непреходящих заповедей.

Когда Нурбахш упоминал имя первого пророка и вероучителя, его удлиненное лицо с орлиным носом делалось мягче и выражало беспредельную любовь к Зардушту. В такие минуты голос его звучал глубоко и ровно, глаза излучали добрый свет. И тогда я впервые подумал о том, что имя Нурбахш очень соответствует его облику, поступкам и деяниям[1].

Домой мы вернулись уставшими, но полными впечатлений и с каким-то радостным, незнакомым доселе чувством на душе.

Через пару дней мы опять совершили поход на окраину селения, туда, где находятся развалины древней крепости. По мнению Нурбахша, здесь когда-то находился храм, где горел священный огонь и люди ходили туда молиться.

Такие храмы были повсюду, в крупных городах и провинциях Ариёнвиджа[2], а религиозными делами вершили мобеды — жрецы.

— То были славные добрые времена, а самым великим и почитаемым считался огонь Бахрама, — с прежним вдохновением вводил нас в суть зороастрийского учения Нурбахш. — Он состоял из многих видов огня, но главным из них был тот, что образовывался от удара молнии по дереву. Бахрамов огонь — это символ праведности и бессмертия учения Зардушта, он дает людям силу для победы над властью тьмы и злого духа Ахримана.

В тот день Нурбахш познакомил нас с Гатами — великими гимнами, сочиненными Зардуштом. Я слушал и поражался тому, как пророк через возвышенное слово, через небесные песни выразил свое восприятие Бога. И тогда я понял, что Зардушт не только первый пророк, но и первый поэт на земле.

Своими чудными рассказами Нурбахш словно приглашал нас в глубину веков, и мы незаметно для себя входили в него, взволнованные, умолкшие в предчувствии чего-то значительного и бесконечного. Перед нашим взором возникал озаренный необычным светом лик Зардушта, мы его ясно видели, чувствовали, в то же время он находился в отдалении. Но постепенно он стал приближаться к нам. Мы поняли его приближение по тому, как изменилось вдруг наше отношение к людям, населяющим этот мир, ко всему, что нас окружало. Все кругом наполнилось свежим дыханием жизни, мудростью и благодатью.

---

[1] Нурбахш (*тадж.*) — дарящий свет.

[2] Мифическая прародина иранских народов.

Умом и сердцем мы поднимались на такую высоту, где неизменно царит божественное, необычайно чистое и светлое.

Чувство восторга перед бесконечной Вселенной, осознание тесной связи земных и космических явлений долго не покидало нас.

Мы поняли, что если даже веками на землю не прольется дождь, почва все равно будет хранить память о живительной влаге, которую она когда-то впитала в себя.

Так незаметно текло время, и не было дня, чтобы я и Шерзод не встречались с Нурбахшем. Как-то он показал нам свое скромное жилище. В глубине комнаты он соорудил небольшой алтарь, где на кирпичном постаменте был установлен светильник. После того, как тетушка Мархабо по наивности залила алтарь водой, Нурбахш не решался больше разжигать огонь и заменил его светильником. На стене мы увидели иконописное изображение Ахура-Мазды в виде царя с распростертыми крыльями, с солнечным диском вокруг головы и с тиарой, которую венчает шар со звездой. На особом месте находился зороастрийский календарь, на столе были аккуратно разложены книги и рукописи.

В другой раз мы застали Нурбахша за молитвой. Весь в белом, он босой сидел на овчине и шептал слова молитвы. Подле него лежали пучок веток и цветок розы. Через какое-то время Нурбахш встал и произнеся хвалу Богу, поднял голову и руку с пучком веток и цветком. Исполнив затем гимн из Авесты — священной книги зороастрийцев, он поцеловал розу и бережно положил на землю. Не раз прикладывал Нурбахш руку к глазам и лбу, что означало величайшую любовь к Богу.

После встреч и бесед с Нурбахшем я часто задумывался над его словами, его рассказы будоражили мысль и требовали ответа на возникающие вопросы. Одна из легенд, услышанных нами от Нурбахша, особенно запала мне в душу.

Ахура-Маздо распределил существование мира на четыре периода, по три тысячи лет каждый. В конце последнего явится спаситель Саошьянт, который считается сыном Зардушта, и решит судьбу мира и человечества. Он победит Ахримана, после чего наступит очищение мира, а все оставшееся затем обретет жизнь вечную.

— Да будет вам известно, полушепотом закончил свой рассказ Нурбахш, — сын Зардушта уже родился и ходит по земле. Это значит, что тысячелетие Ахримана кончается, начинается тысячелетие Ахура-Мазды и мы воочию увидим блистательный лик Царя Победы и наступление благоденствия.

Мне все время казалось, что слова и поступки Нурбахша вряд ли еще кого интересуют, кроме нас с Шерзодом. Но оказывается, глубоко ошибался. За каждым шагом Нурбахша следило много глаз.

Однажды, когда я проходил по улице мимо бензоколонки, где шоферы заправляли машины, а хозяйки покупали керосин, меня остановил ее владелец Назриходжа по прозвищу Керосинходжа.

— Слушай, о чем ты и Шерзод так часто толкуете с постояльцем? Уж не сбивает ли вас с толку этот зимми[1]?

Что такое зимми, я тогда еще не знал, но за Нурбахша я готов был стоять горой.

[1]Зимми — иноверец.

— Нурбахш учит нас, что только тот, у кого и мысли, и слова, и поступки благие, может считаться праведным человеком.

— Так-то оно так, — возразил Керосинходжа, — но кто знает, что на самом деле у этого Нурбахша в душе. Не думаю, чтобы дружба с зимми пошла вам на пользу.

Керосинходжа засопел и вроде шутливо погрозил мне пальцем. Вглядевшись в его скуластое лицо с тонкими бесцветными губами, я понял, что он был навеселе.

Вскоре после этого произошел случай, неслыханный для нашего селения. Улучив час, когда в доме тетушки Мархабо не было никого, какие-то люди залезли во флигель, где жил Нурбахш, и устроили там настоящий погром. Со стены было содрано изображение Ахурамазды, алтарь разбит, разорванные книги и рукописи валялись на полу.

— Да что это такое? — узнав о случившемся и тотчас прибежав домой, причитала тетушка Мархабо. — Кому Нурбахш причинил хоть чуточку зла? И добрый, и набожный…

Не выдержав, тетушка Мархабо всхлипнула и робко взглянула на Нурбахша. Он, потрясенный, стоял в стороне. На него жалко было смотреть. И без того сутулый, он под тяжестью навалившегося на него горя совсем сгорбился.

Собравшиеся на улице сельчане понуро молчали. Они чувствовали себя неловко. Но были и такие, кто тихонько посмеивался в кулак и злословил по этому поводу. В это время из толпы раздался голос Керосинходжи.

— Может, ваш постоялец и вправду набожный, уважаемая Мархабо, да только вот какому богу он поклоняется?

— А не все ли равно. Бог-то один, — отозвалась тетушка Мархабо.

Ответа не последовало.

Многие полагали, что организатором погрома во флигеле является не кто иной, как сам Керосинходжа. Но вслух об этом предпочитали не говорить. О мстительном и злобном характере этого человека было известно всем. Да и стоит ли из-за какого-то безродного пришельца, к тому же исповедующего пусть и древнюю, но ставшую уже чужой религию, портить отношения с хозяином единственной в округе бензоколонки.

Только одна тетя Мархабо, не таясь, продолжала возмущаться и посылать проклятия вслед Керосинходже.

— Откуда столько ненависти в человеке, — устав, под конец бросила она в сердцах. — Ни хлеба от него пшеничного, ни слова приличного.

Нурбахш тяжело переживал случившееся и два дня не выходил из дому. Когда, наконец, мы с ним встретились, он с горечью сказал:

— Люди, решившиеся на такое, являются пособниками Ахримана. Им никогда не перейти через мост Чинват.

Я уже знаю, что душа, попав в загробный мир, должна перейти мост Чинват, доступный только самым благочестивым и праведным. Ибо, если через мост переходит праведник, то мост расширяется, а если грешник, то мост сужается и грешник падает в бездну.

Я согласно киваю головой, хотя в голове у меня роятся совершенно другие мысли. Будь моя воля, я уже теперь, не откладывая в долгий ящик, как следует наказал бы тех, кто позволил подобное глумление над самыми святыми чувствами человека.

Однажды, когда мы опять гуляли вокруг развалин старой крепости, Шерзод поведал Нурбахшу о том, в каком затруднительном положении оказался Диловар. Он уже успел закончить школу, и ему пришла повестка в армию. Парень он здоровый, головастый, и двухгодичная служба вряд ли была бы ему в тягость. Но он боялся другого — того, что за время отсутствия могут выдать замуж его любимую девушку. Правда, Парвин тоже в нем души не чает, но кто знает, как поведет дело ее строптивый родитель. Единственный выход Диловар видел в том, чтобы как можно раньше связаться с Парвин брачными узами. Но вот незадача. Парвин еще не исполнилось восемнадцати лет, и конечно же, в ЗАГСе им дадут от ворот поворот. Да и муллы, зная крутой нрав отца девушки, не решатся заключить никох — мусульманский брак.

Выслушав эту грустную историю, Нурбахш, подумав, сказал с улыбкой:

— Кажется, я им смогу помочь. Пригласите их завтра после полудня сюда, на развалины старой крепости.

На другой день, прибежав с Шерзодом в назначенное место, мы стали свидетелями удивительной картины. Среди развалин, в белом одеянии и в торжественной позе, стоял Нурбахш. У ног его горел небольшой костер. Рядом, склонив головы, стояли Диловар и Парвин.

На ней было новое шелковой платье, поверх которого она надела голубой жакет, голова повязана белым платком, мочки ушей украшали серьги, а запястья — узорчатые браслеты. Легкий румянец на лице выдавал волнение, теснившее ей грудь.

Окинув их взглядом, Нурбахш обратился к ним со следующими словами:

— Во имя Бога милосердного и справедливого. Сегодня здесь на основании веры маздаясны, согласно зороастрийскому обряду, происходит церемония бракосочетания. Здесь нахожусь и я — тот, кто носит звание мобеда, и призываю в свидетели Бога, великого пророка, освящающих тех, кто вступает в брак. Я спрашиваю жениха и невесту, исповедующих единую веру: хотят ли они вступить в брак и назвать друг друга мужем и женой?

Диловар тут же дал утвердительный ответ, а Парвин, опустив глаза, замялась, но потом тоже решительно сказала: «Да».

Я заметил, что костер стал угасать. Быстро собрав тлеющие поленья, я стал раздувать их. Через минуту пламя вспыхнуло с прежней силой.

В наступившей тишине вновь раздался голос Нурбахша:

— Помолимся и воздадим хвалу Богу всемогущему, который знает цену всем нам и Вселенной. Помните, что необходимо следовать заповедям пророка Зардушты!

Казалось, что словам Нурбахша, воплотившим высший смысл, доброту и согласие, внемлем не только мы, но и молчаливо возвышающиеся вдали голубые горы с вечными снегами на вершинах.

В эту минуту наш слух уловил тревожный гул, топот и прерывистые голоса. Оглянувшись, мы увидели с полдюжины людей, направляющихся в нашу сторону. Я замер на месте, сердце мое усиленно забилось. Впереди, махая кулаком, бежал Керосинходжа. За ним, тяжело дыша, семенил отец Парвин. Лицо его было перекошено злобой.

Заметив его, Парвин испуганно вскрикнула и побежала прочь. Диловар хотел удержать ее, но потом раздумал и остался на месте.

— Вот они! — заметив нас, крикнул Керосинходжа. — Хватайте зимми, а то он сбежит.

Толпа быстро окружила Нурбахша, а он продолжал стоять не шелохнувшись. Ему туго связали руки и потащили в сторону селения. Мы пытались защитить его, но нас никто не хотел слушать.

— Ведите его к чайхане, — зычным голосом приказал Керосинходжа. — Там мы ему вправим мозги. Дело это нехитрое. В него вселился див, которого нужно изгнать.

Вскоре толпа достигла чайханы, куда обычно стекался народ, если происходило что-то из ряда вон выходящее и нужно было держать совет. Я с тоской смотрел по сторонам, надеясь, что кто-то сейчас остановит вошедшую в раж кучку людей и заступится за Нурбахша. Но как назло в ту минуту там были только дружки и приспешники Керосинходжи, которые не смели перечить ему. Недолго думая, Нурбахша привязали к старому тутовнику, росшему рядами. Бледный, с блуждающим взглядом, он в ту минуту был похож на взлохмаченную птицу.

Вперед выступил Керосинходжа и смачно плюнул на пыльную землю.

— Проповеди Нурбахша только кажутся безобидными, — сказал он. — На самом деле они опаснее чумы.

Керосинходжа опять плюнул и, смерив презрительным взглядом Нурбахша, продолжил свою речь.

— Те, кто внемлют призывам зимми и потворствуют им, не гасят огонь, который может спалить мир, а льют в него бензин.

Не мешкая, Керосинходжа снял с себя широкий ремень, накрутил на руку и, размахнувшись, хватил Нурбахша по лицу. Нурбахш вскрикнул, весь сжался, но тут же поднял голову. На месте, где пришелся удар, кожа покраснела и вздулась.

— Так изгоняют дива, если он вселился в человека, — процедил сквозь зубы Керосинходжа и замахнулся вторично.

Но тут рука его повисла в воздухе. Перехватив ремень и стиснув пальцы так, что хрустнули суставы, возле него стоял Диловар.

— Если ты не прекратишь самосуд, — прохрипел он, — то я сейчас же пойду к прокурору.

Глаза у Керосинходжи налились кровью, на скулах заиграли желваки.

— И еще, — повысив голос, продолжал Диловар. — Думаешь, я не знаю, как ты сбываешь разбавленный бензин?

После этих слов Керосинходжа изменился в лице. Он стал медленно разжимать пальцы, опуская ремень.

— Ты чего это, парень? — примирительно сказал он. — Я же хотел как лучше, чтобы порядок был. А то ведь знаешь, — кивая в сторону Нурбахша, добавил с издевкой, — одна паршивая овца может все стадо испоганить.

— Каждый человек сам отвечает за свои поступки, — все так же тяжело дыша, ответил Диловар. — Не зря говорят: барана вешают за свою ногу, а козла за свою.

Не обращая больше внимания на них, мы с Шерзодом кинулись к Нурбахшу и тут же развязали его.

Толпа молча расступилась. Под пристальным взглядом десятков глаз Нурбахш, ежась, словно он сильно озяб, зашагал прочь. Мы с Шерзодом побежали за ним. Но не успели мы сделать и полсотни шагов, как за нашей спиной раздался громовой хохот.

Казалось, смеялись все, — убеленные сединой мужи и едва оперившиеся юнцы, бородатые и безусые, толстые и худые. Смех душил и разбирал этих уверенных в своем моральном превосходстве и непогрешимости людей, как если бы они увидели что-то уморительно смешное.

Нурбахш сильно пошатнулся, словно его обдало мощной волной, но затем выпрямился и уверенным шагом пошел дальше. На губах его появилась слабая улыбка. Он словно хотел сказать: «Смеетесь? Ну что ж… Вы вольны унизить меня, можете уничтожить. Но знайте — я воскресну в моей вере».

Спустя несколько дней после этого случая Нурбахш решил навсегда уйти из нашего селения. Он быстро собрал свои нехитрые пожитки, обвязался набедренным нитяным платком — кушти, помолился и последний раз окинул взглядом дом, который его приютил.

— Куда же вы теперь? — участливо спросила его тетя Мархабо.

— Я пойду на запад, — с улыбкой ответил Нурбахш, — в Персеполь. Там находится храм «Кааба Зардушта». Я давно собирался посетить его.

Мы с Шерзодом пошли провожать Нурбахша. Ощущения безысходного одиночества, которое чувствовалось в нем последнее время, не было. Наоборот, его глаза вновь излучали благоговейную любовь к людям, ко всему миру. Когда мы дошли до развалин старой крепости, Нурбахш остановился. Дальше дорога вела в город, откуда он пришел к нам в селение.

— Возвращайтесь, — сказал он, все так же улыбаясь. — Где бы вы ни находились, никогда не забывайте о главных заповедях великого Зардушты. И тогда в ваших сердцах будет вечно гореть огонь Бахрама.

Помолчав, он добавил:

— И еще помните о том, что наступает тысячелетие Ахура-Мазды… Прощайте, друзья!

На трассе, обычно заполненной урчанием моторов и скрипом повозок, было пустынно. Окутанные сизой дымкой тумана, у горизонта в величавом безмолвии застыли недоступные пики гор. Высоко над нами клубились белые облака, похожие на огромные сугробы снега.

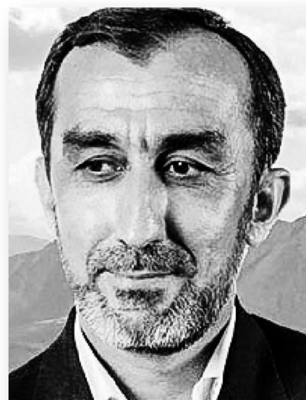
Нурбахш, освещенный пробивающимися из поднебесья лучами солнца, зашагал по пыльной дороге, нисколько не сомневаясь, что рано или поздно она все равно приведет его к заветной цели.

Мы долго глядели ему вслед, и вдруг меня озарила мысль, что это и есть сын Зардушты, который явился, чтобы спасти мир.

Перевод с таджикского автора.

Рустам ВАХХОБ

Ветвь единого древа



Независимость

Хоть я рожден в эпоху свободы,
Хоть я возвещаю миру о ней,
На ногах сердца,
На ногах души
Путы у меня.
Я ненавижу эти бесполезные путы.
Я хочу независимости.
Я хочу независимости от своих лживых мыслей,
От оков своей тусклой веры,
Где глаз разбойника представляется Солнцем,
Где яйцо птицы Забвения признается «ларцом надежды».
Я хочу независимости!
От этих золотых цепей ненужных размышлений,
От давления которых моя душа утомляется,
Мое сердце в их дебрях истекает кровью,
Слабые улыбки на губах моих рисуют мудрость,
Чтобы подарить печальным людям радость.

От отчаяния,
От немощи,
От страха
Хочу я независимости.
И от рабской натуры, от чрезмерной скромности,
Которая под именем «воспитанности» вросла в наше тело и в наш дух,
Между «человечностью» и «истиной» опустила завесу,
И рождает
Зависимость,
Подхалимство,
И выдавливает нас из нашей сущности,
Делает из нас бедных и безропотных существ.
Пока в душе моей есть дыхание, хочу независимости!

Не я один такой «ослушник»,
Не я один в этих оковах;
Если я ветвь единого древа
человечества,
То старания мои ради независимости человечества.
Называюсь я Родиной
или куском земли.
И если я буду в оковах,
То часть Родины
Тоже вынужденно будет в оковах.
Ради этой Родины,
Пока я жив,
В себе хочу независимости.

И только после победы как ее достойный сын
Подниму я голову на пике счастья, словно Солнце,
И захочу, чтобы приняли меня.

Из цикла «Тысяча экспромтов»

Восток

Вновь Восток весь в крови, все вокруг заалело,
Да, рождение Солнца — нелегкое дело.

Плакучая ива

Кудри твои пока достигли чамана ростков,
Прошло время газелей, настал касыды час.

Я похож на лист, охваченный огнем,
Я тот, кто сердце в тумане искрами освещает.

Друзьям достаточно одного взгляда,
Все чудеса для тех, кто сомневается.

Ты словно солнце садишься, как луна уходишь,
Что сказать: босиком ты ступаешь на сердце, проходишь.

Как легко — гора железа превращается в орала,
Но как тяжело успокоить сердце одно.

Тот, кто рассуждает: «Будь что будет!» —
Забывает о том, что ветер свободен обсолютно.

Наша книга под нашей подушкой,
И лишь от этого вся наша гордость.

Нельзя никакое горе сравнить с горем розы,
Ибо смерть сидит в каждом из ста ее лепестков.

Бодрствуя, мы успокаиваем свое сердце
Тем, что впереди — вечный у нас сон.

Просил я у калама (пера): иди прямо.
Так он ответил: в алфавите нет такой буквы.

Как это можно предупредить летящую стрелу
О том, чтобы она цель свою скрыла?

Река выхватывает у подножья горы горсть земли,
Ибо знает о том, что возвратиться сюда ей не дано.

«Мировая общественность!» Ты кто? Где ты?
Не ты ли источник ста бед и ста невзгод?

Сгорела свеча, оставив на голове розу,
Оставаться живым до гибели — искусство.

Приди, я готов слезы пролить в подоле твоем,
При этом ты можешь смеяться, я же поплачу в ответ.

В сердечном саду моем более нет зеленой веточки,
А кому жаловаться? Это друг оказался с топором.

Громко обращался сокол к голубям:
Небо открыто, пора полетов настала!

Каждый имеет право жалобы на других,
Выиграет тот, кто первым об этом заговорит.

От увиденного в сердце созревает желание,
И первый источник наших желаний — наши глаза.

Ежели ты сам на пути своем, словно стена Александра,
стоишь,
Ничего ты не добьешься, если с изъянами своими не расправишься.

У каждого есть на что опереться, потому он держится на ногах,
Не было бы стены, тень ее осталась бы лежать без
движенья.

Пусть сердце твое само заливается соловьиной песней,
Не терзай сердце, сжимая его, дабы заговорило.

Если даже речь твоя сладка, словно тут из Балха,
Если не в угоду людям, им кажется горько.

Хочется тебе преодолеть всякие преграды, будь любезен:
Сними все на лбу своем преграды и завяжи их узлом на поясе своем.

* * *

Черный, красный, белый, Север, Восток, Юг…
О, как много поводов для вражды!

Зачем мне говорить слово, которому ты не внимаешь, друг,
Но недруг уже с моей памяти читает его.

Платон хоть вместился в кувшине[1],
Знания Платона не вместились.

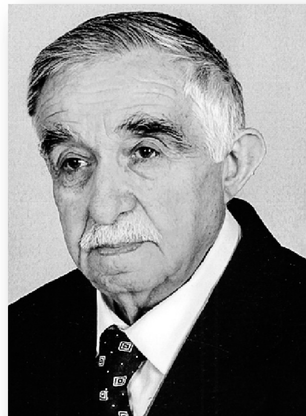
Знаешь, что значит моргание?
Бодрствует сон, а бодрый (человек) спит.

Обратил взор в Небо: «Это моя опора!»
Перелетела птичка, вычеркнула Небо.

На земле остались лишь окопы да баррикады,
Это все, что осталось от «Прав Человека».

[1] Согласно восточному преданию, Платон уединился в кувшине.

Перевод с таджикского Хосият КАСТ.



КУХЗОД

Мать, жена, домохозяйка

Рассказ

В этом доме каждое утро раньше всех просыпаются она и радио. Каждую ночь позже всех засыпают она и радио.

И сегодня она проснулась раньше всех. Проснулась и поверх того же платья, в котором легла в постель, потихоньку, чтобы не потревожить сон детишек, накинула чапан. Все они, пятеро мальчиков и девочек от пяти до шестнадцати лет и их мать, спят в одной комнате на полу. В ряд, от края и до края комнаты, их постели, а та, что у самой двери, постель матери.

Она осторожно поправила сползшее с младшенького одеяло и так же бесшумно вышла во двор. Как только она вышла, заговорило радио, подвешенное на вбитый в стену гвоздик. С этой минуты, с шести утра до самой поздней ночи, радио беспрерывно говорит. И все это время мать без перерыва хлопочет по хозяйству. Заранее известно, в какое время и о чем будет вести речь радио и когда и чем будет заниматься мать.

Умываясь холодной водой из рукомойника на веранде, она заметила про себя, что дни стали короче. Взяла ведро и пошла к хлеву. Бросила охапку сена в ясли, села на корточки и принялась доить корову. Корова дала полведра молока. Мать отнесла молоко в дом, взяла два других ведра и пошла за водой к канаве. Воды в канаве стало меньше, а перекроют канал, так вода совсем пересохнет. А в селе негде больше брать воду. И потом до самой весны, пока вода не понадобится для полива садов и полей, люди будут пользоваться привозной водой. Ее будут возить на машине из реки, и каждая капля будет на счету. Из-за каждого ведра воды между людьми начнутся стычки. Ведерная война. Как вспомнила она пережитое без воды в прошлые годы и представила, какие дни ожидают их вскорости, на душе стало тоскливо. Тоскливо от предстоящих забот и переживаний из-за воды, хватит ее, не хватит.

Она, поочередно погружая до половины ведра в канаву, поболтала ими туда-сюда в воде, чтобы развести в стороны муть и грязь, лежащую на поверхности, и набрала «чистой воды». И пока дошла до дому, от всплесков воды в ведрах промочила подол одежды.

Подвернув полы чапана, она подвязала пояс и, открыв дверцу печки, вымела из нее золу, сгибая и ломая сырые ветки, она положила их внутрь, снизу подложила для растопки сухие щепки и подожгла спичкой. Щепки, жахнув, вспыхнули, а ветки задымились. Дым ударил ей в лицо и обжег глаза. Слезы бриллиантами повисли на ее ресницах. Они-то и были единственными ее украшениями.

Она закрыла дверцу печки. Разбудила детей, чтоб не опоздали в школу. Пламя в печи разгорелось, дымоход загудел, вытягивая дым. Поверх огня она положила в печь два кизяка, чтобы дольше огонь горел и тепло сохранялось. Поставила на печь чайник, полный воды, и ведро с молоком.

Дети нехотя, протирая глаза, вставали с постели и шли на веранду. Умывшись водой из кувшина наскоро, как котята, они вошли и сели к дастархану.

По радио начался концерт.

— Ешьте, ешьте быстрее, — поставив чашки с молоком на дастархан, поторапливала она детей. — В школу уже пора.

Дети еле шевелились, их нерасторопность раздражала ее. Она сама разломала лепешку и накрошила по очереди в чашки.

— Покушайте и — в школу! — велела она и, взяв в коридоре веник, вышла.

Подметать она начала с веранды, потом принялась мести двор. Двор большой. Неухоженный. Ворота и двери покосились, штукатурка обвалилась. В одном углу — куча мусора и навоза, в другом — загон для коз и овец, здесь — гора гузапаи — главного и извечного топлива на селе, на крыше коровника — ворох сена. Этот не очень привлекательный вид, после того как она чисто вымела двор, освежился, и облупленные стены и косые ворота уже не так бросались в глаза. Когда она вышла подметать за ворота, дети, один за другим, кто с портфелем в руках, кто с ранцем за спиной, выходили в школу. В ту школу, где учатся ее дети, ходят ребята из трех сел, и дорога к ней, конечно же, неблизкая. И эта неблизкая дорога тоже ее удручала, но что она могла с этим поделать?

Уборка закончилась. Не выпуская веник из рук, она распрямила спину. Закинула тонкие косички за спину.

— Чайник твой весь выкипел, мать! — подал голос муж, подпирая почти высохшей тополиной веткой-рогатиной треснувший дувал, чтобы не упал.

Она заварила чай, расстелила дастархан для мужа. И сама присела, съела ломоть лепешки, обмакивая его в пиалку с чаем.

— Ну, я пойду на работу в поле, — сказав «аминь», поднялся муж и, повязав поверх чапана поясной платок, ушел.

Мать зашла в спальню. Сыночек сладко спал. Ей стало жалко будить его. Она убрала четыре другие постели. Сложив курпачи и одеяла, аккуратно собрала их на сундуке.

Радио сообщало последние известия. Пора выгонять скотину на выпас. Она вывела двух коз, двух овец, барана и корову из загона и хлева и погнала их со двора. Во времена ее юности в селе был козопас, овцепас, стадник, крупную и мелкую скотину вместе на выпас не выводили. Пастбище у каждого вида скота было отдельное, пастух был на каждый вид свой, порядок был во всех делах, правила определенные. А сейчас и скотины мало, и пастухов нет. Коров и баранов вместе пасут. Поочередно, сегодня — одна семья пасет, завтра — другая. У кого есть время — тот и пастух. Потому и в курдюках баранов жира нет, у коз — ребра торчат, а в коровьем вымени молока кот наплакал. Ни в чем благодати нет. Как будто все делается из-под палки, по принуждению. Как будто люди здесь поселились на время. На будущей неделе во вторник их черед скот пасти. Если б в выходной — дети бы пошли. Пойдешь

однажды на пастьбу — все хозяйство за день разваливается, будто месяц никто за домом не смотрел. И что это за жизнь, ни дня отдыха нет.

Не успела она войти обратно во двор, как услышала плач. Сыночек ее босой сидит на земле, на веранде и ревет, утирая слезы руками.

— Родной ты мой, что случилось? Что ты плачешь? — подняла его, запачканного, с земли мать и обняла.

— Я в постель намочил, — продолжал плакать малыш.

— Ну и ладно. Стоило плакать из-за этого? Не плачь, родной мой, все хорошо, умереть мне за тебя!

Мальчик успокоился в теплых объятиях матери. Она повела ребенка в комнату, переодела, посадила у печки и вытерла ему слезы.

— Сейчас я тебе молока дам.

Мать и сын, накрошив в чашку с молоком лепешки, поели. Потом она вынесла одеяло на двор и, сполоснув то место, которое записал сын, повесила на веревку. Собрала на веранде грязное белье. Набралась целая куча. Принесла два ведра воды. Воду вылила в таз и снова пошла за водой. Поколола дрова, разожгла очаг, поставила греть воду. Почти половину грязного белья положила в таз, замочила его, посыпав сверху стиральным порошком.

Радио на веранде говорило без перерыва. Кто-то очень громким и не очень приятным голосом ругал культуру на селе. Уровень культуры на селе далеко не соответствует требованиям времени, говорил он. Люди халатно относятся к культуре собственного быта. Дворы запущены. Вещи разбросаны по двору. Низкая культура на селе весьма четко проглядывается в отношении к детям. Родители жалеют купить для собственных детей стол и стулья для приготовления уроков.

— И чего он так разговорился-то?! — сидя на корточках и меся белье в тазу, она недовольно дернулась. — Говорит и говорит без умолку! Видно, забот у него нет. У самого-то сколько детей, интересно? А получает сколько? В сельском доме дети чуть друг на дружке не спят, а он что-то про столы и стулья городит!

Она постирала белье. Вода в тазу сначала посинела, а потом стала черной. Выбросила воду. Опять налила. Набила в таз еще белья и насыпала порошка.

В три потока постирала все белье, разложила на циновке. Сполоснула таз. Положила постиранное обратно, подняла таз на голову и пошла к канаве. Прополоскала все. Руки раскраснелись. Снова положила все в таз и, поставив его себе на голову, вернулась во двор, протянула веревку и развесила на ней стирку.

— Мама, я кушать хочу, — сказал сынишка.

— И я проголодалась, родной мой.

И они, расстелив на земле веранды палас, постелили скатерть. Попили сладкого чаю, заедая лепешкой, макая ее в чай. Эти минуты, когда она пила чай с лепешкой, и были для нее короткими минутами передышки. Снова надо идти за водой, приготовить что-нибудь горячее, скоро дети вернутся из школы. Как вернутся, надо им сказать, чтоб хлев почистили да за братишкой приглядели, а она пойдет к большой реке за дровами. Для огня есть гузапая, но она быстро сгорает, а бросишь полено, огонь горит дольше.

Дети друг за дружкой вернулись из школы и второпях, взяв по ломтю лепешки, закинули старые фартуки за плечо и сказали, что идут

собирать хлопок. Мать знала, везде такие порядки, дети после школы идут работать в поле. Не пойдут, так на классном собрании, комсомольском собрании и в стенгазете раскритикуют, пристыдят детей. Но в хозяйстве нужны дрова, в доме без дров тепла не будет.

— Ты сегодня не ходи на хлопок, — сказала она дочке-шестикласснице. — Они пусть идут, а ты посмотри за братишкой, я по дрова пойду.

— Учительница ругать будет, — не знала, как ей быть, девочка.

— Не будет, я ей объясню.

И она, оставив дочку и сына дома, отправилась за дровами. Пошла к реке, прошла через соседнее село и тамошние посевные поля. Дошла до хлопкового поля. Собрала хворосту, выбирая, который потолще, чтобы жару давал больше. От куста к кусту, от оврага к оврагу, по песку и камням, подбирала сухие сучья, ломала ветки, на какие ей сил хватило, складывая на лужайке, потом перевязала и взвалила на спину. Валежник и колючки занозили и расцарапали ей руки. В пояснице и коленях заныло от частого сгибания и разгибания, спина занемела. На обратной дороге она вспотела, жилы разомлели, и боль в пояснице и коленях утихла. Со связкой хвороста за спиной, с рогатиной, вместо клюки в руке, по дороге то гладкой, то в колдобинах, по песку и камням, то по берегу канавы, то по равнине, то горбясь, то распрямляясь, пытаясь както облегчить груз, она все шагала и шагала, пока не вышла на асфальтированную дорогу.

Машин на дороге было мало. И каждая машина, которая появлялась, пролетала с такой скоростью в одну или другую сторону, что она не успевала даже разглядеть, что за люди в ней сидят, и они как будто не замечали ее, — каждый занят собой, своими проблемами.

Когда она уже подходила к селу, на дороге показалась машина председателя. Поравнявшись с ней, машина остановилась.

— Что, тетенька? — открыв дверцу машины, но не выходя из нее, поздоровался председатель. — Не нашлось какого-нибудь осла-посла, что ты на себе дрова несешь?

— Возить дрова на осле — дело мужское, — ответила она.

— Так пусть твой мужик и возит дрова.

— Если он будет возить дрова, а вы по застольям шастать, кто тогда работать в колхозе будет?

Председатель рассмеялся.

— В будущем году сдам председательство тебе.

И машина уехала своей дорогой, а она пошла своей.

Дома она, прислонившись спиной к стене, выпила чайник чая. Пот высох. Жажда утолилась. Немного полегчало. Она достала из кармана три рубля и отправила дочку в магазин, купить, если есть, сахара-рафинада или песка. Сама взяла в таз муки и замесила тесто. Завернула таз с тестом в курпачу, чтобы тесто в тепле быстрее подошло и успеть до темноты напечь лепешек. Пошла к очагу, зажгла огонь, поставила казан, налила в него воды. Взяла из кастрюли мясо, разделала его, порубила кости, бросила в казан по куску на едока. Вышла во двор, принесла охапку гузапаи, положила к тануру, села на веранде чистить лук, картошку и морковь. Кожуру бросила в старое ведро и отнесла к хлеву — вечером даст корове, порезала лук и бросила в котел. Помыла картошку и морковь и, положив в тарелку, понесла к очагу. Затем

вымела золу из танура и подмела около него, вошла в дом и подняла курпачу, под которой стоял таз с тестом. Тесто еще не подошло, только немного поднялось. Начать печь сейчас, так верх лепешки подгорит, а внутри не испечется. А ждать времени нет, надо их уже лепить и печь, до вечера не успеет сделать все дела. Она расстелила суфру[1], вывалила на нее из таза тесто, слепила из него колобки для лепешек, разложила их в ряд и поочередно разравнивала и разравнивала каждый колобок в лепешку. Руки от самых плеч до кончиков пальцев были в постоянном движеньи — беспрерывно двигалось и двигалось ее тело, чтобы сегодня вечером и завтра утром пришли в движенье рты ее детей.

Теперь надо разжечь огонь в тануре и разогреть его. Она наломала гузапаи и, сложив ее вдвое, положила в печь, для растопки подложила старой бумаги и развела огонь. Языки пламени и едкий дым вырвались с треском из печи, лизнув ее брови, ресницы и волосы, и местами выжгли.

По радио какой-то передовик какого-то села отвечал на вопросы корреспондента. Журналист спрашивал про условия жизни людей. Передовик отвечал, что условия нашей жизни на селе почти не отличаются от условий жизни в городе. Для того чтобы облегчить труд женщин, мы открыли в колхозе прачечную, провели газ…

— Ох и мастер же ты врать! — посмотрела она в сторону радио и зашла в дом.

Вынув из-под казана погасшие головешки и золу, она положила в бульон вариться морковь и картошку, взяла с суфры разровненные лепешки, положила их в таз и отнесла к тануру. Вернулась и взяла рукавицу, рафиду[2] и чашку с водой. Печь раскалилась докрасна, и она принялась закладывать в нее лепешки. Каждый раз, когда, положив на рафиду лепешку, она заносила руку в печь и сама вытягивалась, чтобы прилепить лепешку, а потом отходила назад, лицо ее разгоралось от жара.

Она выпекла все лепешки в два захода. Получилась целая корзина. И каждую лепешку, перед тем как вынуть, она опрыскивала водой. Макая руку в чашку с водой, она брызгала капли, оставшиеся на кончиках пальцев на лепешки, чтобы они стали румяными.

День клонился к вечеру. Едоки по одному возвращались домой. Сначала вернулись дети с поля. За ними пришел с хирмана их отец.

Все вместе они сели за один дастархан есть суп с горячими лепешками. Посуду помыли дочки. Постиранные вещи с веревки сняли тоже они и занесли в дом. Корова, козы и овцы после пастьбы привычно отделились у дома от стада и зашли в ворота. Отец завел коз и овец в загон. Мать взяла ведро и пошла доить корову.

Радио пело песню.

Дети, сыновья и дочки — школьники, достав учебники и тетради, легли по разным углам комнаты на пол, делать уроки. Отец пошел посмотреть на лимоны. Младший сынишка у крыльца оседлал собаку.

Мать подоила корову. Принесла молоко, налила его в кринку и повесила кринку на веранде, чтоб молоко к утру не прокисло. Пересмотрев по одной все постиранные вещи — у одной шов разошелся, у другой —

[1] Суфра (*тадж.*) — скатерть для разделывания теста.

[2] Рафида — круглая подушечка, на которую кладут лепешку, перед тем как прилепить ее к стенке танура.

пуговицы не хватает, у третьей — воротник порвался, она достала нитки с иголкой и, закончив чинить одну вещь, обрывала зубами нитку и принималась за другую. Когда она пришивала воротник на старом пиджаке, в глубине ее существа вдруг появился клубочек обиды, горечи и боли, вошел в живот, закружил внутри, завертел, выжал все силы и поднялся вверх, наполнил грудь, подкатил к горлу и перекрыл дыхание. От жара ее души клубок растопился и пролился из глаз наружу. Этот пиджак носил ее старший сын, его на службу в армию забрали, сейчас его носит средний сын. Она не видела своего солдата четырнадцать месяцев. Он аж на том конце света, в холодных краях. Другой сын — в Туркмении. Один пишет-жалуется, что пальцы ног обморозил. Другой — от зноя не знает куда деваться: земли, говорит, коснешься — руку обожжешь.

В глазах ее потемнело, иголку с ниткой не видно. Она вытерла глаза, но они снова намокли. Наполнились влагой. Она сложила шитье и вышла во двор. Умылась водой из кувшина. Вернулась, чтобы продолжить работу, и только заметила, что дети уснули в разных углах комнаты, книжки и тетрадки разбросаны там и тут. Растормошив, она разбудила всех, постелила им постели в ряд, и уложила каждого на свое место.

Отец вернулся с лимонной плантации — руки в грязи, и, остановившись у порога, крикнул:

— Мать, завтра разбуди меня вместе с радио. А сейчас постели мне, завтра до зари надо на хирмане быть.

Дом уснул. Только она не спала, вещи латала, а радио говорило и передавало концерт. И когда радио, закончив программу, пожелало слушателю спокойной ночи, она перестала работать и, не переодеваясь, легла под одеяло.

Так прошел день матери-домохозяйки, один день сельской матери-таджички, прошел, как и все остальные дни ее жизни.

Только она не знает, что в официальных списках числится как безработная, и, положив голову на подушку, засыпает.

Перевод с таджикского Нори РАББИМДУХТ.

Людмила, внучка солдата

Ветер войны забросил белоруса Николая Запольского в Таджикистан. До сих пор драма его жизни откликается трогательными стихами в душе его внучки, артистки из города Чкаловск.

С героями войны — все понятно. Они проливали кровь и победили. Честь и слава! Однако мы знаем: до того времени, когда Красной Армии удалось переломить ход гитлеровского блиц-крига, были ужасные бойни — уничтожение тысяч людей. Были огромные потери, отступление, гибель солдат, особенно новобранцев. И длинные колонны пленников, и большие лагеря военнопленных, где люди погибали тысячами. Миллионы жертв на алтарь Большой Победы — часть памяти о войне. И та, «непарадная» сторона Победы по-прежнему притягивает внимание потомков мучеников, прошедших через ад войны. Не секрет: десятки тысяч наших соплеменников вынуждены были покинуть Беларусь в войну. Ветер судьбы понес их в мир — и многие не смогли, не имели счастья вернуться домой.

«Живые и мертвые» — стихотворение Людмилы Запольской. Она — одна из тех, чье сердце каким-то мистическим образом по-прежнему полнится болью за прошлое, хотя родилась в 1985-м, через сорок лет после Победы. Уроженка Таджикистана, белоруска по национальности.

В прошлом году о дочери поэтессе написала в редакцию газеты «Советская Белоруссия» ее мать, Дильбар Хамидова. «Людмила — моя дочь, а ее дедушка, Николай Андреевич Запольский, был родом из Могилевской области, Мстиславского района, сельсовет Подсолтово, — пишет Дильбар.— Он оказался в Таджикистане после войны. Потому что во время войны попал в плен, пробыл в фашистском концлагере четыре года, откуда его освободила Красная Армия. Потом еще воевал в штрафбате. После чего его отправили уже в советский лагерь — Краслаг, потом был еще лагерь НКВД № 31. А позже — наш Таджикистан: проверочно-фильтрационный лагерь. Тут он и жил без права выезда. Сам на реабилитацию не подавал, однако в 1983-м был реабилитирован государством “из-за отсутствия состава преступления”».

Сделаем уточнение. Работая над статьей, я нашел в интернете документ военного времени, в котором упоминается белорус с Мстиславщины Николай Запольский с похожей судьбой.

В 1945-м, когда узников освобождали из фашистского плена, он попал в секретные списки. По 43-й армии, среди более чем полутора тысяч «военнослужащих, освобожденных из плена и окружения за период с 10 по 20 мая», под № 18 значится Запольский Николай Андреевич. А весь список — на 45 листах. Там помечено: в какой части служил — не помнит, красноармеец, беспартийный, с 1923 года, а место рождения: «Могилевская обл., Вичеславский р-н, д. Вичеславка». Чем продиктованы были искажения в документе — гадать не будем. Дальше — год и место призыва: «Мичеславский РВК,

1941 г.», а про время и место, где попал в плен, читаем: «1941 г. под Москвой». Кстати, большинство таких же горемык из списка также были в плену с 41-го, а попали туда под Витебском, Вязьмой, Нарвой, Лугой, а также «в Эстонии» и «в Литве». И еще важная информация: у освобожденного узника «по адресу рождения живет Ольга Андреевна Запольская». Так что, забегая вперед, установить, откуда именно был родом сам Николай Андреевич, видимо, будет нетрудно: если грамотно сделать соответствующие запросы в архивы.

Как видим, деревенский парень, мобилизованный, наверное, в первые дни войны, попал в плен в том же 41-м. И было ему 18 лет… Сложно даже представить, что довелось Николаю пережить, выстрадать, — а в итоге оказалось: невиновен. Что касается «послепленной» судьбы Николая Запольского, ее определил знаменитый «приказ номер 270». В интернете легко отыскать тот приказ Ставки Верховного Главнокомандования Красной Армии «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия «от 16 августа 1941 года. Согласно ему, все, кто побывал в фашистском плену, проходили тотальную проверку, попадали сразу в фильтрационные пункты и лагеря. Кстати, согласно данным Минобороны России, из плена вернулись более чем 1 миллион 800 тысяч граждан СССР. Им, можно сказать, повезло: выжили! А на самом же деле масштаб тех жизненных трагедий, конечно, значительно больше. «Согласно официальным донесениям, за всю войну у нас из пяти с лишним миллионов, пропавших без вести, как военнопленные записано от силы 100 тысяч, — говорил журналистам в 2011 году представитель Минобороны России генерал-майор Александр Кирилин. — Де-факто — это 4,5 миллиона человек. То есть: большая часть пропавших без вести — военнопленные».

И еще из интернета. Где же после мая 45-го мог Запольский воевать в штрафбате, как не на войне с Японией! И вот в документе о награждении медалью «За победу над Японией», который хранится в архиве ЦАМО, значится «красноармеец Николай Андреевич Запольский» — из строительного управления 270-й бригады противовоздушной обороны.

Вернемся, однако, к письму Дильбар Хамидовой. Она сообщает, что после реабилитации свекор ее, Николай Запольский, хотел вернуться в Беларусь, однако жена его отказалась. «Людмила хотела вернуться по программе в Беларусь (так в письме. Программа возвращения соотечественников из зарубежья принята в России 22 июня 2006 года, а в Беларуси такой нет. — *Авт.*), однако документы, которые подтверждают, что Запольский Николай Андреевич — уроженец Беларуси, были утеряны во время войны, — пишет Дильбар. — Людмила пишет стихи, но, как говорят, в стол: тут, в Таджикистане, поэзия на русском языке не востребована. Я высылаю, с ее согласия, некоторые из ее стихотворений. Возможно, что-то опубликуете».

Стихи, если на них посмотреть «профессиональным взглядом», выглядят ученическими, несовершенными. Надеюсь, со временем и сама Людмила, если серьезно будет заниматься поэзией, свои оплошности увидит и исправит. По себе знаю: многим молодым авторам свойственно сбиваться на штампы, писать про войну звучно и пафосно. А найти свежие образы, живые штрихи для стихотворения — всегда сложно. Тем более, если смотреть на войну через призму чужих вос-

поминаний. Хотя и бывают исключения. Например, в начале 80-х известный белорусский драматург Алексей Дударев написал военную пьесу «Рядовые», и спектакль по ней, поставленный в минском Купаловском театре, в 1985-м получил высокую награду: Государственную премию СССР. Алексей Онуфриевич родился в 1950 году, а войну смог глубоко прочувствовать благодаря, в первую очередь, воспоминаниям отца-фронтовика.

Однако в нашем случае, с таджикистанской белоруской Людмилой Запольской, больше, чем качество стихотворений, заслуживает уважения желание внучки защитить светлую память о дедушке-солдате, который, к сожалению, не героем возвратился с войны.

Что еще известно о жизни нашего соотечественника Николая Запольского в Таджикистане? Близким рассказывал: везли вместе с другими солдатами в товарных вагонах, высадили в голодной степи. Тот регион, пишет Дильбар, курировал лично Берия: создавалась ядерная бомба, и там открывались рудники по добыче урана. Это сегодня Чкаловск, что в Согдийской области километров за 200 от Душанбе, известен как первенец атомпрома СССР: на уране, добытом и обогащенном там, работал первый атомный реактор. Из него же сделали и первую советскую атомную бомбу... «Тогда нашего Чкаловска еще не было, и первую траншею под новостройку копал как раз Николай Андреевич с другими солдатами, — написала Дильбар во втором письме. — Сначала строили «соцгород», и он вообще был засекречен, позже назвали Чкаловск. В нем возвели горно-обогатительный комбинат: обогащать уран. Николай тут влюбился в женщину, у которой было двое ребят. Он их усыновил, дал свою фамилию. В семье родился и сын Александр, отец моей Людмилы». Хотя обе внучки, Анастасия и Людмила, очень хотели поехать в Беларусь вместе с дедом, однако бабушка и ее старшие дети «относились к тем планам безразлично» — вот дед и воздержался. «Самое интересное: мне кажется, что Николай Андреевич был заговоренный, — делится Дильбар. — У него же за всю войну — а он и под Москвой воевал, и когда в штрафбате… — не было ни одного ранения».

Выясняется еще: у деда Николая была сестра Людмила, а отец его в свое время отбыл каторгу (22 года!) и вернулся домой. Со слов Николая Запольского, отец его «осужден был за происхождение». Документов о рождении Николая Андреевича пока родные не нашли, однако можно полагать: он из шляхетской семьи. Ведь за какое другое «происхождение» могли после революции дать человеку такую каторгу? Возможно, и известный белорусский историк, этнограф, фольклорист, литературовед Митрофан Викторович Довнар-Запольский из тех же родовых корней. И ему тоже довелось покинуть Родину. В интернете читаем: «Напечатанная, но неопубликованная книга «История Беларуси» вызвала возмущение политических властей Беларуси (начало 1926 года), была названа «катехизисом национал-демократизма», запрещена, а рукопись конфискована. Митрофан Викторович был вынужден переехать, а практически был выслан в Москву (осень 1926-го), и никогда не возвращался в Беларусь». И родные Николая Запольского, кстати, живут не в Беларуси — в Ростове-на-Дону. И Дильбар сказали: в Беларуси из их рода никого не осталось.

Сын солдата-белоруса, Александр Запольский родился и вырос в Чкаловске. Отслужил в армии, до сих пор работает на заводе формовщиком. В письме в редакцию его дочь, Людмила Запольская, написала: «Беларусь для меня — это моя историческая Родина. Я бы очень хотела приехать в родные места дедушки Николая. Хочется увидеть деревню, где он родился и жил, поговорить с людьми: может, кто-то его помнит?.. Сам же дедушка был очень молчаливый, почти ничего не рассказывал. Однако тайком от жены с 1972 года высылал денежные переводы сестре своей Людмиле: об этом мы узнали только от ее детей. Их, кстати, нашла моя сестра Анастасия: увидела в программе «Жди меня» запрос на нашего деда. Я сама теперь работаю в Чкаловске актрисой — в Русском драмтеатре имени А. С. Пушкина. Разведена, у меня два сына: Николай и Святослав. Сестра Анастасия — тренер по легкой атлетике». Между тем, у Людмилы есть образование... автослесаря. Ведь когда она заканчивала школу, в Таджикистане жилось тяжело: отцу зарплату не платили, мать подрабатывала где могла. «И я после школы пошла учиться в профтехучилище на автослесаря, — пишет Людмила. — Ведь платить за учебу там не надо было, и раз в месяц давали сухой паёк: литр растительного масла, килограмм сахара, по банке тушенки и сгущенки. Окончила я учебу с отличием, однако по специальности не работала: вышла замуж, устроилась в театр. Меня, кстати, взяли сразу на главную роль в спектакль «Любовь кольцо, а у кольца…». Спектакль когда-то шел в театре, его восстановил Сергей Федорович Духан, он и был моим учителем сценического мастерства. А после его ухода из театра главных ролей у меня не было, играю в основном в детских сказках. Даже Разбойника в сказке «Али-Баба». К этому спектаклю я написала тексты двух песен — правда, это нигде не указано. Потом решила написать свою пьесу по мотивам этой сказки. После чего написала еще несколько пьес. Правда, их пока никому, кроме родных, не показывала. И стихотворения пишу, как говорится, в стол. Отправить их в Беларусь — мамина задумка. Пишу я не только про войну, есть стихотворения и про любовь, и про театр. Некоторые от имени мужчины».

Надеемся, эта история будет иметь продолжение. И что мы встретимся еще с соотечественниками из Таджикистана в Беларуси, где чтят память: и о войне, и о героях, и о многочисленных жертвах тех суровых лет. Хочется верить: все страдания человеческие идут нам «в зачет» где-то там, где «всего конец и начало». И что ни одна капля крови, пота и слез, ни одна минута боли нашей в этом мире — не напрасны...

Иван ЖДАНОВИЧ

Людмила ЗАПОЛЬСКАЯ

* * *

На поле холодном, раскинувши руки,
солдаты безмолвно лежат…
И черное небо в мерцающих звездах
укрыло убитых ребят…

Так тихо, так страшно еще не бывало...
В крови захлебнулись бои…
Приснилось: их вижу, убитых войною…
Лежащих в остывшей крови…

Замерзшую землю живые копали… В могиле одной схоронили…
Спеша уходили... Без слез уходили.
И там — ни креста, ни имен, ни фамилий…

А снится ли это?.. Я там не бывала…
Мой дед замерзал под Москвой…
Но что же так ноет кровавая рана?..
Война, ты приходишь за мной?..

…Уходим… Уходим мы, грязные, злые… Опять нас атаки зовут…
И снова под взрывами — в липкой крови мы…
Живые и мертвые тут…

Штрафбат

Забытые… Остались в стороне
Они, войну прошедшие солдаты.
Хоть тяжелее было им вдвойне:
Они — бойцы забытого штрафбата.
И всею кровью им уже не смыть
Ту боль, в которой выжили когда-то,
Но все-таки им выпал жребий: жить!
Они — бойцы забытого штрафбата.
Страну прикрыв собою, как броней,
Шли прямо на огонь из автоматов.
И вся их жизнь — как на передовой:
Они — бойцы забытого штрафбата.
Пусть боль и кровь их маленьких побед
Живет — в веках, пускай звучит набатом!
…А среди тех, кто победил, — мой дед:
Он был бойцом забытого штрафбата…
…Они отвергнуты страной…
…Они убитые войной…
…Не носят звания: герой…
…Их души, Боже, упокой…

Ева

Коснись же водной глади
Своею белою рукой
И скинь на землю платье,
Стань вольной и нагой.
И на траве зеленой
Копна твоих волос,
И я, в тебя влюбленный,
Могу достать до звезд.
Мы, как Адам и Ева,
Одни во всей вселенной.
Еще не знаем гнева,
Бессмертны и нетленны.
Для нас все дышит счастьем
И мы частица мира,
И нет над нами власти
Ведь мы неуязвимы.
Ты собрала ракушки.
Цветы в твоем венце,
Не сосчитать веснушки
Мне на твоем лице.
И сладостное чувство —
Мир соткан из добра.
Ты сделана искусно
Из моего ребра.

Равшан МАХСУМЗОД

Женское сердце

Рассказ

Они оба уже были старыми. Обоим перевалило за восемьдесят, и большинство их ровесников давно покинули этот мир. Они и сами ждали дня, когда уснут вечным сном, хотя и не подавали вида. Но этот день запаздывал, и старик со старухой были вынуждены переворачивать последние страницы своей жизни.

Хотя и выглядели они вполне неплохо для своих лет, последние годы старики на все вокруг смотрели равнодушно, казалось, уже ничто в этой жизни не может их удивить, пробудить интерес. На все происходящие изменения они смотрели с иронией, усмехаясь: «Все это суета сует!»

При этом друг к другу они относились с безмерной нежностью и любовью, и чем больше жизнь их клонилась к закату, тем крепче становилась любовь.

— Старуха, у меня одна мечта, — говорил в последнее время старик. — Я молю Бога, чтобы он меня забрал раньше тебя. Ты вначале меня похорони, а потом поступай как знаешь…

— Оставьте эти разговоры! — с укоризной отвечала старуха. — Я такого горя не переживу. Пока жива, хочу видеть вас только бодрым и здоровым, как сейчас, и умереть со спокойным сердцем. И потом, если вас не станет, кто мои поминки проведет?

— Ты тоже права… Но я не хочу на старости лет превратиться в обузу нашим детям и невесткам. Не знаю, то ли это годы берут свое, то ли нервы мои уже совсем расшатались, но даже мягкое слово мне сейчас как нож в сердце. А не дай бог, кто-то меня еще начнет попрекать чем-то или скандалить, я этого не вынесу…

Иногда внуки становились свидетелями этих разговоров и восхищались отношениями стариков.

— Да, мы шестьдесят лет прожили вместе, но ни разу друг другу резкого слова не сказали, — с гордостью говорила внукам старуха. — Конечно, всякое случается в жизни, и у нас были ссоры, но о них и говорить не стоит — в каждой семье бывает! Но не приведи бог жизни некоторых семей! Э, доченька, за свою долгую жизнь мы таких мужей и жен навидались, таких супружеских отношений, что врагу не пожелаешь. Слышали, как некоторые жены прямо из объятий своих благоверных мужей шли и изменяли им с другими, своими глазами видели, как за горсть пшеницы свекрови своих невесток колотили, были свидетелями того, как жены своих мужей перед всем честным народом позорили. Стыд и срам! Но потом они снова мирились, садились за один дастархан, снова были друг с другом милыми и нежными, ложились в одну

постель и рожали детей. Как будто ничего не случилось! И самое интересное, что мужчины еще таких жен на руках носили, все их прихоти исполняли. Видно, таков неписаный закон супружеской жизни — все терпеть. Но ведь и у терпенья есть границы? Ладно, не хочу брать чужой грех на душу.

Возможно, история жизни старика со старухой так и осталась бы в памяти детей и внуков безоблачной, полной любви и согласия, если бы не одно событие.

Накануне женского праздника дети во главе со старшей внучкой Дилрабо пришли поздравить бабушку. В присутствии всех распаковали подарки — новенькие сапожки и золотые сережки. Невзирая на все бабушкины протесты Дилрабо под общий хор поздравлений вдела сережки ей в уши.

— Тысячу раз спасибо вам, дорогие мои, — расчувствовалась бабушка, — но зачем мне теперь золотые сережки? Вы сейчас у Бога должны просить, чтобы он веру вашей бабушки укрепил, вдел ей в уши серьги из ее добрых дел, и чтобы отправилась я со спокойной душой в свой последний путь. Это и есть настоящее золото стариков, все остальное, поверьте, ничего не стоит... Но за уважение спасибо, девочки мои! Дай бог вам увидеть счастье своих детей, чтобы горсть земли в ваших руках превращалась в горсть золота.

— Ты что говоришь, старуха! Сейчас для нас с тобой самое время и одеваться, и жизни радоваться, — засмеялся старик. — И что ты скажешь сейчас, когда увидишь еще и мой подарок?

— Ну-ка, посмотрим! — хором воскликнули внучки, и в комнате забурлил-закипел котел шуток.

— Дедушка, а в молодости вы что бабушке дарили? — спросила самая младшая внучка Тахмина.

— Да какие праздники в годы нашей молодости! — ответила за старика старуха. — Мы только и знали, что свою работу. Работа, работа, работа… А о женском празднике мы и думать не смели, знали только два праздника в году: рамазон и курбон.

— Не будь неблагодарной, старуха, — привстал с места старик. — Приносил я тебе подарки. Ты что меня перед внуками позоришь?!

— Когда это вы мне подарки приносили? Не помню такого.

— Вечно ты ничего не помнишь! У меня на лбу еще пот не высохнет от работы, а ты уже забываешь.

— Ой-ой-ой! Ну вот прямо закидали вы меня подарками, а я и не заметила.

— Вот неблагодарная старуха! Разве тебе не хватало чего? Ведь ты всегда и ела все самое вкусное, и одевалась в самое лучшее. Неблагодарное ты создание, оказывается, только теперь я это понял.

— Только теперь поняли, дедушка, через шестьдесят лет? — рассмеялись внучки. — Видите, а вы еще нас ругаете, что мы плохо знаем своих мужей, не понимаем их с полуслова, с полужеста.

— Честно говоря, знал я это, но просто глаза закрывал — зачем сор из избы выносить? — попытался отшутиться дед.

Но эта его шутка бабушке, видимо, не понравилась, задела ее за живое, став последней каплей, переполнившей пресловутую чашу терпения. Сколько внуки ни старались помирить стариков и перевести их спор в шутку, ничего уже не помогло.

— А вы помните, — повернулась к мужу старуха, — помните козу, которую вы принесли к нам домой на свадьбу?

— Конечно помню, коза ангорской породы была, из ее шерсти носки получаются отличные, зимой ногам — одно удовольствие.

— Она уже пострижена была, не видела я никакой шерсти, — прервала мужа старуха. — Но зато хорошо помню, что она сдохла еще до прихода мясника.

— Брат эту козу в своем хурджине привез, наверное, она по дороге и задохнулась…

— Не задохнулась она, а с рождения была полуживая, еле-еле душа в теле!

— Ты что этим хочешь сказать?

— Хочу сказать, чтобы вы здесь не сильно хвалились — не приносили вы никаких подарков!

— Эй, глупая женщина, в те времена и такую, по твоим словам, полудохлую козу во многих домах днем с огнем было не найти.

— А у нас было целое стадо баранов и коз.

— Правильно, было, но ведь твой отец, царство ему небесное, такой жадный был, что у него зимой снега не выпросишь. Под предлогом того, что его «дочь сбежала», он не то что барана — козленка нам на свадьбу не дал!

— Что?! Да вас, нерадивого босяка, только после женитьбы на мне люди начали на свадьбы и праздники приглашать. Не тяните меня за язык, а то лопнет мое терпение!

— Ну, ты сказала! Да я в молодости был видным джигитом, богатырем. От одного моего вида девушки в обморок падали.

— Какие девушки? Какой вид?

— Ка-ко-ой вид! — передразнил жену старик. — Да ты сама разве не пришла ко мне, очарованная моей фигурой и богатырскими плечами? Не я же пошел к тебе свататься. Помнишь, еще до свадьбы, сколько было драк и шума?

При этих словах старуха изменилась в лице, вся задрожала от возмущения, не зная, куда деть свои руки. Наконец, она нашлась:

— Может, ваши плечи и были богатырскими, но вот сердце оказалось воробьиным. Действительно, когда я с вами сбежала и спряталась в вашем доме, мои братья узнали об этом и пришли за мной. Во дворе была драка. Но… — старуха на мгновение замолчала, с трудом сглотнув слюну, и продолжила: — Когда мои братья начали вас бить, вы со страху сказали: «Я ее не воровал, она сама за мной пришла, хотите — забирайте свою сестру обратно! И пусть мне отрежут язык, если я хоть слово против скажу. Клянусь богом, я ее не заставлял, сама она пришла…».

В тот день от этой вашей лжи у меня внутри как будто что-то оборвалось, я так и застыла, не зная, что сказать, что делать... Вы же мне клялись в своей любви, на словах готовы были ради меня полмира перевернуть, звезду с неба достать. Вы своими сладкими речами мне голову заморочили, в свои силки заманили, но не смогли вынести и пары ударов. Опустились до такой низости, оговорили меня и своей ложью опорочили мое имя перед двумя нашими семьями. На следующий день об этом говорили уже все люди, и боль моя, молоденькой невесты, усилилась в тысячу раз. Позже старики призвали обе стороны к благоразумию, с трудом помирили наши семьи и, в конце концов, выдали меня

за вас замуж, но этот предсвадебный период для меня превратился в траур. До сих пор как увижу какую-нибудь свадьбу, вспоминаю свою злосчастную долю. Так и несу эту боль… Или все это неправда?

Старик ничего не ответил.

— И несмотря на это, я всю свою жизнь была вам верной женой, хранила ваш очаг и покой, молилась на вас, а когда нужно было, и ложь вашу покрывала...

В комнате повисла тяжелая тишина. Внуки, до сегодняшнего дня восхищавшиеся отношениями между стариками, застыли, не в силах шевельнуться. Впервые они слышали такие речи от своей тихой бабушки, всегда беспрекословно подчинявшейся мужу. Все взоры были устремлены на старика. Казалось, все ждали его ответа, все хотели знать, почему он тогда так поступил.

Он хотел что-то сказать, но старуха его перебила:

— Те ваши слова я не смогу забыть до самой смерти, а после смерти в могиле кости мои будут их помнить. На протяжении всех этих лет я носила это в себе, чтобы не выносить сор из избы, как вы выразились. Но каждый раз, когда я видела во сне ту картину, моя подушка к утру была мокрой от слез. Сердце мое разрывалось, что так низко меня оценили, что так легко вам поверила и рассталась со своей невинностью. До сих пор у меня в ушах звучат слова моего покойного брата: «Ладно, честь нашей семьи ты в грязь втоптала, но почему отдала сердце такому трусу, неужто перевелись настоящие мужики? Если уж пошла на такой позор, то нашла бы себе ровню, не так обидно было бы...»

Старуха произнесла эти слова с непередаваемой болью, незаметно вытерла глаза краешком своего белого платка. В ее глазах не было слез, но, возможно, от сильного внутреннего страдания ей казалось, что на глаза навернулись слезы...

— Все-таки излила ты свою желчь, старуха, — старик поднял взгляд от земли. Его голос тоже был полон боли и укора. — Я сейчас подсчитал… Больше 55 лет прошло с той весны, но ты до сих пор не забыла!

— Разве можно забыть то, как вы тогда поступили? Такое не забывается. Я же говорю, даже после смерти мои кости в могиле будут хрустеть и помнить...

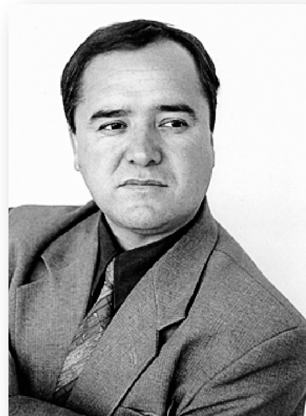
— Столько лет терпела, мир же не перевернулся! Совсем немного оставалось… Невозможно понять вашу женскую душу. Нехорошо ты поступила, старуха...

Старик замолчал.

Пораженные всем услышанным, внуки не отрывали от него глаз.

Старуха сидела, склонив голову, время от времени утирая глаза краешком своего белого платка...

Перевод с таджикского Умеда БОБОХОНОВА.



Маджид САЛИМ

Историко-природный парк Ширкент

Ущелье реки Ширкент и его верховья отличаются особым своеобразием в строении гор, в путях, ведущих по ущелью, в обилии растительности. Особенно хороши обширные заросли арчи, еще сохранившиеся от вырубки. Оставленный в настоящее время жителями кишлак Пашми-Кухна свидетельствует о бывшей хозяйственной освоенности окрестностей. Дома кишлака полуразрушены, арыки, подводившие воду на поля, запущены, и вода в них появляется только во время дождя.

Поля, не дающие больше урожаев, еле сохраняют свои границы. Беспощадная рубка леса, практиковавшаяся в окрестностях кишлака, оголила местность и привела к сползанию почвы со склонов. Но еще много труднодоступных горных склонов, где лес стоит нетронутым, и путешествие здесь можно смело назвать походом по лесному краю.

Пути по ущелью очень красивы, но имеют некоторые особенности, с которыми приходится считаться. Путь по реке, наиболее прямой и естественный, был вполне пригоден, пока кишлак Пашми-Кухна был населен и жители, нуждаясь в сообщении с равниной, поддерживали тропу, восстанавливали мосты, укрепляли овринги. Для перегона скота и для связи с верховьями теперь пользуются тропой, проложенной по гребням хребтов. Пожалуй, нигде больше не встретишь случая, чтобы перевалом называлась вершина. Перейти через вершину — значит одолеть перевал.

Среди разнообразия горных пейзажей особенно поражают горы над Пашми-Кухна, то есть верхний и нижний ярус. Такие пейзажи больше нигде не встречаются. Если ко всему этому прибавить замечательный горный климат на высоте 2000 метров, виды снежных хребтов, реки с чистейшей водой, станет ясно, что лес не стоит вырубать.

Для туристов имеется богатый выбор маршрутов на любой вкус, а альпинистов ожидают увенчанные снегами вершины, хранящие свою неприкосновенность.

Проехав от Душанбе по Западному пути (54 км до поворота на Регар), надо повернуть направо и начать углубляться в горы. Так начинается путешествие в ущелье Ширкент. Сначала тянутся поля хлопка, по сторонам бегут арыки. Округленные хвосты предгорий медленно сходятся, сжимая ущелье. Лишь где-то далеко впереди что-то мерцает в туманной дымке.

Ущелье уже полностью сформировалось. Дорога идет левым берегом реки. Ширкент-Дарья не поражает ни мощью, как Туполанг, ни свирепостью,

как Каратаг. И вода не отличается прозрачностью. Вдоль реки по низу ущелья тянутся непрерывной лентой сады, дома, ограды, сараи. А от дороги вверх уходит тропа, но можно еще продвинуться по дороге вперед по реке. Плохая автодорога продолжается еще немного дальше и заканчивается у пчельника, куда летом вывозят ульи. С левой стороны в реку впадает небольшая речка. На берегах заросли ивы, а вся эта местность славится обилием алычи, которая является объектом промысла. Ее собирают и сушат.

На склоне, под густой тенью крупных деревьев, имеются выровненные площадки, служившие, очевидно, не раз местом отдыха чабанов или пчеловодов.

От пчельника вверх по реке идет тропа. Перевалив через небольшой отрог, она спускается к Киргиз-кишлаку. Дальше вверх по реке можно пробраться, но с трудом, так как тропа находится в плохом состоянии.

Очень красивый путь идет от пчельника по гребням хребтов и отрогов. Тропа придерживается сначала маленькой речки, где много алычи. Очень характерно растущее здесь в диком виде такое теплолюбивое дерево, как инжир (фига). Затем тропа выходит в долину и начинает подниматься множеством серпантинов на правый ее склон. По мере подъема все шире развертывается панорама лесистых хребтов и глубоких ущелий. Склон лишь кое-где укрыт группами деревьев.

Тропа выходит на гребень бокового хребта. Высота уже 1550 метров. Гребень достаточно широкий, с полого падающими краями. Идти по нему очень приятно, часто встречаются группы деревьев, среди которых присутствует неизбежная алыча. На гребне обнаруживается небольшое плато. Густая трава и нависающие гроздья алычи невольно манят отдохнуть. А впереди встают все более высокие хребты, ущелья тонут в синем тумане, река Ширкент-Дарья скрылась в теснинах. Опять начался подъем. Боковой хребет примыкает к главному, идущему от далеких снежных вершин. Высота уже 1750 метров. От пчельника совершен подъем почти на 700 метров.

Здесь тропа разделяется. Одна ветвь отходит налево и начинает круто спускаться вниз среди сплошного леса. Эта тропа удобней для вьючного транспорта. На верхней растет много арчи с низко расположенными ветвями.

Спуск в боковой сай очень небольшой, всего 60 метров. Найти воду не удается. Сай сухой. Надо помнить о том, что весь этот путь беден источниками воды. Поэтому фляжка и термос должны быть всегда наполненными. От сая начинается подъем по скалам. Временами приходится подниматься между двумя вертикально поставленными складками горных пород. Дальше тропа ведет более пологими склонами и приводит к ручью Зак-дара. Здесь можно вдоволь напиться и наполнить водой фляжки, так как до вечера воды больше не встретится. К концу лета и ручей Зак-дара почти пересыхает. От ручья тропа поднимается и выходит на узкую длинную поляну с группой деревьев по краям, густо поросшую высокой мягкой травой. Затем тропа выходит на вторую поляну. От этой поляны опять начинается непрерывный подъем по красивейшей лесной тропе. Подъем очень пологий, неутомительный. Через просветы в деревьях все время открываются виды на лежащие внизу лесистые хребты.

Поднимаясь по гребню все выше и выше, тропа выходит на скалы, огибая гребень с западной стороны, и наконец, по скальным ступеням достигает вершины. Высота 2640 метров.

На севере ясно очерчен Мачетлинский хребет с лентами кулуаров и фирновыми полями. Река Ширкент где-то далеко внизу на западе, а впереди стеной возвышается скальный склон ущелья реки Олджир, левого притока реки Ширкент-Дарья.

Перевалив вершину, тропа начинает спускаться вниз и выходит сначала на обширные луга с ручьями. На высоте 2380 метров встречается первое дерево — арча. Спуск с лугов в Олджиру довольно крутой. Сначала тропа ведет к бурному ручью, а затем следует спуск по ручью на 150 метров, и тропа выходит к берегу реки Олджир на уровне 1950 метров. Реку без затруднений можно перейти вброд, но рядом есть ветхий мост. Здесь снова начинается царство леса. При спуске по тропе к устью Олджира открывается грандиозный, даже мрачный вид. В темной пропасти чуть заметной ниткой вьется Ширкент-Дарья. Напротив устья Олджира стремительно скатывается река Дуузак-дара. Между реками Дуузак и Ширкент неприступным массивом возносится островерхий черный пик. Дальше тропа проходит высоко над ущельем. Путь все время преграждают кулисы боковых отрогов. Тропа то огибает очередной выступ скал, то перебирается через беспорядочно обрушившиеся камни осыпей. Наконец выпрямляется, войдя под своды сплошного леса. Словно аллея в парке пересекает склон, а затем начинает спускаться плавным серпантином к уровню реки.

Здесь начинается район, пострадавший от вырубки леса. Старых деревьев не видно, по склонам рассеяны только островерхие шапочки молодой арчи, которую пощадил топор лесоруба. С правого склона горы сбегают стремительные речки. Присмотревшись, там можно заметить движущиеся точки пасущихся овец. От брода на реке Олджир тропа спустилась почти на 200 метров, а теперь снова начинает медленно набирать высоту.

Перейдя мост на реке Чолб и преодолев отрог, тропа приближается к Пашми-Кухна. Строения этого оставленного людьми поселка видны в виде горизонтальных черточек на фоне передней гряды гор, и дома кишлака очень хорошо гармонируют с пластами горных пород. Панорама хребта развертывается в полной мере и поражает своей многоплановостью. Передний план перед кишлаком и вокруг него занят выровненными лугами, где раньше были поля, с которых убраны камни, а затем подведена вода. Сейчас это пространство служит выпасом для скота. В полуразрушенных домах кишлака живут чабаны.

Дома кишлака Пашми-Кухна построены уступами на пологом склоне. Его положение выбрано очень удачно как наблюдательный пункт. Из каждого дома можно видеть, что делается на полях и как пасутся овцы. Находясь у двух ущелий, кишлак стоял на скрещении транспортных путей и сейчас еще частично сохраняет эту роль при перегоне скота на верхние пастбища.

Дома кишлака построены из самана с деревянным каркасом. Крыша плоская, перекрытая балками, хворостом и слоем земли, на которой растет трава. Перед входом в помещения, на южной стороне, сделана традиционная для Средней Азии веранда. Здесь же имеется примитивная печь для приготовления пищи и выпечки лепешек.

Помещения для скота поставлены либо отдельно, либо примыкают к дому. Кишлак расположен выше уровня реки Ширкент. И вода к нему подведена по арыку, а нижние дома пользовались водой из небольшой речки.

Река Ширкент-Дарья образуется из слияния двух рек. С запада течет Сандал-Дарья, а с востока Чизор-хана. Место их слияния находится немного выше кишлака. Обе реки имеют ледниковое питание. При этом у Чизор-ханы оно более обеспечено. Для питания рек большое значение имеют сезонные осадки. Зимой ущелья покрываются снегом, а летом проходят грозы и идут сильные дожди.

За этим нижним поясом, который получил название Ширкентский Барьер, идет ряд обрушенных и вынесенных с гор материалов, образуя целый мир в миниатюре: горные хребты, узкие проходы, возвышенности, крупные блоки и т. д.

А над всем этим возносятся «настоящие» горы с ледниками, снегами. На просматриваемом участке Мачетлинский хребет, отделяющий бассейн реки Кштут от реки Ширкент, тянется на 18—20 километров и на всем этом протяжении выходит за пределы снеговой линии. Границей участка на западе служит вершина Татхагата (4395 м). В трех километрах севернее находится вершина высотой 4462 метра. У ее южного подножья расположен перевал Ведунас. Отсюда на восток стекают два ледника, питающие реку Сандал-Дарья.

Западный массив идет от перевала Варзоб и спускается к реке Сандал-Дарья. Ущелье отделяет его от следующего массива, который выходит в междуречье двух потоков. Восточный массив спускается к Ширкентскому Барьеру над рекой Чизор-хана. Дальше на восток от Мачетлинского хребта отходит на юг мощный отрог, носящий название Джеты-Зомбар. На этом отроге расположены семь, а может быть, даже больше, снежных вершин. Между восточным массивом и отрогом Джеты-Зомбар находится значительное оледенение. С Мачетлинского хребта стекают несколько ледников, а на гребнях и на коротких отрогах отмечено свыше десяти крупных и средних вершин. Путь к ним идет из ущелья Чизор-хана через Ширкентский Барьер. Восхождения на несколько вершин осуществили здесь немецкие альпинисты в 1970 году.

Путь в верховья реки Чизор-хана идет от кишлака Пашми-Кухна вверх по долине ручья, протекающего перед южным краем кишлака. Эта тропа очень оживленная, так как связывает с урочищем Яхоб, где расположены обширные пастбища.

На уровне 2400 метров кончается арча. Тропа идет открытыми лугами. Внезапно на отметке 2600 метров появляется блеск зеркальной поверхности небольшого озера. До перевала уже недалеко. Этот перевал высотой 2780 метров не открывает панорамы Яхоба. Слева скальная стена, а впереди еще один перевал. Первый перевал Чирок-Мазар приводит в воронку, которая уходит вниз по реке Чолб и выводит опять к Ширкент-Дарье. Только преодолев второй перевал, который носит имя Яхоб, можно охватить взором всю долину верхнего течения реки Хазорхана. Здесь река состоит из целой сети ручьев и потоков, бегущих по долине с разных сторон или скатывающихся с соседних хребтов. Долина Яхоб расположена на уровне 2750 метров и служит пастбищем для нескольких отар овец. Запасы кормов невелики, и долина в значитель-

ной степени вытравлена. Остаются нетронутыми только стебли высокой травы, которые скот не ест.

Долина Яхоб замыкается с трех сторон горными хребтами. Только в юго-западном направлении уходит вниз ущелье реки Хазор-хана. Там вдалеке, на вершинах массива Уйнок-Уйнар блестит свежевыпавший снег. На западе и севере близко подступают снежные отроги Мачетлинского хребта. Особенно выделяется цепь вершин Джеты-Зомбар. Ближе всех подступает вершина Диахан. Воздух здесь прохладный, иногда набегают тучи, порывистый ветер несет дождь, а то и снежную крупу. Повсюду бегут ручьи и потоки холодной воды. На востоке горизонт замыкает хребет, разделяющий ущелья рек Каратага и Ширкента. Путь через хребет идет по зеленым холмам долины Яхоб, то спускаяст в ложбины, то поднимаясь на холмы.

Животный мир довольно богат и разнообразен. Он в большой степени подчинен закону вертикальной зональности. В нижней жаркой зоне можно встретить змей, а также скорпионов, каракуртов и фаланг. Особенно опасен укус маленького черного паука-каракурта. Пострадавший должен немедленно обратиться к врачу. Очень распространены ящерицы-гекконы и круглоголовки, а также грызуны. В средней, более прохладной зоне с древесной растительностью много хищных животных, можно встретить волка, лисицу, медведя. Раньше было много сурков, зайцев и горных куропаток (кеклики). Дикие фруктовые сады привлекают кабанов. В реках много рыбы, особенно ценной является форель. В верхних скальных участках пасутся горные козлы, а в небе кружатся ястребы и гордо планируют ширококрылые грифы.

Перевод с таджикского автора.

«Памир» открывает новые белорусские горизонты

Второй номер за 2016 год литературно-художественного и общественно-политического журнала Союза писателей Таджикистана «Памир» посвящен современной белорусской литературе.

Творческий проект, безусловно, носит далеко не случайный характер. Последние годы в белорусско-таджикских литературных отношениях характеризуются своеобразным подъемом, скорее — даже взлетом. Выходят книги белорусских авторов в Таджикистане. Выходят книги писателей Таджикистана в Беларуси. Немало осуществлено публикаций таджикской поэзии и прозы, даже драматургии и публицистики в белорусской литературно-художественной и общественно-политической периодике: журналах «Полымя», «Маладосць», «Нёман», «Белая Вежа», газете «Літаратура і мастацтва».

И вот — новая яркая страница. Новый проект, который, несомненно, повлияет на главное: среди читателей Таджикистана добавляется количество почитателей белорусского художественного слова.

Во втором номере «Памира» за 2016 год представлены такие авторы из Беларуси, как лауреат Государственной премии Республики Беларусь Микола Метлицкий, Анатолий Аврутин, Елизавета Полеес, лауреат Премии СНГ «Звезды Содружества» Алесь Бадак, Михась Башлаков, Наум Гальперович, Валерий Гришковец, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Василь Зуёнок, Казимир Камейша, Георгий Киселев, Василь Макаревич, Юрий Матюшко, Владимир Мозго, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Геннадий Пашков, Михась Поздняков, Александр Осиновский, Андрей Скоринкин, Александр Атрушкевич, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Алесь Жук, Олег Ждан, Екатерина Карпович, Ирина Батакова, Алесь Карлюкевич, Вера Зеленко. Фактически весь журнал посвящен Беларуси, белорусской литературе. Открывается номер редакционной статьей «“Нёман” — полноводная река литературы». Это позволяет понять, что таджикские коллеги в выборе текстов ориентировались на содержание журнала-партнера, такого же русскоязычного литературно журнала, что аргументом в том или ином выборе становился факт публикации произведения в Беларуси в журнале «Нёман». Об этом свидетельствует и один из инициаторов «белорусского выпуска» «Памира» заведующий отделом международных литературных связей Союза писателей Таджикистана Ато Хамдам, которого хорошо знают в Беларуси: «Я часто бываю в Минске. И в каждой поездке интересуюсь, что нового вышло в «Нёмане». Русский язык издания позволяет мне и моим коллегам, таджикским переводчикам, представлять, что происходит в литературном процессе в Беларуси, какие новые течения, новые направления развивают белорусские поэты и прозаики…»

На первых страницах второго номера «Памира» — и теплые слова Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко о таджикском народе: «Я восхищен трудолюбием таджикского народа. Несмотря на сложные условия для земледелия, здесь получают два урожая хлеба и сами обеспечивают свои сельскохозяйственные потребности. Закрытых тем в белорусско-таджикских отношениях нет. Минск готов дружить с Душанбе и сотрудничать по самому

широкому спектру вопросов: от промышленности и сельского хозяйства до обороноспособности. Всё, что мы можем, — мы всегда готовы делать для наших братьев таджиков».

Своими размышлениями о белорусско-таджикской литературной дружбе поделился в журнале председатель Союза писателей Таджикистана известный поэт и переводчик Низом Косим. Вот что он, в частности, отметил: «Существует много точек соприкосновения, объединяющих наши народы и литературы, важнейшими из которых являются реалистические корни и романтический дух наших литератур, крепкая историческая память, искреннее стремление литераторов и героев их произведений к истине и справедливости. Основной период возникновения и укрепления наших литературных связей приходится на советское время. Национальные литературы наших народов именно в то время получили мощный импульс развития, обогатились новым содержанием и сутью, стали действительными творцами духовной жизни народа. Лучшие творения Якуба Коласа, Янки Купалы, Петруся Бровки, Максима Танка, Янки Брыля в переводе стали достоянием таджикских читателей, нетленные произведения Садриддина Айни, Абулкосима Лахути, Мирзо Турсун-Заде, Сотима Улугзода, Джалола Икроми зазвучали на белорусском языке. Тем самым навстречу друг другу были раскрыты врата сердец двух народов. Особо хочется отметить, что многие из упомянутых великих писателей были лично знакомы и своей дружбой и взаимной симпатией вдвойне способствовали сближению и сотрудничеству наших народов». И дальше: «В годы Великой Отечественной войны фашистские орды люто свирепствовали на белорусской земле, от рук злодеев пал каждый третий житель страны. В ратной борьбе за освобождение Беларуси от фашистской чумы героически сражались сыновья многих народов нашей необъятной державы, в том числе прославленные таджикские писатели Хабиб Юсуфи, который, к сожалению, потом погиб в боях за Польшу, Фатех Ниязи, Абдуджаббор Каххори, Мухиддин Фархат. Славный сын таджикского народа Домулло Азизов пал смертью храбрых за эту священную землю и удостоился высокого звания Героя Советского Союза.

К счастью, сегодня, когда определенные круги пытаются заново переписать историю и, искажая правду истории, игнорируют самоотверженный вклад представителей других воистину братских народов в Великую Победу, белорусский народ с дальновидностью и благодарностью свято чтит их память. Яркое тому свидетельство — увековечивание памяти Домулло Азизова, чьим именем названы улица и школа, установлен бюст и в честь которого открыт музей, повествующий о подвиге нашего земляка новым поколениям этой земли…».

Главный редактор журнала «Памир» Джума Куддус, заведующий отделом поэзии Хосият Каст, заведующий отделом прозы Нории Хамракулова, литературный сотрудник Тахмина Эмин и другие их коллеги приложили немало сил, чтобы проект творческого партнерства белорусских и таджикских литераторов состоялся на высоком уровне. В последние восемь лет в Таджикистане увидели свет книги белорусских писателей Миколы Метлицкого, Георгия Марчука, Алеся Бадака, Юрия Сапожкова, антология современной белорусской литературы «Вечерний костер», на страницах таджикских газет и журналов опубликованы произведения Марии Рудович, Сергея Трахимёнка, Натальи Пархимович, Ирины Карнауховой, Елены Стельмах, Елены Мальчевской, Виктора Шнипа, Людмилы Рублевской, многих других поэтов и прозаиков. Со статьями о белорусской литературе в таджикских СМИ выступили доктор филологических наук Абдували Давронов, член Союза писателей Беларуси и Союза писателей Таджикистана

Ато Хамдам, председатель Общества дружбы «Беларусь — Таджикистан» Алесь Карлюкевич.

И Беларусь не остается в долгу. В Минске издан ряд коллективных книг, представляющих таджикскую поэзию и прозу, — «Под звездою Рудаки», «Таджикистан: мгновения вечности», «Подвиг Эмомали Рахмона» и др. О белорусско-таджикских отношениях рассказывает изданная в Минске книга Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Республике Беларусь Козидавлата Коимдодова.

В Издательском доме «Звязда», в Доме дружбы белорусской столицы прошли не единожды вечера таджикской поэзии и таджикской культуры, презентации книг таджикских авторов. Целая группа писателей Таджикистана в последние годы приняла участие в Днях белорусской письменности. Конечно же, значительную работу по сплочению писателей Беларуси и Таджикистана в устремлениях к развитию связей наших литератур проделал и продолжает осуществлять Ато Хамдам, бывший министр культуры Таджикистана, долгое время возглавлявший издательство «Адиб» («Писатель»). За плечами у этого литератора — богатый опыт по налаживанию международного литературного сотрудничества.

Второй номер журнала «Памир» за 2016 год — только один из этапов белорусско-таджикского побратимства на современном этапе. Впереди — новые творческие проекты. Часть из них уже спланирована. Об этом на презентации «белорусского выпуска» журнала «Памир» в конференц-зале Издательского дома «Звязда» вели речь Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь Козидавлат Коимдодов, директор — главный редактор Издательского дома «Звязда» Алесь Карлюкевич, поэт, публицист, переводчик Наум Гальперович, председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси поэт Михась Поздняков, заместитель директора Издательского дома «Звязда» — главный редактор журнала «Нёман», переводчик Алексей Черота. Безусловно, уже сегодня стоит обсуждать тему подготовки переводчиков с оригинала: и для тех, кто готов представить белорусскую литературу в Таджикистане, и для тех, кто переводит таджикскую поэзию и прозу в Беларуси. Возможно, такие подходы будут способствовать созданию полнокровной антологии таджикской поэзии на белорусском языке. Художественное слово, наполненное традициями Рудаки, подкрепленное поисками Мирзо Турсун-Заде, Лахути, Мумина Каноата, Саидали Мамура, Лоика Шерали, Фарзоны, Низома Косима, достойно реализации такого масштабного проекта. Вероятно, давно пришла пора издать на таджикском языке и отдельные книги поэзии Максима Богдановича, Нила Гилевича, Геннадия Буравкина, Евгении Янищиц, Анатоля Велюгина… Но такого рода замыслы могут быть реализованы в атмосфере, сопряженной с настойчивым изучением братских литератур, осмыслением их высоких творческих достижений. Необходимо развивать и решать задачи сравнительного литературоведения, необходимо провести своеобразную творческую «ревизию» уже существующего массива переводов.

Очень важно и создание художественно-публицистических книг, рассказывающих народам своих стран о том, чем интересны, привлекательны чужие края, какие артефакты и какие черты национального характера таджиков или белорусов достойны особого уважения. А чтобы осуществить такие шаги, чтобы создать такие книги, написать очерки дорожного характера, надо ездить друг к другу, надо стремиться открывать новое и ранее неизведанное. Именно к этому и подталкивает знакомство со вторым номером таджикского литературно-художественного журнала «Памир», посвященным современной белорусской литературе.

Кастусь ХОДЫКО

Алесь МАРТИНОВИЧ

Иван-да-Мавра

Есть расхожее выражение — браки заключаются на небесах. В том смысле, что все, что ни происходит, происходит по воле Господней. С этим, безусловно, нельзя не согласиться. Однако, тем не менее, нельзя обойтись и без некоторого уточнения. Иногда для того, чтобы двое встретились, требуется не только время, но и… расстояние. Одному из этих двоих, чтобы встретить свою половину, иногда приходится преодолеть несколько тысяч километров. И, конечно, отправляется он в дальнюю дорогу, не зная еще, что эта встреча произойдет. Следовательно, и не догадывается о такой возможности. Тем более, что в некоторых случаях в эту дальнюю поездку собирается не по собственной воле. Как, к примеру, Иван Черский.

Впрочем, при рождении его назвали вовсе не Иваном. Да и вообще дали несколько имен — Ян Станислав Франтишек. А поскольку по отчеству он Доминикович, то некоторые исследователи, особо не разбираясь, по сей день считают его поляком. Некоторые же относят Черского к литовцам. На самом же деле — он белорус. Ларчик просто открывается. Как известно, после восстания 1831 года русский царь Николай I официально запретил белорусский язык, в результате чего белорусы мгновенно как бы «перестали существовать». Поэтому всех выходцев из западных губерний и стали причислять к полякам.

За четыре недели заработал… Сибирь

Родился Ян Станислав Франтишек Черский 3 мая 1845 года в родовом имении Свольно, которое находилось в Дриссенском уезде Витебской губернии. Сегодня это Верхнедвинский район. Отец умер, когда мальчику исполнилось только десять лет. Воспитанием его и старшей сестры Михалины занималась мать, давшая сыну хорошее домашнее образование. Он выучил английский, латинский, немецкий, польский и французский языки. Естественно, знал и русский, умел говорить и по-белорусски. Занимался музыкой — особенно любил играть на фортепиано, хорошо рисовал, да и танцами занимался. В общем, был ребенком, не обделенным талантами.

Видя это, мать отправила сына учиться в Виленский дворянский институт (университет после восстания был закрыт). Но когда Черский завершал учебу, грянуло новое восстание, на этот раз под руководством Кастуся Калиновского. Историки умалчивают (какие-либо сведения ими не выявлены), что подтолкнуло восемнадцатилетнего юношу не просто влиться в ряды борцов с царизмом, но и вступить в отряд самого «Яські з-пад Вільні». Но одно известно точно: «строчка» в повстанческой биографии Черского оказалась очень короткой, всего четыре недели. Однако обошлась она ему дорого: попав в плен, был сослан в Сибирь. В Омске его отдали рядовым в первый Западно-Сибирский линейный батальон.

Но люди-то знающие, сведущие везде нужны, а поскольку Черский к таким и относился, его вскоре перевели в денщики при офицерском собрании. Чему способствовало знание нескольких иностранных языков, да и высокая эрудированность в целом. Вскоре рядовой Черский заинтересовался естествознанием. И надо же было тому случиться, что сразу же нашелся человек, который не только одобрил эти устремления его, но и стал ему помогать. Это был Григорий Потанин.

Григорий Николаевич, впоследствии прославившийся как выдающийся исследователь Монголии и Китая, увидел в Черском способности к науке. Конечно, Потанин понимал, какие у Ивана Дементьевича жизненные обстоятельства. Но понимал и иное: в такой ситуации нужно работать, как говорится, на опережение, на перспективу. Поэтому подсказывал ему, какой научной литературе нужно уделить первостепенное внимание, а потом и привлек его к исследованиям в окрестностях города.

Иван Черский обнаружил древние черепа, что дало повод написать статью по антропологии — науке, которая в то время делала свои первые шаги. Когда же собрал коллекцию ископаемых раковин, с ней познакомился академик Александр Миддендорф — известный исследователь сибирских просторов, путешественник. Александр Федорович посоветовал ему продолжать изыскания в этом направлении. Да вот незадача: познакомились летом 1868 года, а вскоре Черский серьезно заболел. У него стало «пошаливать» сердце. И сегодня это опасно, а в то время… Однако свет не только не без добрых людей — нашлись и те, в том числе и медики, кто болезнь Ивана Дементьевича не воспринял всерьез. Посчитали, что Черский ищет способ отлынивать. Да и не случайно с Миддендорфом связь поддерживает. Рассчитывает, что его уволят из армии и он сможет заниматься научными исследованиями.

В течение семи месяцев проводили различные проверки, не ограничиваясь только медицинскими. Но все говорило о том, что Черский и в самом деле тяжело болен. Пришлось все-таки уволить его из линейного батальона. А благодаря ходатайству ученых Сибирского отдела Русского географического общества Иван Дементьевич в 1871 году получил право на проживание в Иркутске. Это для начинающего исследователя было великим счастьем. Иркутск в то время являлся центром научной мысли Сибири. При местном отделе Географического общества работал музей, насчитывавший около 22 тысяч экспонатов. Черский стал хранителем его.

Три — число магическое?

Поселился же в одном из домов на окраине города. У вдовы с широко распространенной русской фамилией Иванова было две дочери: старшая Мавра и младшенькая Оленька. Мавре, когда Черский появился в их доме, исполнилось всего четырнадцать лет. Обычная девочка-подросток, разве что очень любознательная и общительная. Да и трудолюбивая. И матери по хозяйству помогает, и ему, квартиранту, если нужно, в комнате уберет.

Однако поначалу Черский особого внимания на нее не обращал: слишком уж юное создание, да и разница в возрасте значительная — двенадцать лет. Правда, как-то разговорившись — не с Маврой, а с ее матерью, удивился странному совпадению. Оказывается, оба — он и Мавра — родились 3 мая, только она в 1857 году. Хотя особого значения этому тогда не придал. Это совпадение невольно стало вспоминаться по происшествии нескольких лет. До этого они с Маврой успели уже стать хорошими друзьями. Сблизились, когда начал ее учить читать и писать, чего, как с удивлением узнал, она до тех пор не умела. Ученицей, кстати, оказалась очень способной, многое схватывала на лету. Когда же повзрослела, то почувствовал, что она нравится ему.

Это, конечно, была еще не любовь. Но ему хотелось подольше оставаться с девушкой наедине, разговаривать — о чем, не так и важно. Как стал замечать, и Мавра небезразлична к нему. Тогда-то и стало всплывать в его памяти число 3, становясь как бы магическим. Видимо, все-таки не случайное это совпадение. 3 мая, безусловно, это начало, связующее их. «Хотя, что загадывать наперед, — рассуждал Черский. — Подрастет Мавра, тогда все и решится. Не само по себе, конечно». А в том, что лучшей жены ему, чем эта простая девушка, не найти, Иван Дементьевич убеждался все больше и больше.

На решительный шаг пошел, когда Мавре исполнилось двадцать лет, а самому, следовательно, — тридцать два года. Чем не пара? Оба молоды, легко находят общий язык. Да и любят друг друга. Сделал предложение. Мавра ответила согласием. Как призналась позже, уже тогда, когда были мужем и женой, она и сама ожидала этого момента, даже удивлялась, почему Иван медлит. Но то, что должно было случиться, случилось: сентябрь 1877 года стал весной жизни Ивана Черского и Мавры Ивановой, — тогда родилась семья Черских.

С этого времени они старались всегда быть вместе. Если осенью 1877 года Черский еще один изучал Байкал, то летом следующего года они уже вдвоем плавали в лодке, изучая берега этого сибирского моря. А потом исследовали реки Большую и Быструю, Баргузинский залив, Приморский хребет. Как результат — работа, за которую получили награду. Ею стала золотая медаль Русского географического общества. Официально она, конечно, была присуждена Черскому, но заслуга-то была их общая, чему Мавра Павловна очень радовалась.

Нет добра без… худа

Третья экспедиция на Байкал состоялась летом 1879 года. Однако на этот раз Иван Дементьевич отправился один: жена была беременна. Но мальчик, которого назвали Сашей, появился на свет вовсе не в Иркутске — Иркутска в то время уже не было. Страшный пожар и следа не оставил от города. Уцелели только тюрьма, жандармское управление, золотоплавильня и губернаторский дом. Жители спасались от огня как могли. Мавра Павловна на обычной крестьянской телеге и родила сына. Вернувшись из экспедиции, Черский одновременно узнал и радостную, и печальную весть. Печальная весть усугублялась тем, что сгорело здание Географического общества с библиотекой и музеем, а в нем хранились все коллекции, собранные им с 1873 по 1875 год.

Пережитое не прошло бесследно. Здоровье после всего этого еще больше пошатнулось: Черскому стала угрожать слепота. Вердикт врачей был категоричным: оставить исследовательскую работу хотя бы на год. Легко сказать — оставить! А жить на что? Ютилась же семья, как и большинство погорельцев, во временном лагере и еле сводила концы с концами. Но жена, его любимая Маврушка, а только так он ее теперь называл, сказала с той же решительностью, которая была присуща и врачам: раз надо, значит надо. Иван Дементьевич устроился приказчиком в овощную лавку, а жена стала приводить в порядок его записи. А еще

начисто переписала рукопись, в которой дано геологическое описание побережья Байкала и горных систем, которые прилегают к нему.

Надежной опорой стала она для Черского. Как и подобает настоящей жене, подставила свои хрупкие плечи, чтобы муж чувствовал себя уверенно. Благо врачи о слепоте уже не говорили. Да и Географическое общество предложило в 1882 году заняться метеорологическими наблюдениями в селе Преображенское на берегах реки Нижняя Тунгуска, а также изучать в этом районе четвертичные отложения, флору и фауну. Поэтому уже первого сентября Черские были в Преображенском. Несмотря на то, что здоровье по-прежнему подводило, Иван Дементьевич трудился не покладая рук, проводя различные замеры три раза в сутки. Не отставала от него и жена. Весной же и летом следующего года это делали вместе, каждый час с семи до девяти часов вечера. Мавра Павловна работала наравне с мужем. Она быстро освоила все тонкости нового для нее дела.

Наградой Черскому стала не только высокая оценка Географическим обществом исследований, но и то, что в 1883 году его, учитывая научные заслуги, освободили от пожизненной ссылки в Сибирь, а через два года полностью амнистировали. При этом, безусловно, не обошлось без ходатайства Географического общества. Оно же и пригласило Черского в Петербург.

Одна семья: родители и Сашенька

После тихого Иркутска, по сути, не успевшего восстановиться после пожара, шумная столица Маврой Павловной была воспринята неоднозначно. С одной стороны, для нее это был, образно говоря, выход в люди, возможность познакомиться с доселе незнакомым миром. Но одновременно резкая смена обстановки не лучшим образом сказалась на настроении. Да и сырой петербургский климат явно не лучшим образом сказывался на здоровье ее мужа. Ко всему, семья ютилась в небольшой квартирке на Васильевском острове, а неустроенность быта также мало радовала. Плюсом же являлось то, что можно будет дать сыну достойное образование. А еще, была она уверена, открывались большие перспективы для научной работы мужа. Впрочем, как и для нее самой.

В том, что наука становилась частью ее жизни, Мавра Павловна убеждалась все больше и больше. Это поняла еще тогда, когда они отправились из Иркутска по Большому Сибирскому тракту. Хотя с ними был и сын, иногда отклонялись от этого маршрута. Проводили наблюдения в окрестностях Минусинска, исследовали местность вблизи Падунского порога на Ангаре. Мавра Павловна не только не упрекнула мужа за то, что тем самым они задерживаются в дороге, наоборот, это было в радость и ей самой. Появлялась возможность снова приобщиться к тому, что вызывало у нее удовольствие от своей востребованности. И от осознания того, что нужна она мужу не только как жена, но и товарищ по работе.

Когда же в Петербурге узнала, что муж в свободное время разрабатывает план будущей экспедиции по северным рекам, не стала отговаривать его от этой затеи, хотя основания были. Видела, что ему нездоровится, хоть и пытается, как обычно, всячески скрывать это. Да и Саша был совсем еще маленький. Значит, отправившись в экспедицию, его придется опять оставить в Петербурге. Только с кем? Однако понимала, что нет безвыходных ситуаций, поэтому и с Сашей все как-нибудь уладится.

А тут еще Академия наук предложила Ивану Дементьевичу осуществить поход в район реки Анабары, где в вечной мерзлоте нашли двух мамонтов. Узнав о таком предложении, он выдвинул и свой встречный план, который разрабатывал в последнее время. Сообщил академической комиссии, что много интересного дадут науке исследования систем рек Яны, Индигирки и Колымы. Комиссия

охотно пошла ему навстречу и, несмотря на то, что по предварительным расчетам эта экспедиция должна была занять четыре года, охотно согласилась ее профинансировать. Кроме того, не откладывая дело в долгий ящик, утвердили и состав экспедиции. Нашлось в ней место и Мавре Павловне. Но не рядовым сотрудником должна была она ехать, а зоологом.

Однако сразу же встал вопрос, как быть с сыном. Конечно, такая поездка для него была бы интересной, расширила бы его кругозор, познакомила с неизвестными ему видами флоры и фауны, но… Все упиралось в то, что экспедиция рассчитана на долгое время, впереди ожидалось немало трудностей, преодоление которых и у взрослых требует большого напряжения, физических и духовных сил, а что в таком случае говорить о мальчонке? Да и вряд ли бы пошло ему на пользу то, что пришлось бы прервать обучение в гимназии. Поэтому, основательно взвесив все «за» и «против», решили, что все же Саше лучше остаться в Петербурге. Тем более что легко решался вопрос с его проживанием без них. Охотно согласился принять Сашу в свою семью известный зоолог Валентин Бианки, сын которого был его школьным товарищем.

Только не всегда все можно заранее предвидеть. Так получилось и на этот раз. В связи с отъездом экспедиции Валентин Львович организовал у себя на квартире прощальный ужин. Саша ко всему происходящему относился довольно спокойно, поскольку уже успел освоиться в новой семье. Поэтому, побыв немного со взрослыми, он ушел в отведенную для него комнату. Но стоило зазвучать пожеланиям отъезжающим счастливой дороги, как из комнаты, в которой находился Саша, послышались рыдания. Когда открыли дверь, увидели, что он горько плачет: никак не реагировал на расспросы, да и вообще ничего не говорил, только плакал.

— Надо брать его с собой, — решительно заявил Иван Дементьевич.

— Согласна, — ответила Мавра Павловна.

— Извините, — удивился Бианки, — вы хотя бы понимаете, что говорите? Там же холод, вечная мерзлота.

— Там будем мы, мать и отец, — спокойно отреагировал на это Черский.

Иван Дементьевич был спокойным, рассудительным, с чувством юмора, но если требовалось, проявлял твердость и решительность. Между прочим, эти качества перенял от отца и Александр Черский. Чего не скажешь о его двоюродном брате Генрихе. Узнав о том, что создана Колымо-Индигирская экспедиция под руководством его дяди, он поспешил записаться в нее в качестве препаратора и стрелка.

Иван Дементьевич, однако, рано радовался. В последний момент его племянник «дал отступного», отказался от похода. Возможно, побоялся или были какие-то другие причины. Но Черский не стал это выяснять, расценив такой поступок Генриха как предательство. Да и времени не было разбираться во всем этом. Было решено, что обязанности препаратора станет исполнять Мавра Павловна. При надобности найдется кем заменить и стрелка. Особенно если учесть, что проводники будут из местных жителей, а те стреляют очень метко.

Официально — так официально

Правда, все это были, как говорится, цветочки. В чем убедились уже весной 1891 года по прибытии в Якутск, исходный пункт экспедиции. Предстояло снарядить караван, а также нанять лошадей до Верхнеколымска. Если решение первой задачи особых трудностей не вызвало, то с приобретением лошадей было не так просто. Безусловно, имей Черский деловую хватку, это можно было бы решить довольно просто. С одним подрядчиком переговорить, со вторым, третьим… Кто запросит меньшую цену, у того и взять лошадей.

Иван Дементьевич с просьбой о помощи обратился к губернатору. Но тот не стал всем этим заниматься. Вызвал к себе некого Кривошапкина из Оймякона, слывшего самым проворным среди подрядчиков, и препоручил ему просьбу Черского. Кривошапкин же оказался из тех, кто, решая любое дело, старательно обдумывает, какой «навар» с этого получит. Поэтому и нашел для экспедиции таких лошадей, каждая из которых обходилась по 100 рублей. Все бы ничего, но обычно лошади стоили всего по 50—60 рублей. Искать же другого, более честного подрядчика, не было времени. Уже был июнь, а в Верхнеколымск следовало добраться до августа, поскольку по прибытии нужно было основательно подготовиться к долгой сибирской зиме, с которой шутки плохи.

Для экономии средств, выделенных на экспедицию, Черский решил взять меньшее количество лошадей. Следовательно, нужно было обойтись самым необходимым грузом. Поэтому с собой взяли только научное оборудование. Продовольствия же — ровно с таким расчетом, чтобы его хватило на дорогу. Остальную часть грузов, в том числе и дополнительное продовольствие, им пообещали доставить почтовым путем.

Выезд из Якутска был назначен на 14 июня. За день до этого Иван Дементьевич распределил основные обязанности. На себя взял, как и следовало ожидать, общее руководство экспедицией. Но не только. Поскольку экспедиция была научной, также на нем были и геологические наблюдения. Чем будет заниматься его жена, оговорил с ней еще в Петербурге. Теперь обязанности ее уточнил перед всеми членами экспедиции:

— Мавра Павловна будет собирать зоологическую и ботаническую коллекции. В вашу обязанность входят и другие исследования.

Говорил официально, давая понять, что семейные отношения — это семейные отношения, но они ни в коем случае не должны сказываться на работе. Мавра дала знать, что в данном случае такой стиль отношений поддерживает:

— Не могли бы уточнить, что вы имеете в виду под «другими исследованиями»?

— В каждом конкретном случае, — ответил Черский, — это будет оговорено. Но и не забывайте…

— Понимаю, на меня ложатся и все хозяйственные заботы.

— Как и само хозяйство, — уточнил Черский.

— Папа, — подал свой голос Саша, — а что я буду делать?

— Александр Черский, — Иван Дементьевич сделал суровое выражение лица, хотя ему хотелось улыбнуться, но раз официальный разговор, то никакого исключения, — в данном случае я для вас никакой не папа, а начальник экспедиции.

Саша быстро нашелся:

— Простите, Иван Дементьевич, — сказал он, чем вызвал у всех улыбки.

На этот раз не удержался, улыбнулся и Черский, но тем не менее, продолжил официально:

— Вы, Александр, будете помогать Мавре Павловне собирать зоологическую и ботаническую коллекцию. Понятно?

— Так точно, — ответил Саша по-военному, видимо, в какой-то книге вычитал об уставных отношениях в армии.

С трудностями — да не в обиде

Впереди было две тысячи верст по местности, по которой до этого не ступала нога геолога. Где-то эта местность была гористой, где-то — болотистой. Преодоление на лошадях горных перевалов с длинными подъемами и крутыми спусками, а также переходы через бурные реки приносили мало радости. Однако наиболее трудным было передвижение по болотам неподалеку от реки Хатынги

и топи Зырянки, состоящих из сплошной грязи, готовой проглотить все живое.

Позже, делая отчет о работе экспедиции, Черский рассказал об этом продвижении по трясине: «Человек, не побывавший в таких болотах, не может оценить силу той нравственной и физической усталости, которая вызывается постоянным напряженным состоянием во время езды по таким местам. Лихорадочная торопливость овладевает и лошадью, чувствующей, как вязнут ее ноги: с трудом освобождая их из зыблющейся трясины, животное мечется и бьется в самых неизящных движениях, причем из-под ног его вырываются большие куски мохового покрова и взлетают далеко вперед и в сторону. Надеясь найти около корней деревьев более устойчивую почву, она мчится прямо на лесину, нанося удар в колено или плечо ездока, в особенности потому, что ствол дерева, растущего на зыблющемся торфянике, не всегда выносит тяжесть взобравшейся на его корни лошади и сейчас же наклоняется в сторону. Изгибаются ездоки, отстраняя ветви и сучья от глаз; ударяются вьюки о деревья; выбившиеся из сил лошади падают, роняют вьюки на ездоков. Раздаются громкие крики: тох-то, тох-то (стой-стой) и хот-хот (ну-ну). Временною развязкою такой удручающей возни бывает обыкновенно весьма жалкая картина: 5 или 8 лошадей лежат в различных, нередко очень странных позах и требуют безотлагательной помощи людей».

Черский с женой.

А каково в таких условиях было Мавре Павловне, Саше? Но они не роптали, а в месте со всеми мужественно переносили все тяготы пути. Кроме того, Мавра Павловна вместе с мужем дважды в день проводили различные исследования. Записывали метеорологические данные, определяли высоту местности, по которой проходили. Зоологическая и ботаническая коллекции пополнялись новыми экспонатами. Во всем этом родителям помогал Саша, который взрослел прямо на глазах. Также в пути, да и позже, он получал и своего рода уроки семейного воспитания, воочию убеждаясь, сколь это великая сила — семья. Видел, как чутко и бережно относятся отец и мать друг к другу.

Экспедиция становилась для него настоящей школой возмужания, тем более что поводов показать, на что ты способен, было предостаточно. Пришлось преодолевать серьезнейшую водную преграду — реку Алдан, известную своим крутым нравом. На пути было и несколько хребтов: предгорья Верхоянского, хребты Тас-Кыстабыт и Улахан-Чистай, которые на русский язык переводятся

соответственно как «Камень набросанный» и «Большое безлесое пространство». Пересекли и их, хотя погода не слишком благоприятствовала этому. То стоял сплошной туман, то начинал идти обильный снег, то к снегу прибавлялся шквальный ветер. Еще один перевал, безымянный, на пути экспедиции стал последним. Его Черский назвал Индигаро-Колымским водоразделом.

А еще для экспедиции, когда она спустилась в долину, настоящей напастью стали осы. Эти насекомые облюбовали себе лесные чащи, а поскольку погода стояла даже не теплая, а жаркая, что характерно в этих местах для начала августа, то осы опять ожили. Лошади, заслышав их жужжание и зная, чем это чревато, пугались, шарахались из стороны в сторону. Нередко делали это так резко, что сбрасывали с себя ездоков. Приходилось только уповать на Бога, чтобы скорее оставить эту местность.

Но погода в августе в Якутии очень переменчива. В середине августа зима снова напомнила о себе. Резко похолодало, повалил густой, обильный снег, наподобие того, какой шел, когда преодолевали один из хребтов. Но тогда это длилось недолго. Теперь же, как заверили аборигены, тепла ожидать не следовало. Снег, конечно, перестанет идти, но на смену ему придут дожди. Так и получилось. Погода окончательно испортилась, и ни о каком пополнении коллекций разговора идти не могло. Оставалось довольствоваться теми экспонатами, которые успели собрать. Но Мавра Павловна, чтобы время не пропадало зря, стала расспрашивать якутов, которые встречались им на пути, об их быте, традициях, об особенностях той или иной местности. Это ей не составляло особого труда, поскольку легко находила с ними общий язык. Они относились к ней с уважением и почтением еще и потому, что она помогала им дельными советами, лечила больных.

В Верхнеколымск экспедиция прибыла 28 августа, затратив на дорогу 76 дней. Учитывая сложность пути, не так и много. Отдохнув день-другой, стали готовиться к зимовке. Поскольку в этих местах зима длится девять месяцев, к ней следовало хорошо подготовиться. Конечно, с учетом местных реалий и своих возможностей. Поэтому первое, что сделали, благоустроили выделенное им в центре поселка жилье.

Этот дом считался в городе лучшим, но он мало чем отличался от других. Окна слюдяные... Разве что более просторный. Но уже через два дня его было не узнать. Мавра Павловна повесила на окна занавески, деревянный топчан обила войлоком. Вся жилая площадь была разделена на гостиную и две спальни, а из старых дверей получился письменный стол. Как по взмаху волшебной палочки, появились изящные салфетки, блестящие клеенки.

Мавра Павловна как могла создавала уют, налаживала быт. Была она рачительной хозяйкой, старалась радовать мужа и сына чем-нибудь вкусненьким. Поначалу это был хаяк — взбитая и замороженная смесь молока и масла. После того, как эти запасы исчерпались, готовила разнообразные блюда из рыбы, рецепты которых узнала у верхнеколымских женщин, с которыми быстро подружилась. Таких рецептов набрался не один десяток.

«Пировали» Черские, правда, недолго. Старые запасы начали иссякать, а обещанный провиант так и не доставили. Пришлось экономить, но с таким расчетом, чтобы и родные не голодали, и чтобы было чем встретить гостей. А на чаепития к Черским вскоре стал приходить местный священник, да не один, а с семьей. Наведывались псаломщик, исправник. Их Мавра Павловна обязательно угощала чем-нибудь вкусненьким. Для них находился и сахар, вкус которого они и сами подзабыть успели, и жирные лепешки, которые, конечно же, каждый день не пекли. К счастью, исправник в долгу не остался. Видя, что для освещения Черские пользуются коптилками, он подарил им фунт стеариновых свечей, что было очень кстати. Иван Дементьевич и Мавра Павловна, когда не было гостей, без дела не сидели. Обрабатывали собранные материалы, описывали коллекции, составляли отчеты о том, что уже успела сделать экспедиция.

Свободного времени оставалось в избытке, а до конца зимы, которая основательно установилась уже 12 октября, было очень далеко. Но особого дискомфорта не чувствовали. Правда, сначала из окон очень сильно дуло, но местные жители подсказали, как утеплить жилье. К оконным проемам приставили толстые плиты льда, после чего их подперли жердями, затем «приклеили» к рамам, используя для этого снег, смоченный водой. Остальное оставалось за морозом, а тот, зная свое дело, все это моментально «сцементировал». Получилось герметично и надежно — до самой весны.

Кроме основной работы, связанной с делами экспедиции, Черские все больше стали уделять внимания изучению быта коренного населения. К некоторым аборигенам наведывались в гости, некоторые сами приходили к ним, а якут Анисим Слепцов Ивану Дементьевичу настолько понравился, что он предложил ему пожить у них. В одном из своих отчетов Черский заметил, что его «умственным способностям… и силе того интереса, какой предъявляется им к науке и вообще отвлеченным вопросам, могут позавидовать и многие европейцы».

Однако, как ни старался Черский держаться, по его бледности, слабости, которая все больше давала знать о себе, члены экспедиции, а прежде всего жена, не могли не заметить, что он тяжело болен... Мавра Павловна еще и пыталась как могла подбодрить мужа. Напоминала, словно он этого и не знал, что скоро снова в дорогу. Говорила о том, что предстоит еще провести немало исследований, а из-за этой долгой зимы так много времени упущено.

В этот момент он с умилением смотрел на нее, который раз ловя себя на мысли, как ему повезло в том, что связал свою судьбу именно с этой женщиной. Конечно, если бы он взял себе в жены какую-либо другую девушку, могло статься так, что она его также любила бы, как и Мавра. Однако вряд ли бы могла стать еще и единомышленником в деле, которому посвятил он себя, и надежным соратником. Значит, сам Всевышний помог ему сделать именно этот, а не иной выбор, заранее предусмотрев все. Могло же статься и так, что снял бы квартиру и не у вдовы Ивановой — в Иркутске желающих сдать жилье внаем предостаточно: никому ведь копейка лишней не бывает. Однако сам Всевышний пошел ему навстречу. Волей Божией было заранее предопределено, чтобы он встретил на своем пути Мавру.

«Господи, как же я благодарен тебе», — подумалось Черскому.

Надежда по весне

Жена и не догадывалась, что муж уже написал завещание, которое передал священнику Василию Сучковскому, не однажды бывавшему у них в гостях. В нем Черский, по сути, давал указания, как действовать после того, как его не станет: «В случае моей смерти, где бы она меня ни застала, экспедиция под управлением моей жены Мавры Павловны Черской должна все-таки летом непременно доплыть до Нижнеколымска, занимаясь главным образом зоологическими и ботаническими сборами и разрешением тех из геологических вопросов, которые доступны моей жене. Иначе, то есть если экспедиция 1892 года не состоялась бы в случае смерти, Академия должна понести крупные денежные убытки и ущерб в научных результатах, а на меня, вернее, на мое имя, до сих пор еще ничем не запятнанное, ложится вся тяжесть неудачи. Только после возвращения экспедиции обратно в Среднеколымск она должна считаться оконченною; только тогда должна последовать сдача остатков экспедиционной суммы и экспедиционного имущества».

Черский панацею едва ли не от всех болезней видел в растении под названием наперстянка. Как-то не удержался, признался в этом Мавре, недвусмысленно заметив, что настойка из наперстянки могла бы ему помочь. Да только

где найдешь ее в захолустном поселке. Однако Мавра все-таки попыталась. Но все ее старания найти это якобы чудо-растение оказались тщетны. Аборигены о нем даже и не слышали. Приезжие же смотрели на нее с удивлением. Мол, о какой наперстянке может идти разговор в такой глухомани. Да еще зимой. Пришлось сказать мужу всю правду. После чего у него и прибавилось пессимизма, хотя до этого, несмотря на то, что чувствовал себя далеко не лучшим образом, мог и пошутить, и рассказать какую-нибудь байку. Теперь же будто подменили человека. К счастью, это продолжалось недолго. Здоровья у Черского, правда, не прибавилось, а вот настроение резко улучшилось.

Да и как не улучшиться было ему, если 31 мая паводок окончательно прошел и река Колыма вошла в свое привычное русло. Значит, можно продолжать работу экспедиции. Берега, доселе затопленные, стали доступными для проведения исследований. Конечно, спада воды ожидали с нетерпением все, но Черский — особенно. Он хотел сделать как можно больше сам. Точнее, по мере возможности подсказывать Мавре, как действовать в той или иной ситуации. О том, чтобы самому выходить в нужных местах на берег, и речи не могло быть. В карбас, так юкагиры называли свои лодки, его перенесли на руках. Но он воспрял духом, когда началось плавание.

Если работать, так до последнего

Ожившую после долгой зимы Колыму было не узнать. Она стала совсем не похожа на ту, которую увидели осенью, прибыв в Верхнеколымск. Тогда река чем-то напоминала уставшую женщину, с нетерпением ожидающую после праведных трудов отдыха. Окрестная природа также находилась в ожидании зимней спячки. Желтые листья с прибрежных деревьев лениво падали вниз и, так же лениво покачиваясь на воде, плыли по течению. Солнце без особого интереса смотрело на это из-за темных туч. Да и откуда было взяться интересу, когда все это было ему до боли знакомо и повторялось из года в год. Деревья, сбрасывающие свою листву. Нудный моросящий дождь, не прекращающийся днями. Голые берега, на которые, казалось, никогда не ступала нога человека. Отсутствие птиц, которые еще совсем недавно своим пением оглашали окрестность.

Теперь же солнце на все это смотрело так, словно видело его впервые. Особенно впечатлил его карбас, напоминающий живой маленький островок посреди полноводной реки. Он продвигался очень быстро, поэтому создавалось такое впечатление, что не сам плывет, а несет его некая невидимая сила.

— Красотища какая… Глядя на буйство зелени на берегах, я вспомнил свою родную Свольню. Там так же красиво по весне, как и здесь.

— Съездим еще в твою Свольню. Ты, я и Саша.

— Без меня съездите…

Черский, хотя и не сомневался, что дни его на этой грешной земле сочтены и вскоре он уйдет в мир вечности, продолжал трудиться. Давал жене советы перед тем, как она отправлялась на берег осматривать обнажения пород, а еще ежедневно пополнял дневник новыми записями, рассказывал о том, что было сделано за день. Но не только об этом. Когда зимой в Верхнеколымске к ним наведывались гости, немало узнал интересного о жизни и обычаях народов Севера, услышал некоторые легенды и предания. Одну легенду привел в дневнике, когда на пути экспедиции оказался остров:

«Июня 1-го в 6. 40 пристали ночевать к острову Пяткову… О Пяткове существует легенда. Лет 100 назад казак жил с семьей на названном острове, считался колдуном за удачный промысел и силы был неимоверной. Однажды, возвратившись домой, сын его застал все семейство мертвым, причем около них «управлялся еще злой дух впотьмах». Молодой Пятков вышел из избы, вроде бы ничего

не заметив и жалуясь, что все спят и некому выпрячь его собак, а сам сел в нарты и погнал в Верхнеколымск. Злой дух догнал его в дороге, вырвал сердце и сказал: «Оповествуй всем, что видел, и скажи, что тебе осталось только три дня жизни». Так умер последний Пятков. Их именем назван как остров, так и рукав Колымы. Местность эту все объезжают. И там еще уцелели постройки Пяткова…»

Прежде чем записать эту легенду, вечером рассказал ее жене. Мавра, затаив дыхание, слушала эту историю.

Поутру она собиралась на этот остров. Она взяла с собой одного из якутов, который сопровождал экспедицию в плавании. Перед тем как отправиться на остров, попросила сына:

— Присматривай, Сашенька, за папой.

Не успел тот ответить согласием, как голос подал казак Расторгуев:

— А я, Павловна, на что?

— Два глаза хорошо, а…

Расторгуев не дал ей договорить, сам продолжил:

— …а четыре лучше.

Это Расторгуев во время плавания был незаменим. Прежде всего потому, что хорошо знал якутский язык, да и с юкагирами, эвенками общался без особых трудностей. Из-за этого Иван Дементьевич и взял его с собой. Немаловажным было и то, что Расторгуев до этого сопровождал и другие экспедиции, поэтому хорошо знал, что от него в таких случаях требуется. А уже в дороге выяснилось, что, ко всему, он и общителен, с ним легко найти общий язык, что и сблизило их с Черским. В дороге же это очень важно, особенно в незнакомых местах.

По возвращении Мавра Павловна сообщила об увиденном:

— Остались развалины избы, других построек… Местами эти развалины успели порасти лесом.

…Здоровье Черского все ухудшалось. Лекарств подходящих не было. Разве что чай брусничный немного помогал.

Бруснику прихватили с собой, когда оставляли Петербург, а малины Мавра насобирала уже здесь, в Якутии, прошлогодним летом. Климат-то тамошний — резко континентальный. Суровая и продолжительная зима, жаркое короткое лето. Но и его достаточно, чтобы выросли и некоторые ягоды, распространенные в европейской части России. Успели они и созреть. Малина — не исключение.

Полностью надежда на лучшее оставила Мавру Павловну после того, как у Ивана Дементьевича не стало сил самому вести дневник. Это она засвидетельствовала записью от 20 июня: «Сегодня муж передал дневник мне, так как сам был не в состоянии вписывать наблюдения». Назавтра его состояние еще больше ухудшилось. Кашель стал таким сильным и частым, что муж не мог уснуть. Но несмотря на это, и в этот день Мавра продолжила то, чем занималась во время этого плавания: высадившись на берег, брала образцы горных пород и окаменелостей, запоминала ландшафты, о чем по возвращении рассказала в дневнике.

Через два дня экспедицию ожидало новое серьезное испытание: началась такая сильная буря, которой доселе в этих местах им не приходилось видеть. Впечатление было такое, что небо смешалось с землей, а ветер поднимал такие высокие волны, что они готовы были потопить карбас. Выход оставался один — срочно пристать к берегу, что и сделали возле урочища Кресты. Однако, переждав бурю, убедились, что сразу отправляться в дальнейший путь нельзя. В этом месте русло Колымы становилось значительно шире, а чем дальше, тем больше. Это осложняло плавание, поскольку следовало выбирать наиболее безопасный путь. Найти же его мог только опытный лоцман. На поиски его ушли сутки. Все это время Черский нервничал, несколько раз спрашивая:

— Когда же мы, наконец, поплывем!

Мавра Павловна понимала, что у мужа и в самом деле оставалось совсем мало времени. По сути, от нее теперь ничего не зависело. Можно было лишь скрасить его последние дни уважением, любовью, нежностью. Вскоре у мужа начались очень сильные боли. Она, к сожалению, ничем не могла облегчить его страдания. Оставалось одно: говорить нежные, ласковые слова и мысленно повторять: все будет хорошо, все будет хорошо…

Забрал к себе Всевышний

Природа же периодически показывала свой крутой нрав. Спокойная погода держалась недолго. Будто по велению свыше, солнце, только что радостно светившее на небе, вдруг исчезало за неизвестно откуда взявшимися тучами, которые начинали извергать потоки воды.

Хорошо еще, что над местом у носа карбаса, где размещался Черский, был сделан навес, и он хоть немного оберегал его от воды. Однако при сильном ливне и ветре проку от этого было мало. Поднимались высокие волны, и карбас буквально перескакивал с гребня на гребень. Приставать к берегу и не помышляли. Помнили просьбу Черского: «Вперед, только вперед», ставшую теперь для всех приказом. Прежде всего для гребцов, которые изо всех сил не только удерживали карбас наплаву, но и огромными усилиями продвигали его вперед.

А Ивану Дементьевичу становилось все хуже и хуже. Его начали душить спазмы. Ночью 25 июня они были настолько сильные, что он так и не уснул, а с рассветом все убедились, что жить Черскому осталось всего несколько часов. Хлынувшая из носа кровь застревала сгустками, и Мавре Павловне, чтобы облегчить страдания мужа, да и уберечь его от удушья, пришлось эти сгустки вытаскивать пинцетом. Когда стало немного легче, сказал ей:

— Подготовься, Мавруша, к страшному удару.

Она сразу поняла, что ее Ванечка имеет в виду, а он добавил:

— …и будь мужественна в ненастье.

Стоило ей отойти — хотела разогреть чай, как Черский начал объяснять Расторгуеву, что делать в случае его смерти:

— Возьмешь из аптечки нашатырный спирт и сердечные капли. Дашь Мавре, если ей станет плохо.

Сама же Мавра Павловна в это время наставляла сына:

— Помнишь, Сашенька, я говорила тебе, что делать с документами и коллекциями, если с отцом или со мною что-нибудь случится?

— Помню.

— Отец Василий поможет добраться тебе до Якутска, а оттуда до Иркутска. В Иркутске обратишься, сыночек, в Сибирский отдел Географического общества.

— Понял, мама, — ему было тяжело, но он старался держаться.

— Молодец. Я верю в твои силы и мужество, сынок.

То, что сказала жена в конце разговора с сыном, услышал Иван Дементьевич. Он жестом подозвал Сашу к себе:

— Слушай и запоминай…

Это были последние слова Черского. В десять часов вечера 25 июня 1892 года, когда карбас очутился в устье реки Прорва, Иван Дементьевич умер.

И — о чудо! — тут же разыгралась такая буря, какой в конце июня в этих местах никогда не бывало. Пошел такой густой снег, который не всегда выпадает и зимой. Вокруг ни зги не видно, а волны на Колыме поднялись такие большие, что о продолжении плавания не могло быть и речи. Пришлось свернуть в речку Прорву, которая была спокойнее, а тело Черского, предохраняя от дождя и снега, укрыли корой деревьев.

Буря, которая стала как бы своего рода реквиемом о выдающемся исследователе, успокоилась только через четыре дня.

Поставив на месте смерти Черского большой крест, экспедиция продолжила свой путь к Нижнеколымску. Руководителем ее стала Мавра Черская. Она вела экспедицию так же уверенно, как до этого Иван Дементьевич. Она подыскивала место его постоянного упокоения, о чем признавалась и в дневнике: «Мне хотелось похоронить мужа вблизи какого-нибудь селения…»

Подходящее место нашли близ урочища Омолонье, расположенного на левом берегу реки Колымы против устья реки Омолон. Проводники для гроба выбрали толстое бревно, принесенное течением. В нем выдолбили нишу, в которую и поместили тело Черского. Но когда начали копать могилу, столкнулись с трудностями. Углубились только на каких-то сантиметров 30—40, как пришлось остановиться — началась вечная мерзлота. Земля настолько промерзла, что и топор мало помогал. Поэтому, пока вырыли могилу, гроб с телом Черского простоял в местной часовенке трое суток.

Горечь утраты скрашивало лишь то, что немногочисленный люд урочища оказался сердечным и гостеприимным. Все без исключения были православными, все сострадали чужому горю. В дневнике Черская оставила об этом такую запись: «Жители здесь оседлые юкагиры, они совершенно обруселые, живут по-русски, все православные. По-юкагирски говорят из 19 человек двое; постройки их русские. Одеваются по-русски, очень религиозные; кроме собак, никакого скота не имеют; питаются рыбой. Муку они называют провиантом. Народ очень добрый, приветливый; они весьма сочувственно отнеслись к моему несчастью».

1 июля Ивану Дементьевичу были отданы последние почести. Чтобы подчеркнуть, что теперь в их семье настоящим мужчиной остается сын, Мавра Павловна предложила Саше установить вокруг могилы ограду, что он, конечно, сделал, после чего почувствовал себя по-настоящему взрослым. Но не мог не понимать, что эта утрата для него такая большая, как и для матери, в чем-то даже и большая, поскольку ему так будет не хватать настоящего советчика и друга, каким для него все время и являлся отец. Мавра Павловна же, будучи уверенной, что посетить место захоронения дорогого им человека они смогут только однажды, по возвращении назад, попросила одного юкагира ухаживать за могилой. К слову заметить, данное ей обещание этот юкагир исполнил. Один из ссыльных впоследствии передал Черской фото, по которому было видно, что могила Ивана Дементьевича ухожена.

Путь окончен, путь начинается

На следующий день после похорон снова были в пути. Спешили завершить запланированные исследования. Тем более что времени оставалось мало, а непрекращавшиеся дожди усложняли работу. Так продолжалось 20 дней. Впрочем, в этом регионе в таких числах это обычное явление. Но если коренное население привыкло к такой погоде, то приезжим приходилось худо. Вот и Черская по прибытии в Нижнеколымск заболела. Правда, и до этого чувствовала себя неважно, но старалась не подавать вида. Жалела Сашу, на долю которого и так выпали немалые испытания. Когда же он в Нижнеколымске ухаживал за ней, украдкой вытирала скупую слезу. Не только от жалости к нему, но и от гордости за то, что сын не по годам самостоятелен, что из него растет достойный человек.

В обратную дорогу приказала отправляться, еще полностью не поправившись. Опять-таки причина этой спешки понятна: время подгоняло, не за горами зима. Да и самой хотелось скорее завершить маршрут, намеченный мужем. По пути из Нижнеколымска на Среднеколымск пополняла уже собранные коллек-

ции, а 30 июля, посетив его могилу, недалеко от этого места взяла образцы раковин. Как позже выяснилось, они оказались уникальными, благодаря чему известный геолог и географ Владимир Обручев сделал вывод, что между древней фауной Сибири и Аляски существовала связь.

В Среднеколымск экспедиция прибыла 16 августа. В пятнадцати верстах от него попала в сильнейшую метель. Зима еще раз напомнила о себе, показав, что с ней шутки плохи. За короткое время снега выпало до 7 вершков, а это до 31 сантиметра, о чем Мавра Павловна записала в дневнике. Однако настоящего снега, который лежит месяцами, пришлось ждать почти месяц. Поэтому Среднеколымск оставили только в конце сентября, чтобы на санях отправится в Якутск.

Самый трудный участок пути — Верхоянский хребет. Как проходило преодоление его, лучше самого участника этого перехода рассказать невозможно. Поэтому слово Мавре Павловне: «Представьте себе пологий подъем в 5 верст, затем отвесную крутую стену, заканчивающуюся узенькой, не более сажени в ширину, площадкой. Когда взберешься на эту площадку, то зрителю представится страшный обрыв, спуск с которого окажется невероятным, ибо этот обрыв представляет собой почти отвесную стену в 15 сажен высоты. Этот обрыв заканчивается также узенькой площадкой, за которой продолжается крутой спуск в три версты. Чтобы спуститься с такой горы, экспедиции пришлось связать нарты по три-четыре. Со всех сторон эти нарты были привязаны к оленям. При спуске олени, садясь на задние ноги, упираясь передними и тормозя движение нарт, медленно передвигались в головокружительную пропасть. Чтобы еще более затормозить движение нарт, ямщики, лежа на спине или на боку, направляют нарты по должному пути. Наблюдателю с вершины горы кажется, будто люди, нарты, олени мчатся в бездонную пропасть, так как поворот дороги и выступ горы не дают возможности видеть площадок и дна ущелья».

До Якутска добрались только в начале января, а дальше путь Мавры Павловны с сыном лежал в Иркутск. Они и не знали, что когда не стало Ивана Дементьевича, весть о его смерти быстро распространилась по России. Нашлось немало желающих оказать семье Черского посильную помощь. Первыми откликнулись жители Иркутска. В основном это были простые люди, которые иногда отдавали последние гроши. Так и собирали с миру по нитке, а в результате только в Иркутске получилась довольно значительная сумма. Эти деньги и вручил Мавре Павловне управляющий делами Сибирского отдела Географического общества.

— В первое время вам будет хоть какая-то поддержка, — сказал он. — А потом пенсию оформите.

Черская поблагодарила его, но заметила:

— Есть те, кто нуждается в помощи больше, чем мы.

— И кто же это?

— Учащаяся молодежь.

— Но и ваш сын будет учиться, ему также деньги не будут лишними.

— Своего сына я обеспечу сама.

С собой Мавра Павловна взяла только 500 рублей на дорогу до Петербурга. Однако не из пожертвований, а из той суммы, что была выделена Академией наук на нужды экспедиции. Научные же материалы передала Эдуарду Толю, который в это время оказался в Иркутске по пути следования на Яну и Новосибирские острова.

В Петербурге семья Черского без внимания не осталась: опеку над ней взяли товарищи Ивана Дементьевича. Это было очень кстати, поскольку пенсия, которую выделили Мавре Павловне, оказалась очень скудной. Сашу же надо было ставить на ноги. Поначалу, познакомившись с его рисунками, все были уверены, что из него вырастет настоящий художник, поэтому и советовали получить соответствующее образование. Однако сам Саша решил стать натуралистом, пойти по тому пути, по которому шел его отец. Окончил гимназию, потом физико-мате-

матический факультет Петербургского университета. Учился на «отлично», был стипендиатом Академии наук.

С матерью виделся редко. Мавра Павловна, убедившись, что на одну пенсию вдвоем прожить в столице невозможно, договорилась с одним из преподавателей гимназии о том, что Саша будет жить у него в семье, а сама уехала в Витебскую губернию, где жили родственники Ивана Дементьевича. Когда изредка приезжала в Петербург, тогда и встречалась с сыном. А затем им предстояла долгая разлука.

Александру Черскому предлагали работу в университете, однако жизнь в Петербурге не прельщала его. Как и отец, он не мог быть кабинетным ученым. Женился. Мария оказалась сродни своей свекрови. Так же, как и Мавра Павловна, преданная науке, она готова была идти за мужем хоть на край света. Они вместе побывали в Уссурийском и Приамурском краях, на сопках Приморья, на Командорских островах.

Мавра Павловна, к сожалению, больше сына так и не увидела. Зоолог-путешественник Александр Черский утонул у берегов Камчатки в 1921 году, когда с женой возвращался с Командорских островов. Мать намного пережила сына: умерла в 1940 году, когда ей было 83 года. Как-то она призналась: «Я очень сожалею, что смерть мужа не дала мне возможности к дальнейшим научным исследованиям». Но именно то, что повстречала на своем жизненном пути Черского, и поспособствовало тому, что она смогла проявить способности в естествознании. Однако это вряд ли было возможно, если бы Иван Черский и Мавра Павловна не создали семью, которая оказалась дружной, сплоченной, основанной на любви и взаимопонимании.

* * *

Размышляя об их жизни, вспоминаешь цветок, носящий дивное название иван-да-марья. Цветы у него ярко-желтые с красно-бурой трубкой и сине-фиолетовыми прицветниками. Далеко ему до красавиц роз, до изящных лилий, и с гладиолусами его не сравнишь. А смотришь на него и не можешь налюбоваться, ибо в нем та первозданная красота, которая всегда притягивает своей внешней простотой и каким-то удивительным глубоким наполнением. Всем этим была наполнена и жизнь Ивана и Мавры Черских. Так и хочется провести параллель: Иван-да-Мавра, поскольку судьба Черских чем-то напоминает этот уникальный цветок.

Именем Черского названы поселок на Колыме, два горных хребта в Сибири. Есть пик Черского и гора Черского. Успешно работает Иркутское общество белорусской культуры имени Черского… Существует и пик Черской, иначе говоря, горная вершина, носящая имя этой замечательной женщины, хранительницы семейного очага, женщины, стремившейся к покорению высот и в жизни, и в науке. Так что увековечение ее памяти в названии пика — глубоко символично.

Литература, история, жизнь…

Из переписки Ивана Шамякина

Читателям журнала «Нёман» в очередной раз хотим предложить подборку писем к народному писателю Беларуси Ивану Шамякину, а также несколько писем самого писателя. Надеемся, что данная подборка писем заинтересует поклонников журнала и расширит представление об Иване Шамякине, а также о тех людях, с которыми переписывался писатель. Думаем, что интересны будут и сведения о том периоде истории, когда жили участники данной переписки.

1

А. Дмитриева — И. Шамякину

16 марта 1963 г., Москва

Уважаемый Иван Петрович!

Мы все-таки ждем от Вас материал для подборки под рубрикой «Перед первой страницей». Янка Брыль нам прислал несколько очень хорошо написанных страниц, мы надеемся и на Вашу помощь, так как этому материалу придаем важное, принципиальное значение. Тут во всей конкретности предстает перед читателем большая и важная работа наших мастеров слова, работа увлекательная и в то же время трудная и ответственная, требующая повседневного проникновения в жизнь. Очень просим Вас на материале какого-либо произведения рассказать, как возник его замысел, как для осуществления этого замысла пришлось глубоко изучать жизненный материал и т. д. (ведь это должно быть несколько страничек, свободные заметки писателя). Такие материалы хороши и тем, что они служат убедительнейшей пропагандой нашей многонациональной литературы, демонстрируют ее богатство, разнообразие. Очень надеемся на Вас, Иван Петрович.

С уважением
А. Дмитриева

Письмо написано сотрудником журнала «Дружба народов» А. Дмитриевой. Датируется по почтовому штемпелю на конверте.

«Мы все-таки ждем от Вас материал для подборки под рубрикой “Перед первой страницей”». — На сегодняшний день сведения о данной публикации выявить не удалось.

2

М. М. Пузыревский — И. Шамякину

14 апреля 1958 г., Брянск

Дорогой Иван Петрович!

Вот уже несколько лет я создаю уникальную библиотеку из книг с автографами всех известных мне писателей в СССР и за рубежом. Имею около 200 книг с автографами, которые мне прислали со всех концов земли. Среди приславших:

Шолохов, Федин, Тихонов, Эренбург, Твардовский, Симонов, Максим Танк, П. Бровка, Бажан, В. Василевская и мн. др. Кроме того: Го Можо, Мао Дунь, Жолио Кюри, Джонсон, Кручковский, Андре Диль, ДзюнъитиИваками и др. Эта библиотека в свое время будет собственностью государства, и думаю, что будущий литературовед и потомки будут благодарны нам за это.

Прошу Вас, Иван Петрович, принять участие в создании этой интересной библиотеки и прислать одну из Ваших книг с автографом на мое имя.

Работаю инженером по технике безопасности на заводе. Лучше обо мне можно узнать в газ. «Сов. культура» 13.VII 57 г. Там есть заметка о моей библиотеке, а в журнале «Агитатор» № 6 за 1958 г. на странице № 54 есть моя корреспонденция.

Желаю Вам доброго здоровья и успехов в литературных делах. Шлю также первомайский привет.

М. Пузыревский
Адрес: Брянск, Спортивная, 4.
Пузыревский Матвей Маркович.

Письмо написано, как видно из письма, инженером одного из брянских заводов М. М. Пузыревским. На письме рукой И. Шамякина: Паслаў кнігу.

Тихонов Николай Семенович (1896—1979) — русский советский поэт. Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1957). Лауреат Ленинской премии (1970). Лауреат Сталинской премии (1942, 1943, 1952). Герой Социалистического Труда (1966).

Бажан Николай (Микола) Платонович (1904—1983) — украинский поэт, переводчик, публицист, культуролог, энциклопедист и общественный деятель. Академик АН Украинской ССР (1951). Лауреат Сталинской премии (1946, 1949). Лауреат Ленинской премии (1982). Герой Социалистического Труда (1974).

Василевская Ванда Львовна (1905—1964) — польская и советская писательница, драматург, сценарист и общественный деятель. Лауреат Сталинской премии (1943, 1946, 1952).

Го Можо (1892—1978) — китайский писатель, поэт, историк, археолог и государственный деятель.

Мао Дунь (1896—1981) — китайский писатель и общественный деятель.

Жолио Кюри Фредерик (1900—1958) — французский физик и общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии по химии (1935). Возможно, здесь имеются в виду книги Ф. Жолио Кюри «Пять лет борьбы за мир» (М., 1955) и «Избранные труды» (М., 1957).

Джонсон; Диль Андре — иных сведений, кроме тех, что есть в письме, на сегодняшний день выявить не удалось.

Кручковский Леон (1900—1962) — польский писатель.

Иваками Дзюнъити (1907—1958) — японский критик.

«Сов.культура» — «Советская культура», русскоязычная газета, официальный орган ЦК КПСС. Основана в 1953 г.

«Агитатор» — журнал, центральный орган ЦК КПСС. Основан в 1923 г.

3

П. Кобзаревский — И. и М. Шамякиным

14.III.61 г., Ленинград

Ваня — Маша, добрые, дорогие мои друзья! Я хочу мысленно быть с Вами, в день твоего, Маша, рождения 17 марта. С этим днем я всем сердцем поздравляю все ваше семейство и желаю всем вам здоровья, земных благ и радостей. Пусть они сбудутся, пусть они всегда будут с вами, мои хорошие друзья, люди добрые!

Мне очень печально сообщить вам, что, как и в прошлом году, я 17 марта провожу в больнице.

День твоего, Ваня, рождения я тоже провел в больнице и даже не мог тебе написать, хотя весь день думал о тебе. Люба пришла ко мне 4 или 5 февраля и написала тебе под мою диктовку. Сам я писать не мог, лежал без движения. Теперь, как видите, друзья, уже пишу сам. Стал понемногу поправляться. Думаю даже о поездке в Минск к вам, дорогие мои! О чем ни думает живой человек, не теряющий надежды на жизнь, труд, творчество. Обо всем остальном при встрече.

Очень жду письма. Горячо приветствую, дружески обнимаю. Душевно ваш и с вами

Павел

Письмо написано русским поэтом и переводчиком Павлом Семеновичем Кобзаревским (наст. Гордон Фавий Залманович; 1909—1970). На письме рукой И. Шамякина написано: Адказаў.

Маша — Шамякина Мария Филатовна (1921—1998), жена И. П. Шамякина.

Люба — Гордон Любовь, дочь П. С. Кобзаревского.

4

П. Кобзаревский — И. Шамякину

23. IX.1962 г., Ленинград

Дорогой Ваня,

ты, вероятно, не получил моего письма, которое я послал тебе в середине августа. В нем я писал о том, приедут ли в Ленинград, как мы с тобою говорили, Лина и Таня. Ты, вероятно, в это время был еще на даче. Теперь они, видимо, уже смогут приехать только на зимние каникулы. Буду всем сердцем рад видеть их в своем доме.

Что у тебя, дорогой Ваня, хорошего? Как движется роман? Скоро ли ты завершишь работу над ним? Что нового хорошего в Союзе?

Я читал, что вышло в свет минское издание «Тревожного счастья». Я не видел книги. Буду тебе сердечно благодарен, если сможешь прислать мне 2—3 экз.

Я сейчас работаю над переводом романа А. Чернышевича «Застенок Малиновка». Надеюсь, что ты поможешь этот роман опубликовать на русском языке в «Советском писателе».

15 сентября я отправил Кирьянову С. Л. рукопись моего перевода книги рассказов А. Чернышевича «Затор на двадцатом». И в издании этой книги очень прошу тебя, дорогой Ваня, подсобить мне. Я все еще плохо себя чувствую, а работаю не покладая рук. Надо и хочется работать… Пишу повесть, которая обещает быть интересной, если завершу все мною задуманное.

Собираюсь поехать в Трускавец, лечить свою каменную болезнь. В ноябре, если буду здоров, хочу приехать в Минск.

Буду очень рад получить твое письмо. Жду его. Жду и желаю тебе и всем твоим близким самого доброго и радостного.

Сердечно приветствую и дружески обнимаю
твой Павел

Лина — Шамякина Лина Ивановна (род. 1941), дочь И. Шамякина.

Таня — Шамякина Татьяна Ивановна (род. 1948), белорусский литературовед, критик, переводчик, дочь И. Шамякина.

«Как движется роман?» — Роман «Сердце на ладони» (1963).

«...минское издание «Тревожного счастья». — В 1962 г. в Минске на русском языке было издано «Тревожное счастье» в переводе П. Кобзаревского и А. Островского.

«...над переводом романа А. Чернышевича «Застенок Малиновка». — Роман «Застенок Малиновка» вышел на русском языке под названием «На рубеже веков» в 1966 г. в переводе П. Кобзаревского. Чернышевич Аркадий Дмитриевич (1912—1967) — белорусский прозаик.

«...в «Советском писателе». — «Советский писатель» — советское и российское издательство, основанное в 1934 г. в Москве.

«...Кирьянову С. Л.» — Кирьянов Сергей Леонидович (1907—1982), в то время заведующий редакцией прозы народов СССР издательства «Советский писатель».

«...моего перевода книги рассказов А. Чернышевича «Затор на двадцатом». — Сборник вышел в 1964 г. в переводе П. Кобзаревского.

«Пишу повесть...» — о какой именно повести идет речь, на сегодняшний день сведений выявить не удалось.

Трускавец — город областного значения в Львовской области (Украина), бальнеологический курорт.

5

П. Кобзаревский — И. и М. Шамякиным

21 апреля 1962(?) г., Ленинград

Дорогой Ваня, милая Маша, Вас и Ваших детей я поздравляю с наступающим Маем, с праздником солнца, света, радости, веселья, планов. Желаю всего этого Вам в полном избытке, желаю осуществления всех Ваших планов, и общечеловечьих, и писательских.

Как всегда душевно мечтаю о наших встречах. Теперь уже верю, что они скоро осуществятся.

Болезнь моя начинает понемногу отступать. Но о ней и ни о чем невеселом не хочется вспоминать в этом предпраздничном письме.

Я очень сожалею, Ваня, что не смог побеседовать с тобою по телефону. Родные Э. Самуйленка, которым ты просишь помочь, у меня еще не были. Я буду всем сердцем рад сделать все, что в моих возможностях.

Надеюсь, Ваня, что мы еще потрудимся над созданием русского текста твоих по-настоящему хороших книг. Но и об этом при встрече.

Пока же желаю тебе, Маше, Лине, Тане, Саше и Аленке всего самого хорошего и радостного.

Сердечно Вас приветствую от своего имени и от имени Любы и Сони.

Дружески обнимаю, душевно всегда Ваш и с Вами
Павел

«...Э. Самуйленка...» — Самуйленок Эдуард Людвигович (1907—1939), белорусский писатель.

«...Саше...» — Шамякин Александр Иванович (1950—1991), сын И. Шамякина.

«...Аленке...» — Шамякина Олеся Ивановна (род. 1961), дочь И. Шамякина.

«...Сони...» — Гордон Софья, дочь П. Кобзаревского.

6

П. Кобзаревский — И. Шамякину

25.II.1963 г., Ленинград

Дорогой Ваня,

сердечно говоря, я очень ждал твоего письма и звонка с сообщением о благополучном возвращении Лины. Она обещала позвонить, и в итоге прошло почти три недели, и ни письма, ни звонка. Я понимаю, что сейчас ты особенно много занят. Я знаю, что ты вскоре станешь депутатом. Всем сердцем желаю тебе успехов и на этом большом и важном поприще.

Я уже почти здоров. Хочу жить и работать. Буду всем сердцем рад, если ты мне поручишь перевести вместе с А. Г. Островским твой новый роман. Главу из него я читал в ЛіМ. Очень понравилась.

Линзы для Лины заказаны, и, когда будут готовы, я сообщу.

Дома у меня мало радости. Трудно мне живется. А хочется жить и до последнего вздоха работать.

Буду рад твоему письму. Напиши хотя бы несколько строк.

Желаю тебе, Маше, детям радостей и здоровья.

Дружески обнимаю, душевно всегда твой

Павел

Привет самый сердечный Маше, детям, друзьям.

Еще раз поздравляю и желаю успеха

твой Павел

«...ты вскоре станешь депутатом». — В 1963 г. И. Шамякин был избран депутатом Верховного Совета БССР.

«...если ты мне поручишь перевести вместе с А. Г. Островским твой новый роман». — Роман «Сердце на ладони». П. Кобзаревский в переводе романа на русский язык участия не принимал. Роман переведен А. Г. Островским. Островский Арсений Георгиевич (1897—1989) — русский литературовед и переводчик. Заслуженный работник культуры БССР (1973).

«Главу из него я читал в ЛіМ». — Отрывок из романа «Сердце на ладони» под названием «Усё становіцца яўным» («ЛіМ», 1963, 15 февраля).

7

П. Кобзаревский — И. и М. Шамякиным

14.III.63 г., Ленинград

Дорогие мои друзья,

До конца моей жизни я сохраню в своем сердце добрую любовь и светлые дружеские чувства к Вам, хорошие люди Ваня и Маша, а потому и сегодня так горячо поздравляю, милая Маша, с днем рождения. Желаю всему Вашему семейству всех самых больших радостей и настоящего счастья, здоровья и успехов житейских.

Как и всегда в этот день, я хоть и незримо, но с Вами.

Я очень жду письма, хотя уж не верю, что получу его.

Меня очень удивляет и тревожит, что я не получил ответа на три моих письма.

Если будет время и желание, дорогой Ваня, я хотел, чтоб ты сообщил мне, чем я провинился перед тобою, мой дорогой друг!

Сердечно приветствую и желаю всего, всего доброго, дружески всегда Ваш

Павел

Сердечный привет от меня и от моего семейства Вашим детям.

Павел

8

Л. Д. Давыдов — И. Шамякину

1 октября 72 г., Москва

Дорогой Иван Петрович!

От всего сердца благодарю Вас за теплый прием в Минске, за посильную помощь, оказанную мне, и присланный отрывок из Вашего романа.

В полной мере представляю себе, что Вам сделать из разных глав стройную вещь было нелегко, да и проявили Вы необычайную оперативность, за что я Вас особо благодарю.

Как видите, мы постарались Ваш материал перевести на русский язык. Написан он хорошо, с подлинным мастерством большого художника.

Но по мнению редакции по истории КПСС Политиздата (а в данном случае именно оно имеет решающее значение), Вы выбрали для отдельной публикации не самые удачные главы (разговор в буфете после голосования). А главное, не придали отрывку должной самостоятельности, сюжетной и смысловой законченности.

У читателя при чтении Вашего материала невольно возникают недоуменные вопросы — неясны до конца образы секретарей и Ваше, авторское, отношение к ним, неизвестно, о каком именно архитектурном проекте идет спор, в каком родстве архитектор с одним из секретарей и другое.

Двухтомник «Рассказы о партии» по жанру ближе всего к документальной прозе, поэтому желательно в любом рассказе четкое указание времени и места действия, достоверность всего, что описывается. Если в Вашем романе имеются такие главы — еще не поздно, и я прошу Вас их нам прислать в течение октября с. г. Не поздно это для Вас — мы дошлем Ваш материал в набор. Может быть, Вы подошлете какой-либо свой очерк (опубликованный только в Белоруссии), отражающий любой этап партийной борьбы за социализм, коммунизм. Очерк или рассказ.

Очень печально, что именно белорусские писатели до сих пор не представлены в столь важном издании. Пишу об этом Вам, руководителю писательской организации, зная, что Вы живейшим образом отнеслись к начинанию Политиздата и первым откликнулись творчески на зов.

Мы с нетерпением будем ждать Ваш и другие, обещанные в двухтомник материалы (обещали Чигринов И. Г., Брыль И. А., Кучер И. В. и др.).

С наилучшими пожеланиями
В. Л. Давыдов
тел.1517490
адрес: Москва, 125319
Красноармейская 25, кв. 49
Л. Д. Давыдов

P. S. По Вашему любезному приглашению я выступал 6 раз в Минске в разных местах: на заводах, в парках, в рабочем общежитии, но почему-то Бюро Пропаганды (меня сопровождал на выступлениях М. Е. Столяров) не прислало причитающийся мне гонорар. Очевидно, они не знают мой московский адрес. Убедительно прошу Вас, если Вас это не затруднит, подсказать им этот адрес.

С уважением
В. Л. Давыдов

Письмо написано сотрудником издательства «Политиздат» Л. Д. Давыдовым.

Речь идет об отрывке из романа И. Шамякина «Атланты и кариатиды», присланном для двухтомника «Рассказы о партии».

Политиздат — издательство политической литературы ЦК КПСС, центральное издательство политической и историко-партийной литературы в СССР. Существовало в 1918—1991 годы в Москве. Преобразовано в издательство «Республика».

«Двухтомник “Рассказы о партии”...» — год издания книги на сегодняшний день выяснить не удалось.

Кучер И. В. — имеется в виду Кучер Алесь (Айзик Евелевич; 1911—1996), белорусский критик, драматург, киносценарист.

Столяров М. Е., Давыдов Л. Д. — дополнительных сведений, кроме тех, что есть в письме, на сегодняшний день выявить не удалось.

9

С. Мазо — И. Шамякину

27 апреля 1949 г., Москва

Уважаемый Иван Петрович,
сегодня вернулась из Ленинграда — была там по делам «Нового мира» и, конечно, разговаривала со «Звездой». Ответственный секретарь «Звезды» Леваневский сказал мне, что Симонов горячо рекомендовал им повесть, но, читавший ее член редколлегии Прокофьев считает, что потребуется большая работа над языком повести. Окончательного решения редкол-и «Звезды» пока нет, и я попросила пока не давать ее читать другим членам редкол-и — вплоть до окончательной доработки романа. Условились, что числа 15 мая я пришлю в «Звезду» отредактированный вариант. Рукопись я взяла у них — замечания Прокофьева посмотрела — нельзя сказать, чтобы они были очень уж существенны. Я их, конечно, учту — думаю, что Вы возражать не будете.

Редактирование заканчиваю. Думаю, что в обозначенные Изд-вом сроки мы роман сдадим. Те места, по которым нужна Ваша правка, пока не трогаю — буду ждать Ваших изменений.

Очень было бы хорошо, если бы Вы могли вырваться в Москву на несколько дней числа пятого мая. Во всяком случае — буду рада Вашему звонку.

С искренним приветом
С. Мазо

Письмо написано Софьей Мазо (по мужу — Карагановой, в литературе — Григорьевой), русской переводчицей, критиком. В 1949 году перевела на русский язык роман И. Шамякина «Глубокое течение».

«...со “Звездой”» — «Звезда» — советский, затем российский литературный журнал, издается в Петрограде — Ленинграде — Санкт-Петербурге с января 1924 года.

Леваневский — иных сведений, кроме тех, что есть в письме, на сегодняшний день выявить не удалось.

«...Симонов горячо рекомендовал им повесть...» — роман И. Шамякина «Глубокое течение». Жанр произведения И. Шамякин сначала определял как повесть, затем роман. В журнале «Звезда» роман не был напечатан.

Прокофьев Александр Андреевич (1900—1971) — русский советский поэт. Герой Социалистического Труда (1970). Лауреат Ленинской премии (1961). Лауреат Сталинской премии (1946). Член редколлегии журнала «Звезда».

10

С. Кирьянов — И. Шамякину

13.II.1963 г., Москва

Дорогой Иван Петрович!

Мы приступили сейчас к составлению проекта тематического плана выпуска на 1964 год. Из произведений белорусских писателей — в портфеле редакции имеются следующие произведения:

1. Ф. Пестрак — Посреди леса. Роман.
2. В. Дадиомов — Белозерский дневник.
3. И. Дубровский — У самых окон. Рассказы.
4. А. Карпюк — Повести.
5. П. Ковалев — Повести.
6. М. Лужанин — Колас рассказывает про себя.
7. В. Мехов — Цимбальные мастера. Рассказы.
8. И. Науменко — Сосна при дороге. Роман.
9. И. Пташников — Жди в далеких Гринях. Роман.
10. А. Савицкий — После паводка. Повесть.
11. Б. Саченко — Повести и рассказы.
12. А. Чернышевич — Затор на двадцатом. Рассказы.
13. И. Шамякин — Рассказы.

По ряду произведений в редакции имеются ваши рекомендации. В связи с тем, что все названные книги план впитать в себя не может, очень прошу в ближайшие дни сообщить, какие произведения в первую очередь должны быть включены в проект плана.

С дружеским приветом
С. Кирьянов

Ф. Пестрак — Посреди леса. Роман. — Роман под названием «Средиборье» вышел в переводе на русский язык в 1964 году. Переводчик — Д. Осин.

В. Дадиомов — Белозерский дневник. — Документальная книга «Белозерский дневник» в переводе на русский язык вышла в 1964 году. Переводчик — М. Горбачев. Дадиомов Владимир Ильич (1924—1983) — белорусский писатель.

И. Дубровский — У самых окон. Рассказы. — На сегодняшний день выход этой книги на русском языке в московском издательстве выявить не удалось. Дубровский Игнат (наст. Чернявский Игнат Тимофеевич; 1906—2003) — белорусский писатель. Заслуженный работник культуры БССР (1981).

А. Карпюк — Повести. — Книга А. Карпюка под названием «На лесных стежках: Повести и рассказы» в переводе на русский язык вышла в 1964 году. Карпюк Алексей Никифорович (1920—1992) — белорусский писатель. Заслуженный работник культуры БССР (1980).

П. Ковалев — Повести. — На сегодняшний день выход этой книги на русском языке в московском издательстве выявить не удалось. Ковалев Павел Никифорович (1912—1995) — белорусский прозаик, переводчик. Заслуженный работник культуры БССР (1978).

М. Лужанин — Колас рассказывает про себя. — Книга М. Лужанина под названием «Якуб Колас рассказывает» в переводе на русский язык вышла в 1964 году. Переводчик — Е. Мозольков.

В. Мехов — Цимбальные мастера. Рассказы. — На сегодняшний день выход этой книги на русском языке в московском издательстве выявить не удалось.— Мехов (наст. Нехамкин) Владимир Львович (род. 1928) — белорусский прозаик, драматург, переводчик. Лауреат Государственной премии БССР (1986).

И. Науменко — Сосна при дороге. Роман. — На сегодняшний день выход этого романа на русском языке в московском издательстве выявить не удалось.

И. Пташников — Жди в далеких Гринях. Роман. — На сегодняшний день выход этой книги на русском языке в московском издательстве выявить не удалось.

А. Савицкий — После паводка. Повесть. — На сегодняшний день выход этой книги на русском языке в московском издательстве выявить не удалось.

Б. Саченко — Повести и рассказы. — На сегодняшний день выход этой книги на русском языке в московском издательстве выявить не удалось.

А. Чернышевич — Затор на двадцатом. Рассказы. — Сборник рассказов А. Чернышевича «Затор на двадцатом» вышел в 1964 году. Переводчик — П. Кобзаревский.

И. Шамякин — Рассказы. — Сборник рассказов И. Шамякина «Листопад» вышел в 1964 году.

11

Р. М. Шубина, Е. Шеколдина — И. Шамякину

1980 г., Москва

Дорогой Иван Петрович!

Очень рады подтвердить «вещественным доказательством», что книга ваша вышла. Пожелали ей счастливого пути, и теперь она уже уехала далеко-далеко. Будут интересные отзывы, письма — пришлем.

К тому же (по случаю нашего вступления в международную авторскую конвенцию) Вам причитаются деньги. Но сколько и когда мы их начнем выплачивать, пока неизвестно. На всякий случай, если не трудно, напишите, сколько платили Вам за последнее издание «Снежных зим» на русском языке. Потом, конечно же, понадобятся совсем другие сведения (предугадать невозможно), но вдруг окажется достаточным и то, о чем я Вас прошу.

Всего Вам доброго, Иван Петрович!

Примите наши поздравления с Праздником!

(Может, книга успеет прийти! Так хочется. Только вряд ли. И Никифор Евдокимович не едет в Минск. А мы пытались использовать его в качестве курьера. Не вышло.)

Поклон Вам от Евгении Ивановны Шеколдиной и всех наших.
Будете в Москве, заходите непременно.
Р. Шубина

Уважаемый Иван Петрович!

Небольшое (в смысле времени), но очень хорошее (в смысле результатов и впечатлений) мое знакомство с вами не разрешает мне ограничиться «поклоном», как написала вам Раиса Михайловна. Я хочу сказать, что мне издание очень нравится (я эту «серию» люблю) и рада, что «Снежные зимы» вышла в этом наиболее изящном и недорогом из наших оформлений.

Буду рада встретиться с вами.
С уважением Е. Шеколдина

Письмо написано сотрудницами московского издательства Р. М. Шубиной и Е. И. Шеколдиной.

«...что книга ваша вышла». — Роман «Снежные зимы» на русском языке.

«...за последнее издание “Снежных зим” на русском языке». — Имеется в виду издание 1971 года.

Никифор Евдокимович — Пашкевич Никифор Евдокимович (1924—2003), белорусский критик. Заслуженный работник культуры БССР (1974). Лауреат Государственной премии БССР (1966).

12

И. Шамякин — Ю. С. Мелентьеву

1980 г., Минск

Министру культуры РСФСР
тов. Мелентьеву Ю. С.

Уважаемый Юрий Серафимович!

Обращаюсь к Вам с просьбой.

По моему роману «Атланты и кариатиды» снимается четырехсерийный цветной телевизионный фильм. В фильме заняты актеры многих театров Москвы, Ленинграда. Их участие — замечательный факт братской помощи русского народа национальной республике в создании новых видов искусства.

В главной роли архитектора Карнача в «Атлантах и кариатидах» занят замечательный актер Театра им. Маяковского Евгений Лазарев. Роль очень большая, почти нет эпизодов без его участия. Это требует очень напряженной работы и сплоченной группы, и самого исполнителя. Вы хорошо знаете, как дорого это обходится, когда съемки срываются.

Требуется немногое. Лазарев будет играть все спектакли в театре, но только при условии освобождения от <нрзб> он сможет обеспечить график съемок.

Нам пока не удалось договориться с руководством театра. И потому, зная Ваше хорошее отношение к Белоруссии и лично ко мне и моему творчеству, я обращаюсь к Вам. Помогите белорусскому искусству. Скажите, пожалуйста, свое авторитетное слово товарищам из театра, и я уверен, что после этого нам будет легче договориться с Гончаровым и директором. Очень надеюсь на Вашу помощь.

С самыми сердечными пожеланиями
Иван Шамякин

Письмо адресовано Юрию Серафимовичу Мелентьеву (1932—1997), министру культуры РСФСР (1974—1990).

«По моему роману «Атланты и кариатиды» снимается четырехсерийный цветной телевизионный фильм». — Съемки были начаты в 1978 г. Режиссер А. З. Гуткович.

«В фильме заняты актеры многих театров Москвы, Ленинграда». — В фильме снимались Е. Евстигнеев, Е. Лазарев, Вс. Сафонов, А. Ларионова и др.

Лазарев Евгений Николаевич (род. 1937) — советский, российский и американский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог. Народный артист РСФСР (1982). В 1961—1984 гг. — актер академического театра им. В. Маяковского (Москва).

Гончаров Андрей Александрович (1918—2001) — советский и российский театральный режиссер, педагог. Народный артист СССР (1977). Герой Социалистического Труда (1987). В 1967—1987 гг. — главный режиссер МАДТ им. В. Маяковского.

13

С. Караганова — И. Шамякину

15.I.52 г., Москва

Уважаемый Иван Петрович!

Сегодня наша библиотека приобрела новое белорусское издание «Глубокого течения». По-моему, вышло не так уж скверно, как Вы опасались. Главное — бумага и шрифты хорошие, а обложка — бог с ней, не в ней суть. В «Советском писателе» со дня на день ждут тираж. Получили ли Вы деньги? Они обещали Вам тут же перевести. Если не получили — звоните мне, я узнаю, в чем дело. В Гослите гранок все еще нет — вчера звонила туда. Просила редактора выслать Вам в Минск договор, они сопротивляются, говорят, Вы скоро будете в Москве самолично. Откуда у них такие сведения? Вы им что-нибудь сообщали по этому поводу? Если их утверждение основано на чистой интуиции, а не на сведениях, полученных от Вас, обязательно пошлите в Гослит письмо на имя зав. редакцией нац. литератур Рябининой А. П. с просьбой выслать Вам договор. (Адрес — Ново-Басманная 19). Напишите, что в Москву не собираетесь.

Как идут Ваши дела? Как новая работа? Довольны?

Привет от Александра Васильевича и Гали.

С приветом
Караганова

Письмо написано русской переводчицей С. Григорьевой. См. комментарий к письму № 9.

«…новое белорусское издание "Глубокого течения"». — Имеется в виду издание романа «Глубокое течение» (1952) на белорусском языке.

«В "Советском писателе" со дня на день ждут тираж. — В 1952 году на русском языке роман «Глубокое течение» выходил для слепых.

«В Гослите гранок все еще нет…» — Скорее всего, гранки романа «Глубокое течение». Гослит — Гослитиздат — Государственное издательство художественной литературы. Основано в 1934 г. в Москве. С 1963 г. носит название «Художественная литература».

«…Рябининой А. П.». — Рябинина Александра Петровна (1897—1977) — литературный редактор, заведующая редакцией литератур народов СССР издательства «Художественная литература» (1932—1952).

«…Александра Васильевича и Гали». — Караганов Александр Васильевич (1915–2007) — советский и российский киновед, кинокритик и литературовед, доктор искусствоведения. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1986). Галя — скорее всего, дочь А. В. Караганова и Софьи Мазо (Карагановой).

14

И. Шамякин — «Литературной газете»

21 декабря 1955 г., Минск

В истекшем году я работал над романом. Предполагаю завершить эту работу в первые месяцы Нового года. Это роман — о жизни и работе интеллигенции села в наши дни, после исторических решений Партии о подъеме сельского хозяйства. В центре повествования — образы учителей, учеников старших классов, механизаторов, партийных и советских работников.

Позже намерен возвратиться к теме Отечественной войны и партизанского движения. Сейчас трудно сказать, будет ли это роман, повесть или… киносценарий. С некоторой боязнью говорю «киносценарий», ибо в этом жанре я, как и многие мои товарищи — белорусские писатели, познал уже горечь неудачи. Но желание еще раз испытать свои силы в области кино не пропало.

Иван Шамякин

Письмо И. Шамякина в «Литературную газету». На сегодняшний день публикация этого письма в «Литературной газете» не выявлена.

«В истекшем году я работал над романом». — Над романом «Криницы» (1953—1955).

«…после исторических решений Партии о подъеме сельского хозяйства». — В первую очередь здесь имеется в виду сентябрьский пленум ЦК КПСС по сельскому хозяйству, состоявшийся в 1953 году.

Предисловие, подготовка текстов и комментарий
Олеси ШАМЯКИНОЙ.

Юрий АБДУРАХМАНОВ

Юность гения

Штрихи к портрету Хаима Сутина — человека и художника

Ни один художник XX века не вызывает столько ожесточенных споров между искусствоведами и историками искусства, как Хаим Сутин. Его жизненный путь является источником невероятного количества мифов и выдумок. Пожалуй, только жизнь Ван Гога породила схожую легенду о «проклятом художнике», но его творчество никогда не вызывало такого резкого отторжения, как живопись Сутина. Кроме того, сохранилась обширная переписка Ван Гога с братом, благодаря которой личность художника и его творчество стали нам более понятными. Сутин же оставил после себя лишь несколько писем и записок, а многочисленные свидетельства о том, что он рассказывал о своей жизни, — лишь вольный пересказ (а то и вымысел) биографов.

Но начнем с самого начала. Сутин, пожалуй, единственный художник Парижской школы — выходец из Российской империи, фамилия которого у нас почему-то любят произносить на французский манер: Сути́н. Никто не говорит Цадк*и*н, Люб*и*ч, Кико*и*н, а вот фамилию Сутина старательно коверкают. То же самое произошло и с датой и местом рождения художника. Благодаря Сутину местечко Смиловичи вошло во все крупнейшие энциклопедии мира, однако на Западе его упорно помещают в Литву, хотя и указывают, что находится оно неподалеку от Минска. Ситуация стала немного улучшаться в последнее время, но англоязычные источники по-прежнему в большинстве своем высокомерно не замечают поправок и замечаний наших исследователей. То же самое происходит и с датой рождения Сутина. Французские источники указывают, что он родился 9 июня, все остальные — 13 января, сам же художник не только не знал точной даты своего рождения, но даже сомневался, в 1893 или же в 1894 году он родился.

У нас принято считать, что родился Хаим Сутин 13 января 1893 года. Был он десятым ребенком в семье скромного смиловичского портного. Согласно легенде о «проклятом художнике», детство и юность Сутина были полны лишений и невзгод. Однако по отрывочным воспоминаниям членов семьи художника это было не совсем так. Французский исследователь Мишель ЛеБрен, автор биографической монографии о Сутине, отмечает, что Хаиму было семь лет, когда родилась его младшая сестра, последний ребенок в большой семье Сутиных. То есть маленький Хаим целых семь лет был самым младшим ребенком, что наверняка давало ему некоторые преимущества. Вполне возможно, что от старших братьев и сестер ему нередко доставалось, но вряд ли Сутины-родители не относились к малышу с особой нежностью. Отец Хаима не одобрял художественные наклонности сына, но, по свидетельству художника Царфина, он, хотя и «не упускал случая выразить сыну свое неудовольствие, …гордился его талантом и всегда показывал клиентам рисунки Хаима, покрывавшие стены его дома». Когда Хаим сообщил родителям, что уезжает в Париж, отец сшил ему пальто, о котором говорят многие биографы Сутина («…его отец надеялся, что это длинное пальто поразит парижан», — вспоминал Кикоин) и которое худож-

ник еще долго носил во Франции. Получив известность и достаток, Сутин помогал матери и младшей сестре деньгами, отправлял им посылки. Вряд ли он стал бы делать это, если бы из-за печальных детских воспоминаний решил полностью порвать с семьей.

Однако вернемся к юности Сутина. Рисовать мальчик начал очень рано, и все его мысли были только об одном — он хотел стать художником. Отец вначале было определил его учеником к минскому портному — мужу старшей сестры Цили, жившей в Минске, но вскоре убедился, что ничего путного из этого не выйдет, и отправил паренька учиться на ретушера у одного из минских фотографов.

В 1907 году Хаим поступает на курсы рисунка и живописи Якова Кругера, хорошо известного тогда минского художника. Там он знакомится с Михаилом Кикоиным, который становится его другом и единомышленником. Пареньки мечтают продолжить учебу и в 1909 году отправляются в Вильно, где поступают в Виленскую рисовальную школу, основанную академиком Иваном Трутневым. Известно, что юный Хаим так разволновался на вступительном экзамене по рисунку, что с первого раза не справился с заданием. Надо отдать должное проницательности ведущего преподавателя Школы Ивана Рыбакова, который позволил Сутину пересдать экзамен и в класс которого и были зачислены Сутин с Кикоиным. Здесь же они познакомились с еще одним мечтателем — Пинхусом Кременем, приехавшим из гродненского местечка Желудок. Троица становится неразлучной. Однако, если Кикоин и Кремень могли рассчитывать на материальную поддержку родителей, Сутин мог рассчитывать только на себя самого. Он подрабатывает везде, где только может. Знакомство с адвокатом Рубинлихтом позволило юноше получить поддержку Виленского художественно-промышленного общества имени М. М. Антокольского. В Вильно Сутин не только учится и работает, но и посещает выставки, концерты, спектакли. Здесь он знакомится с Деборой Мельник и даже пытается за ней ухаживать.

Кикоин вспоминал: «Мы жили в шестиместной комнате, которую сдавала нам семья железнодорожника. Его добрая жена-хромоножка в любое время суток ждала нас с горячим самоваром. …А мы… с жаром спорили об искусстве, о жизни и особенно о нашем будущем… Пылкое воображение Сутина уносило его дальше других, и скоро Париж стал занимать все его мысли». Однако первыми уезжают во Францию и поселяются в знаменитом «Улье» Кремень и Кикоин. Сутину же пришлось ждать еще год, поскольку он должен был собрать сумму, необходимую для поездки и на первое время проживания во французской столице. И лишь в конце весны 1913 года Хаим Сутин ступил на французскую землю. Ему было всего 20 лет…

Впрочем, в то время среди обитателей «Улья», где и зародилась Парижская школа, практически не было никого старше 30 лет… Поначалу Хаима приютил в своей крохотной комнатке Кремень, затем он жил в мастерских земляков — скульпторов Мещанинова и Цадкина. Юноше пришлось долго поскитаться, прежде чем он обрел собственный угол.

Итак, Сутин в Париже. Он совершенно не знает французского, но тем не менее, уже полтора месяца спустя записывается на курсы живописи Фернана Кормона. Кормон был признанным художником и педагогом. У него учились Тулуз-Лотрек, Ван Гог, Матисс, Пикабиа и многие другие. Во время учебы у Кормона Сутин познакомился с Мане-Катцем. Именно Кормон прививал своим ученикам вкус, настаивал на посещении Лувра и других музеев, знакомил их с великими произведениями искусства, хранящимися там. Именно в Лувре Сутин впервые увидел картины Рембрандта, перед гением которого преклонялся всю оставшуюся жизнь. Именно Рембрандт позднее вдохновит Сутина на серию бычьих туш, но Сутин не пошел по пути слепого копирования, он создал свой, жесткий и порой жестокий стиль живописи, полный яростного отчаяния и пылающего красного цвета…

По смутным свидетельствам, до начала Первой мировой войны Сутин получал небольшую стипендию из Вильно. Западные источники упоминают некоего доктора Рафелькейса, в русскоязычной литературе пишут об адвокате Рубинлихте. Как бы там ни было, до войны Сутин действительно имел какие-то средства на жизнь, что позволяло ему сосредоточиться на учебе, лишь изредка подрабатывая — то грузчиком на рынках, то рабочим на заводах «Рено». В любом случае, сохранились документы, которые свидетельствуют о том, что при поступлении в Академию Кормона Сутин уплатил взнос в 10 франков и предъявил требуемые при этом мольберт и табурет. Не стоит забывать и о том, что ему приходилось также покупать краски, кисти, холсты…

Все изменилось, когда началась Первая мировая война. Помощь из Вильно прекратилась, работу стало все труднее находить, жизнь во французской столице резко подорожала. Многие художники «Улья» записались в добровольцы. Сутин и Кикоин некоторое время работают в добровольческих отрядах помощи французской армии. Наступают тяжелые времена для всех художников, работавших в то время во французской столице. Ценители искусства стараются, как могут, помочь им. По инициативе комиссара полиции Замарона, собравшего замечательную коллекцию современного искусства, основана «Ассоциация дружеской помощи художникам», на Монпарнасе открывается столовая русской художницы Марии Васильевой, где можно недорого и сытно поесть.

«Натюрморт с селедками и вилками», написанный около 1916 года, является одним из первых шедевров Сутина. Палитра используемых художником красок здесь весьма сдержанна и близка к палитре картин Модильяни: черный цвет, белый, серый, красная и желтая охра, немного желто-лимонного и голубого… Нет пока и пастозности, которая позднее станет характерной для полотен Сутина. Французский художник Анри Раме, чья мастерская находилась по соседству с сутинской, писал: «…на картине рыбы на тарелке и две изогнутых вилки, похожие на худющие руки, протянутые к тощим рыбкам. Это — трагическое изображение голода. Он [Сутин. — *Ю. А.*], еще раз вернется к этому сюжету — тогда, когда его усилия будут вознаграждены успехом, но тона на второй картине станут более живыми, а манера письма — более спокойной, не передающей изначальной драматичности». Сегодня «Натюрморт с селедками…» высоко ценится искусствоведами и коллекционерами, тем более что это одна из наиболее ранних известных нам картин Сутина.

В 1915 году скульптор Жак Липшиц познакомил Сутина с Модильяни. Хаим и Амедео быстро подружились, хотя дружбе их суждено было продлиться только пять лет (в 1920 году Модильяни умер). Итальянец моментально распознал в юном Сутине гения и без устали делился своим открытием с окружающими. Интересно, что Модильяни написал четыре живописных портрета Сутина и несколько карандашных набросков. На всех — Сутин в костюме, при галстуке, что еще раз опровергает россказни о том, что Сутин вечно ходил грязным и оборванным. Собственно, именно в период дружбы Модильяни и Сутина возникает легенда о «проклятых» художниках. Хотя молодые люди и получали финансовую помощь (Модильяни из Италии, от матери, Сутин — из Вильно), но постоянные загулы Модильяни зачастую оставляли их без гроша, и им приходилось зарабатывать себе на жизнь всеми возможными средствами. Художница Мария Воробьева-Стебельская, более известная как Маревна, вспоминала, что Модильяни, «благодаря глубоким знаниям итальянского искусства… был великолепным гидом по Лувру и познакомил Сутина с итальянскими примитивистами, художниками кватроченто — с Джотто, Боттичелли, Тинторетто. Он ввел Сутина в круг блестящих молодых художников... Пабло Пикассо и Диего Риверы, поэтов Жака Кокто, Гийома Аполлинера и Макса Жакоба, композитора Эрика Сати». Впрочем, следует заметить, что Модильяни с Сутиным проводили время не только в Лувре, но и в кабаках, где Моди тоже не было равных...

Вскоре они снимают мастерскую в резиденции Сите Фальгьер и какое-то время живут вместе. Сутин упорно работает, он ищет свой стиль. Его живопись становится все более уверенной, мазок смелее, краски ярче. Он находит «свой» белый и «свой» красный цвета, которые станут отличительными чертами его живописи, особенно портретов.

Большинство биографов Сутина утверждают, что он был некрасив, даже уродлив. Да и сам художник подлил масла в огонь, написав свой «Автопортрет-гротеск», изобразив себя таким, каким хотели бы видеть его многочисленные завистники: неопрятным, с доведенными до абсурда семитскими чертами лица. Впрочем, достаточно посмотреть на портреты Сутина, написанные Модильяни, Маревной или Жанной Эбютерн, не говоря уже о фотоснимках, чтобы удостовериться: красавцем Сутин не был, но уродом его тоже нельзя было назвать. Юки Деснос, муза художника Фуджиты и поэта Робера Десноса, так писала о Сутине: «Лично мне он всегда казался красивым. А все говорили, что он уродлив. Конечно, он не был Аполлоном, но я всегда находила его необычайно привлекательным. Даже внешне он мне очень нравился». Художница А. Колье так писала о Сутине: «У Сутина были самые красивые темные глаза, какие только можно представить… Пышная шевелюра, отливавшая темно-каштановым цветом, придавала особый шарм его острому взгляду. Иногда… он был необычайно красив…».

Сутин очень любил читать, его любимым поэтом был Пушкин. В основном он читал русскую классику: Толстой, Достоевский, Чехов, — но позднее, освоив французский язык, полюбил Золя и Мопассана. Шрага Царфин, рассказывая о юности Сутина, вспоминал: «Я часто заставал Сутина за чтением. Однажды вечером, когда я пришел к нему, он был поглощен чтением «На дне» Горького. Я стал просить его дать мне почитать эту книгу, но он ответил, что я еще слишком мал и мне пока рано читать такие книги».

Модильяни представляет Сутина своему маршану Леопольду Зборовскому и настойчиво рекомендует ему своего друга. В 1918 году, когда Модильяни уже был тяжело болен, Зборовский по настоянию врачей вывозит его и Жанну Эбютерн на юг. Едет с ними и Сутин — Зборовскому пришлось уступить уговорам Модильяни, который очень хотел, чтобы его друг поехал с ними. Понимая, что скоро умрет, Модильяни часто говорит Зборовскому: «Не беспокойтесь, в лице Сутина я оставляю вам гения».

Южная природа поразила, оглушила Сутина. Он признавался, что не был готов к такому буйству красок. Он пишет один пейзаж за другим как одержимый. В это время Зборовский еще не занимается продажей полотен Сутина, и художник часто голодает. Время от времени комиссар Замарон присылает ему немного денег. Вначале Сутин живет в Ницце, потом вслед за Зборовским и его компанией перебирается в городок Кань-сюр-Мер.

В Париж он возвращается только в октябре. Вскоре заканчивается война и наступает самый плодотворный период в творческой жизни художника. Дела у Зборовского идут все лучше и лучше, картины Модильяни начинают хорошо продаваться, и в конце концов галерист берет под свое крыло и Сутина. Он даже выплачивает Сутину небольшое месячное содержание. Увы, Модильяни не успеет насладиться славой. 24 января 1920 года он умрет от туберкулеза. Сутин потеряет в нем не только самого близкого друга, но и первого ценителя своего таланта. О смерти друга Сутин узнает в Сере, на юго-западе Франции, куда он уехал в конце 1919 года. Пожалуй, со смертью Модильяни закончилась и юность Сутина, он вступил в новый этап своей жизни.

Сутин проведет на юге Франции — сначала в Кань-сюр-Мер, а затем в Сере — более трех лет, изредка приезжая в Париж. Напомню — в это время ему нет еще и 30 лет. Интересно заметить, что Сере известен больше как родина кубизма. В 1909—1910 годы в этот маленький городок, затерянный во француз-

ских Пиренеях, занесло первых кубистов — Маноло и Франка Хэвиланда. В июле 1911 года сюда приезжает Пикассо, через месяц к нему присоединяется Брак. В течение трех лет здесь перебывали практически все крупные представители кубизма, затем сюда потянулись и представители Парижской школы. Первым в Сере обосновался Кремень, и, по его словам, именно он зазвал сюда Сутина. Гений места, однако, не увлек Сутина на тропу кубизма, но помог ему преодолеть влияние Сезанна, характерное для всех художников начала XX века. Именно в Сере Сутин обретает свой стиль и добивается воплощения своей детской мечты — стать Художником… Если первые его работы, выполненные в Сере, еще близки к Сезанну и даже скорее к Ван Гогу, то очень скоро Сутин приходит к неистовому экспрессионизму, особенно в пейзажах. Влияние Сезанна особенно заметно в ранних натюрмортах Сутина: схематичное изображение предметов, приглушенный тон, выпуклая фактура. Здесь следует отметить, что Сутин всегда писал только с натуры. Все его пейзажи, несмотря на невероятное переплетение красок, цветов и деформаций, необычайно точно передают то место, где они написаны. Знакомство с художественными поисками кубистов позволило Сутину найти свой путь, прийти к преображению отображаемой им реальности. Иногда кажется, что художник стремился вырваться за пределы холста, настолько пастозна его живопись, так много в ней движения. Другой характерной чертой данного периода творчества Сутина является то, что один и тот же пейзаж он пишет несколько раз, словно пытается показать разные стороны одного и того же вида, доходя до высшей точки деформации реальности. И здесь же в его живопись врываются те нотки мрачного отчаяния, которые позволили очень многим исследователям рассуждать о тяжелом детстве художника, о его несчастливой юности в родных краях и т. д., и т. п. При этом почему-то все забывают о том, что однажды, уже в зрелом возрасте, отвечая на вопрос о том, насколько тяжела была его жизнь, Сутин широко улыбнулся и ответил: «Что вы, я всегда был очень счастлив!»

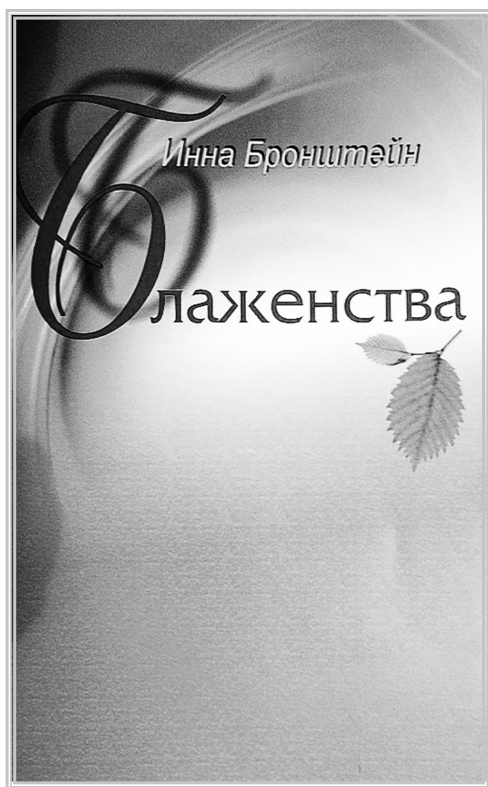
Период работы в Сере был необычайно плодотворным для Сутина. Уезжая из Сере навсегда, он увозит в Париж более 200 работ. И пусть позднее он создаст не менее грандиозные работы, именно в Сере он стал тем Сутиным, который покорил мир.

В конце 1921 года Сутин возвращается в Париж. Через год к нему придут слава и признание, после того как американский коллекционер доктор Барнс купит у Зборовского 52 картины художника. Модильяни оказался прав, называя своего друга гением.

В зрелый возраст Хаим Сутин вступает признанным художником, добившимся исполнения своей детской мечты — стать Художником.

С точки зрения рецензента

Простые радости



Какое блаженство — запомни его, —
Когда у тебя не болит ничего,
Но лишь начиная от боли стонать,
Ты сможешь такое блаженство понять.

Инна БРОНШТЕЙН

Держу в руках нарядную, красиво изданную книжицу с несколько необычным названием «Блаженства. Утро Кое-какера» (Издательский центр БГУ, 2015) и пытаюсь вспомнить, а как именно у меня состоялось знакомство (разумеется, заочное) с ее автором. По всем прикидкам получается, что было это как минимум года два, а то и три, тому назад.

— Зинаида Яковлевна! — слышу я в телефонной трубке голос своей давней коллеги и друга, с которой шагаю по жизни уже не один десяток лет. Голос как всегда жизнерадостно-оптимистичный. — Я тут для вас распечатала подборку стишков. В интернете давеча отыскала. Очень забавные! И настроение здорово поднимают. На себе прочувствуете!

И вот несколько листков, скрепленных стиплером, приплывают ко мне. Читаю.

Какое блаженство в постели лежать
И на ночь хорошую книгу читать.
Сто раз прочитаешь знакомую прозу,
И все тебе ново — спасибо склерозу.

А ведь действительно прикольно, как любят нынче выражаться молодые. И весело тоже! Но главное: все ведь верно! Так оно и есть.

Машинально скольжу глазами по короткому предисловию: Бронштейн Инна Яковлевна, пенсионерка из Минска, в прошлом — учитель истории. Впрочем, не совсем обычная пенсионерка. Ибо, как справедливо замечает анонимный автор вступительного текста, *«много ли вы видели людей, которые, выйдя на пенсию и потеряв самых близких, начинают вдруг строчить полные доброго юмора жизнеутверждающие стихи?»* И уж совсем единицы, раритетные единицы, умудряются при этом еще и изобрести собственную философию того, как надо уметь весе-

ло жить, когда тебе уже за восемьдесят. Заметьте! Жить, а не доживать!

Впрочем, сама философия предельно проста и не блещет особой новизной. Все мы об этом когда-то читали, слышали, словом, проходили… То есть именно буквально прошли мимо и постарались тут же забыть, якобы за ненадобностью. Подумаешь! Искать в жизни поводы для радости и уметь радоваться даже пустякам. Слишком уж все это просто! Примитивно…

Оглядываюсь в прошлое и вспоминаю. Кто из нас лет сорок тому назад, явившись поутру на работу после автобусной давки в час пик, не вздыхал, немного притворно, немного шутливо, потирая ушибленную коленку или прислушиваясь к учащенному сердцебиению после финального марш-броска от остановки уже непосредственно до письменного стола в рабочем кабинете? И как часто все мы при этом повторяли неизменное: «Старость не радость!» Тогда, едва-едва разменяв четвертый десяток, каждый из нас изрядно лукавил. И почти никто не верил, что старость когда-нибудь *«агарне нас з усіх бакоў»,* як казала некалі мая бабуля. Но вот, поди ж ты! Пришла и *«агарнула»*.

Да! Как это там у великого Петрарки? *«Еще сегодня утром ты был ребенком, и вот ты уже старик».* На исходе седьмой десяток, и уже совсем не до милых шуточек по поводу собственного возраста. Потому что старость действительно не… Словом, совсем это не такое уж веселое занятие — стареть и ежедневно (Да что там ежедневно! Ежеминутно!) чувствовать, как уходят твои силы, как тает энергия, как угасают желания, а вместе с ними исчезает и та первозданная радость бытия, когда счастлив уже только потому, что небо голубое, а солнышко и светит, и греет одновременно.

Но вот нашелся же человек, некая *чудн**а**я* бабуля, которая на полном серьезе уверяет всех нас.

Какое блаженство проснуться и знать,
Что вам на работу не надо бежать.
И день наступающий очень хорош,
А если болеешь, то значит — живешь.
И старость — совсем неплохая пора.
Да здравствует время свободы! Ура!

Право дело! Есть над чем задуматься и поразмыслить.

Вот примитивно-трогательное блаженство стандартной бабушки, этакого божьего одуванчика во плоти.

Какое блаженство —
троллейбус пришел,
И я дождалась его! Как хорошо!

И тут же глубочайшее по своей значимости наблюдение, безо всяких экивоков перекрывающее всякие там трактаты Спинозы и Декарта о смысле жизни. Оно венчает это четверостишие и сразу же ставит его в один ряд с самыми известными образчиками философской поэзии.

А если бы мир наш достиг
совершенства,
Откуда взяла бы я эти блаженства!

В самом деле, откуда?!

Вот так лично я подсела на «витамины оптимизма», которые щедрой рукой рассыпает Инна Яковлевна в своих четверостишиях о всяких и разных блаженствах. Кое-что попадалось в интернете. Кстати, именно в интернете, на TUT.BY, я прочитала развернутое, очень обстоятельное и очень-очень интересное интервью с самой оптимисткой. Надо отдать должное интервьюеру. И вопросы были неглупыми, не проходными, но и ответы поразили своей мудрой сдержанностью, без тени кокетства, желания понравиться кому-то или поразить своей ненатужной стойкостью духа.

Признаться, ни капельки не удивилась, узнав, что автор «блаженств» имеет харьковские корни. В 1964 году Инна Яковлевна Бронштейн окончила Харьковский пединститут и, отказавшись от карьеры ученого, уехала работать в сельскую школу. Почти как ее коллега и тоже, кстати, харьковчанин Антон Макаренко.

Что за чудо этот славный город Харьков, размышляла я, зная не понаслышке (имею друзей-харьковчан) о

сугубо харьковском феномене ковать десятками и даже сотнями знаменитых людей, прославившихся и прославивших свой родной город в самых разных сферах человеческой деятельности. Наука, культура, искусство… Марк Бернес и Клавдия Шульженко, всенародный любимец Леонид Быков, синеокая красавица Наталья Фатеева и несравненная Людмила Гурченко. Вечный бунтарь Эдуард Лимонов и эстрадный кумир конца шестидесятых Вадим Мулерман. А ведь были же еще и Исаак Дунаевский, и геройская летчица Валентина Гризодубова, и знаменитый физик Лев Ландау, и храбрая укротительница тигров Ирина Бугримова. Да мало ли кто еще!

Воистину, несть им числа, талантливым выходцам из якобы провинциального города, в котором, кстати, нет и тени провинциальности, порой витающей и над иными столицами. Всех не упомнишь и не перечислишь. Разве что назову еще Владимира Вернадского, того самого, который разработал теорию о биосфере и создал философские труды о ноосфере. Уж очень близко творчество нашей самодеятельной поэтессы-харьковчанки, и по духу, и по букве, к самой сути философских размышлений великого ученого.

Невольно позавидовала тем, кто ходит в собеседниках у этой удивительно обаятельной женщины. Обаятельной прежде всего своей искренностью, открытостью и каким-то почти запредельным смирением перед жизнью во всех ее проявлениях. А еще, взгрустнулось! Вдруг неожиданно вспомнилось, что вот и у меня была когда-то двоюродная сестра, и тоже Инна. Инна Михайловна Красневская. И тоже — представьте себе! — учитель истории. При этом почти ровесница Инны Яковлевны, 1935 года рождения. И такая же умница, и такая же оптимистка по жизни.

Наверное, все они, дети и подростки той страшной войны, были отмечены неким особым даром достойно переносить удары судьбы. Видно, много горя и страданий успели увидеть их детские глаза, что закалило души на всю оставшуюся жизнь. Моя Инна умерла много лет тому назад, совсем еще нестарой женщиной. Представляю, как бы она обрадовалась, прочитав стихи своей тезки и обнаружив в них воистину родственную душу. И это тонкое чувство самоиронии, присущее им обеим. О, такую самоиронию редко встретишь в наши дни. Ведь все мы «нонче» привыкли относиться к себе с повышенным пиететом. Никакого глумления над собственной значимостью. А тут сплошные хихоньки да хаханьки!

Какое блаженство! Я в старости знаю,
Что всей красоты своей не потеряю.
Нельзя потерять то, чего не имела.
Красавицам — хуже.
Но это — их дело.
Для них этот фитнес,
диета, подтяжки.
Мне жаль их. Ну, что же!
Держитесь, бедняжки!

Впрочем, лукавит Инна Яковлевна, ой, лукавит! Вот я гляжу на портрет, размещенный на обложке купленной недавно книжки (кстати, уже второе издание), и понимаю, что лукавит. Потому что даже сейчас, несмотря на все годы и невзгоды, Инна Яковлевна — «чистая раскрасавица», как говаривала когда-то одна моя сослуживица. А уж в молодости… представляю!

Но молодость — увы! — она так быстро проходит.

Какое блаженство на старости лет
Своими ногами идти в туалет.
А после в обратный отправиться путь
И быстренько под одеяло нырнуть.
А утром проснуться,
проснуться и встать.
И снова ходить, говорить и дышать.

Вот такие они, эти простые стариковские радости! Быть может, какой-нибудь высоколобый эстет презрительно выгнет бровь, прочитав сии вирши. Дескать, фи! Какая низменная проза жизни. Подожди, подожди, голубчик! — воскликну я участливо. Вот доживешь до преклонных лет и на собственном опыте прочувствуешь, что в

старости любая бытовая мелочь может стать поводом для самого настоящего поэтического вдохновения.

Помнится, моя покойная мама, не дожившая всего лишь несколько месяцев до своего 95-летия, в последние годы своей жизни часто цитировала известные пушкинские строки. Помните?

Блажен, кто рано поутру
Имеет стул без принужденья,
Тому все блага по нутру
И все доступны наслажденья.

Вот что значит гений! Все понимает, все зрит, все объемлет, не деля это «все» на высокое и низкое. Между прочим, Инну Яковлевну с «Блаженствами» можно с полным основанием назвать «наследницей по прямой» нашего великого поэта, не так ли?

Словом, молодцы все те, кто помог Инне Яковлевне осуществить сей издательский проект. Хорошая получилась книга. Умная, добрая, поучительная. В ней собраны не только четверостишия про блаженства, как широко известные, так и новые, но и стихи разных лет, которые, вне всякого сомнения, писались в тетрадь только для себя. А потому прощаешь некоторую неряшливость отдельных строк, ибо так сильно ранит душу накал чувств и горестных переживаний, спонтанно вылившихся на бумагу. Ибо что может сравниться с горем матери, потерявшей единственного сына?

Летнее небо

Так бы и сидела, прислонясь слегка,
Так бы и глядела я на облака.
А они белели бы, плыли надо мной.
Может, в самом деле там сыночек мой.

Есть в новой книжке и небольшой прозаический раздел со смешливым названием «Из записок училки». Наверняка читатель не раз и не два улыбнется, читая непридуманные истории о школе. Ведь за плечами у автора поистине колоссальный педагогический стаж.

Уверена, ученики, которым Инна Яковлевна преподавала историю, любили свою училку. Не сомневаюсь в этом ни единой секунды! Дети, какими бы они ни были и какой бы сложный период в своей жизни ни переживали, всегда инстинктивно тянутся к добрым и мудрым наставникам. Не к «добреньким», не к тем, кто заигрывает с учениками, пытаясь переманить их на свою сторону пряником, а к тем, кто умеет разговаривать с ребятами на равных, не опускаясь до амикошонства, кто не уходит от самых сложных и трудных тем, кто сам не изворачивается и не лжет ни в большом, ни в малом. Именно такой учительницей предстает Инна Яковлевна со страниц своих педагогических историй.

Предполагаю, что при желании она могла бы с легкостью насобирать таких историй на целый увесистый том воспоминаний. А почему бы и нет? Ведь дело только за малым: сесть и написать. Или еще проще, надиктовать. И вот вам — пожалуйста! Готовая «Педагогическая поэма», но уже наших дней.

И конечно, буду с нетерпением ожидать появления новых «Блаженств». Наверняка они появятся, наверняка они уже написаны, но просто еще не известны широкой публике, к коей отношусь и я. Ведь как справедливо заметил наш современник, замечательный поэт Юрий Михайлович Сапожков, *«...В этой жизни столько радостей еще».*

А в качестве заключительных строк хочу поделиться с вами, дорогой читатель, одним казусом, не дающим мне покоя вот уже сколько времени. Быть может, именно вы и поможете мне докопаться до истины.

Дело в том, что пару лет тому назад на одном из поэтических порталов (их сейчас в интернете «тьмы и тьмы») я отыскала в разделе «Прикольные стихи» смешной стишок без подписи. Был он выложен в сеть для всеобщего обозрения 1 января 2013 года. Прочитала и почему-то сразу решила, что его написала Инна Бронштейн. Или кто-то очень близкий ей по мироощущению.

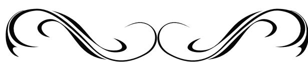
Судите сами!

Годы идут, годы движутся…
Челюсть вставлена, трудно дышится.
Гляжу в зеркало — одна кручина!
Шея в складках, лицо в морщинах…
Туфли куплю — в журнале копия,
Носить не могу — плоскостопие…
Вдаль не вижу, вблизи — как безрукая,
То ли дальнозоркая, то ли близорукая?
И слух стал намного ниже!
Пошлют подальше — иду поближе…
Нам Пушкин песни пел упорно:
«Любви все возрасты покорны…»
Мол, в старости на любовь есть сила,
А я вам скажу: «Не тут-то было».
Хочу пококетничать, глазки в пол,
А лезу в сумочку, там — валидол…
Мужчине в объятия хочется броситься,
Да мешают очки на переносице.
И память стала низкого качества:
Зачем легла к нему? Забыла начисто.
Одно утешенье со мной повсюду:
Я — хуже, чем была, но лучше,
чем буду!!!

Скажу честно, я совсем не расстроюсь, если эти «прикольные стишки» написаны не Инной Яковлевной. Скорее всего, переусердствовала я в своих поисках ее новых опусов. Но появление такого стихотворения в интернете очень симптоматично, ибо это однозначно свидетельствует о том, что не только дурные примеры заразительны. К счастью, и хорошие примеры тоже!

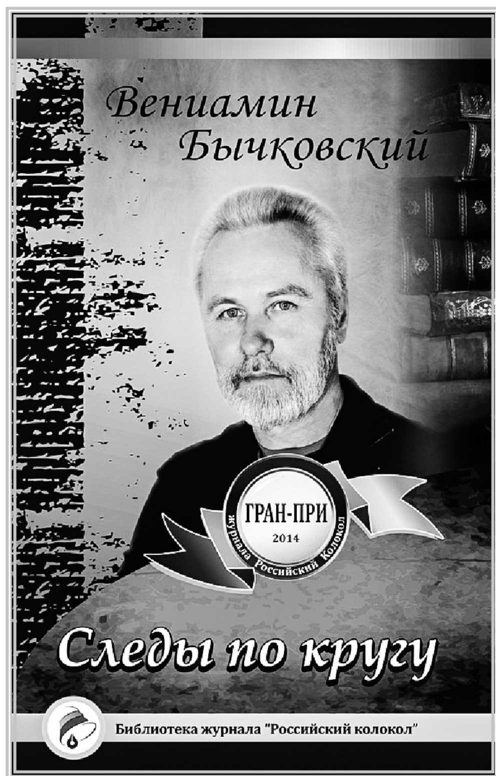
Стало быть, живет где-то на белом свете еще одна симпатичная старушка, готовая поделиться с целым миром своим неиссякаемым оптимизмом, желанием приумножить добро и сделать всех нас (и себя тоже!) хоть на малую толику счастливее. А ради этого действительно стоит жить и творить! Новых Вам «блаженств», Инна Яковлевна! Буду с нетерпением ждать.

Зинаида КРАСНЕВСКАЯ



С точки зрения рецензента

Путь к себе



В конце прошлого года в серии «Библиотека журнала «Российский Колокол», издающейся в Москве, вышла книга Вениамина Бычковского «Следы по кругу».

Это, как свидетельствует биографическая справка, открывающая сборник, третья книга Вениамина Бычковского. Из справки читатель также может узнать, что автор родился в Уфе, занимался спортом, работал в сфере туризма, много путешествовал. С 1995 года проживает в Беларуси. Творческие пристрастия — литература и краеведение. Как краевед изучает прошлое Полесья: создал два музея, разработал ряд экскурсий, строит часовню-памятник, награжден медалью «За личный вклад в сохранение памятников военной истории». Член Союза писателей Беларуси, лауреат нескольких литературных конкурсов, в том числе — Гран-при журнала «Российский Колокол». Потому, как нетрудно догадаться, Вениамин Бычковский и удостоился чести быть изданным в «Библиотеке журнала «Российский Колокол». Что ж, это действительно большая честь для писателя, живущего далеко от Москвы. Так что — наши искренние поздравления! Тем паче, что литератор и краевед Вениамин Бычковский наш земляк — живет в самой что ни на есть полесской глубинке — деревне Бобровичи Ивацевичского района.

Книгу «Следы по кругу» открывает рассказ «Пирамида». Он не просто автобиографичен — это скорее даже не художественная проза, а дневниковая, что, прямо скажем, большой плюс, поскольку подобная проза обычно вызывает у читателя повышенный интерес. И хотя творческий почерк Бычковского очень сдержан, биографичность повествования чувствуется сразу же по прочтении нескольких абзацев рассказа «Пирамида». Тем более что мы уже познакомились, пусть и вкратце, несколькими штрихами, с биографией автора книги. Тем интереснее узнать, что же привело в наши низинные края уроженца Южного Урала Вениамина Бычковского? Впрочем, предоставим слово самому писателю. «М-ский треугольник — зона аномальных явлений на границе Пермской и Свердловской областей… Двадцать лет назад об этом месте было много публикаций в газетах, телевизионных сюжетов, но со временем все стихло. То ли явлений стало меньше, то ли люди уже привыкли к ним. И это неудивительно: кажется, не осталось на Земле города, района без аномальных зон, появлений НЛО, инопланетян. Однако весь этот калейдоскоп чудес мало продвинул вперед человеческие познания о Вселенной, да что там Вселенной, даже о земной

жизни ничего нового человек не узнал. И в этом ряду я не исключение…»

И все же именно прикосновение к чуду аномальной зоны — М-ского треугольника — в корне изменило жизнь героя рассказа, читай, его автора, Вениамина Бычковского.

«…я уже твердо верил, что жизнь каждого из нас ведется Волею свыше, так что не следует беспокоиться ни о чем, помимо задач, которые ставит перед нами родное сердце. Эта вера была наивна и хрупка, но именно в этой наивности и оторванности от земли была та чистота, которую я видел в вере великих подвижников, и она покорила меня, она стихийно вошла в душу, она была желанной, охватила меня как волна, и мозг мой рабски подчинился ей. Наступил покой, существование мое стало ясным и тихим. Вся моя энергия ушла куда-то внутрь, к глубочайшим тайным переживаниям. Меня как никогда влекло одиночество, и во мне появилась любовь к пустынным, тихим местам, где между мной и Богом была только одна моя мысль и «шарики» М-ской зоны, с которыми я уже не играл, как прежде».

Не буду подробно пересказывать сюжет рассказа «Пирамида», остановлюсь лишь на самых его знаковых местах. Правда, еще раз отмечу, написан рассказ скупым, но точным литературным языком. При этом повествование весьма живое, увлекательное, и самое главное, — суть рассказа, его простая и вместе с тем глубокая философская мысль: человек на свете сколь случаен, столь и желаем, нужен и важен на земле.

«Если очень глубоко разбираться в том, что произошло, то можно, пожалуй, увидеть внезапное открытие дверей иного мира, куда я, возможно, полусознательно стучался и в предыдущие годы, еще до М-ского треугольника… Многое пришлось пережить за эти годы, однако я нисколько не жалею о случившемся. Скажу больше: желаю каждому отыскать свой аномальный треугольник. Только через аномальную зону человек может постичь другую геометрическую фигуру — круг. Круг жизни… Эта фигура предопределена нашими предками. Следы по кругу — это следы рода, давшего нам жизнь и определившего нам место рождения. У каждого человека есть свой круг на земле предков, и любое отклонение от этого круга делает нас слабыми и неустойчивыми — с изломами и изгибами, с надрывами и порывами… Нередко человеческая судьба может предстать такой уродливой фигурой, какой и в природе нет».

И далее — развязка, из которой мы узнаем, что послужило поводом как для названия рассказа, так и для написания его. В ней и кроется, по сути, весь смысл повествования. И написан этот заключительный абзац рассказа «Пирамида» сколь просто и лаконично, столь и глубоко — и по-житейски, и по-философски. Впрочем, лаконизм, скупость красок, а вместе с этим автобиографизм и философичность свойственны почти всем рассказам и миниатюрам, что составили книгу Вениамина Бычковского «Следы по кругу».

«С последней аномальной зоной я встретился на земле предков. Куда попал, можно сказать, проездом, но не случайно. Ступив в родовой круг, моя жизнь опять коренным образом поменялась, только теперь «коренным» — от кровных корней. Оказывается, если вернуться (с любыми изломами) в родовой круг, то внутри него может преобразиться любая геометрическая фигура. Если на моем сердце отпечатался треугольник, то внутри моего круга жизни образовалась пирамида. В ее основании тоже треугольник, но он лежит на земле моих предков, чтобы и остальные три стороны пирамиды не отрывались от родной земли. Первая сторона — вероисповедание моих предков (строю часовню), вторая — продолжение рода — новая семья и рождение сыновей, третья — работа и творчество, в которых воспеваю животворящие корни Великого Прошлого…»

На этом можно и заканчивать отзыв на книгу «Следы по кругу» уроженца столицы Башкирии — Уфы, а теперь, как оказалось, нашего сородича и земляка Вениамина Бычковского, вот уже более двадцати лет щедро отдающего себя служению Белорусскому Полесью, духовным связям Беларуси и России. Людям читающим, помнящим свои корни, встреча с этой небольшой по формату, но весьма ёмкой по содержанию книгой, будет не только интересной, но и полезной.

Валерий ГРИШКОВЕЦ

Литературное содружество

Мо Янь — писатель из народа

Еще в 2012 году китайский прозаик Мо Янь был отмечен Нобелевской премией в области литературы. И уже сразу его произведения начали активно переводить на языки народов мира. Но русский переводчик Игорь Егоров гораздо раньше заметил и выделил творчество Мо Яня. Наша встреча и разговор о творчестве китайского писателя — с его русским переводчиком.

— Вы начали переводить Мо Яня еще до того, как он стал лауреатом Нобелевской премии. Что заставило Вас обратить внимание на роман «Страна вина»?

— Произведения авторов, появившихся в Китае в начале 1980-х годов с началом политики «реформ и открытости», среди которых был и Мо Янь, были абсолютно не похожи на произведения китайской литературы прежних лет, полностью подчиненных политике в соответствии с провозглашенным еще Мао Цзэдуном в 1942 году «творческим методом сочетания революционного реализма и революционного романтизма». Для читателя, знакомого с политическими агитками того времени, идеализированными героями и надуманным повествованием, эти новые книги были подобны глотку свежего воздуха. Это была настоящая литература, хотя чувствовалось влияние хлынувших в то время в Китай переводов мировой литературы. «Страна вина» относится к экспериментальным произведениям Мо Яня, он тогда искал свой стиль, и в романе отдана существенная дань постмодернизму. Именно это, по моим представлениям, как нельзя лучше подходило для знакомства русского читателя с его творчеством, несмотря на обилие китайских реалий, аллюзий, идиоматических выражений и традиционного китайского реализма, нередко переходящего в натурализм. Тогда Мо Яня у нас никто не знал, и я надеялся, что после прочтения такого романа, где смешаны фантастика и реальность и на голову читателя обрушивается лавина самой разной информации, имя автора запомнится вне зависимости от произведенного впечатления — положительного или отрицательного. Так, собственно, и случилось: мнение читателей разделяется 50 на 50.

— Роман «Большая грудь, широкий зад» шокировал читателя, в особенности — консервативного, своим названием. Вы можете с определенной долей уверенности утверждать, что в этом произведении отражено лицо китайской цивилизации или хотя бы лицо современного Китая?

— Меня издатели неприятно поразили обложкой для романа, который был издан редким для нашего времени двенадцатитысячным тиражом. А название для романа, по признанию самого автора, подсказала ему древняя женская статуэтка с крупными формами, похожая на наших каменных баб в скифских степях. Главная героиня романа, простая крестьянка, выкормила большой грудью своих и чужих детей и выстояла на протяжении почти целого века бурной и кровавой китайской истории. Мо Янь считает это произведение центральным и говорит, что можно не читать другие романы, но для понимания его творчества «Большую грудь» нужно прочесть обязательно. Это роман о жизни простого народа, которому любая власть не приносит

ничего, кроме новых тягот и лишений, о народе-труженике, хранителе многовековых традиций и народной культуры. Он знакомит со многими особенностями китайцев, привлекательными и не очень, насыщен сведениями о традиционных обычаях, в частности, дает прекрасное представление об отношении китайцев к иностранцам. В этом смысле роман отчасти отражает особенности китайской цивилизации. И в какой-то мере сегодняшний день Китая, потому что традиции продолжают жить, несмотря на огромное влияние цивилизации европейской.

— Сегодня много говорят о других китайских романах — о «Тотеме волка» Цзян Жуна, «Последнем императоре» Су Туна... Насколько Мо Янь сильнее в своих художественных и, может быть, идейных устремлениях?

— Сравнивать этих авторов, наверное, неправомерно, слишком они разные. Цзян Жун вообще не профессиональный писатель, хотя «Тотем волка» безусловно интересен и сюжетом, и темой экологии, и историей волков, и противопоставлением монголов и китайцев. И «Последний император» (это название дало издательство, вообще роман называется «Моя царская судьбина») заслуживает внимания как изящная, хоть и страшная картинка-размышление по мотивам древней китайской истории. Но Су Тун — писатель больше камерный, он чужд эпического и предпочитает филигранные психологические описания героев, их дум и сомнений, он известен также как большой знаток женской души. У Мо Яня подход масштабнее и многограннее. В своих произведениях он не боится затрагивать самые чувствительные темы китайской истории. Например, роман «Лягушки» (2009) посвящен такой болезненной для китайцев теме, как ограничение рождаемости. Его тексты очень насыщенные, Мо Янь будто торопится высказаться, тонкий стилист, он нередко повествует от лица не одного, а нескольких рассказчиков.

— В одном из своих интервью Вы процитировали следующие слова, посвященные Мо Яню: «…по своему духовному настрою произведения Мо Яня более китайские, чем у любого другого писателя, он обладает... силой, имеющей глубокие корни в земле Китая». Что же это все-таки за сила?

— «Китайскость» Мо Яня, видимо, заключается в том, что он человек из народа, простой китаец с добротной крестьянской закваской. Ему не надо «ходить в народ», учиться у него, он с детства впитывал народную культуру, традиции, слушал популярных сказителей шошуды, запоем читал китайские классические романы: его любимый роман — «Речные заводи». Он знает, что такое голодное детство, на себе испытал политические репрессии со своим «неправильным» происхождением (он из семьи зажиточного крестьянина, по-нашему — кулака) и прошел через горнило политических кампаний. Поэтому произведения Мо Яня написаны с точки зрения простого человека из народа. В этом, наверное, и есть его сила. Тот же известный критик Ли Цзинцзэ, слова которого вы привели, отмечал, что за тридцать лет Мо Янь сделал для китайской литературы больше, чем любой другой китайский писатель. Заметим, правда, что в Китае не любят говорить «самый лучший», а предпочитают формулу «один из лучших».

— Оценка или формулировка Нобелевского комитета в отношении Мо Яня следующая: «…галлюцинаторный реализм объединяет народные сказки с историей и современностью». Так от чего, от кого больше в прозе Мо Яня — от реалиста или от сказителя?

— Честно говоря, я был немало удивлен, когда узнал о присуждении Мо Яню Нобелевской премии, хотя он, несомненно, достоин этой высокой награды. Удивлен потому, что слишком часто в последние годы эта премия вручается больше по политическим соображениям, а не за высоты литературного творчества. В своей Нобелевской лекции Мо Янь заявляет: «Я — сказитель». Там же он дает определение роли писателя, которая позволяет понять его позицию. Позволю себе пространную

цитату: «Как член общества писатель, конечно, имеет свою позицию и свою точку зрения; но при создании произведения он должен выступать как гуманист, и люди у него должны оставаться людьми. Лишь тогда литература сможет не только отталкиваться от какого-то события, но и идти дальше его, не только интересоваться политикой, но и превосходить ее. Долгое время моя жизнь была полна лишений, и возможно, благодаря этому я приобрел довольно глубокое понимание человеческой природы. Я знаю, что такое настоящая храбрость, понимаю, что такое настоящее сострадание. Я знаю, что в душе каждого человека есть некая туманная область, где трудно сказать, что правильно и что неправильно, что есть добро и что есть зло. Как раз там и есть где развернуться таланту писателя. И если в произведении точно и живо описывается эта полная противоречий, туманная область, оно непременно выходит за рамки политики и обусловливает высокий уровень литературного мастерства».

— А что за история с запрещенным романом Мо Яня — «Чесночные напевы»..?

— Роман «Чесночные напевы», вышедший в 1988 году, основан на реальных событиях в уезде Гаоми, родном уезде Мо Яня, так называемом «чесночном инциденте», когда крестьяне протестовали против политики властей. Мо Янь откликнулся на это событие и за тридцать пять дней написал почти трехсотстраничный роман. А запретили роман, насколько мне известно, через год, в связи с событиями на площади Тяньаньмэнь. «Чесночные напевы» был не единственным романом Мо Яня, запрещенным цензурой. Остракизму была подвергнута и первая редакция романа «Страна вина» (1993): слишком яркой оказалась эта острая сатира на нравы чиновников и партфункционеров. Досталось от критиков и роману «Большая грудь, широкий зад» (1996): автора называли чуть ли не фашистом, очерняющим отечественную историю. Ведь Мо Янь одним из первых обратился в нем к теме жестокой братоубийственной гражданской войны 1945—49 годов между националистами и коммунистами, а также показал в романе страшный голод в Китае в 1958—60 годах.

— Псевдоним Мо Янь (настоящее имя — Гуань Моé) означает «молчи». Все ли успел сказать о Китае нобелевский лауреат Мо Янь?

— На сегодняшний день Мо Янь опубликовал 11 романов, более 60 повестей и множество рассказов. Но по его собственному признанию, у него в голове еще тем на три сотни романов. Как мне кажется, этот талантливейший крестьянский самородок может еще много чего поведать своему народу и миру.

— Вы как-то назвали среди китайских писателей, также достойных Нобеля, — Су Тун, Би Фэйюй, Юй Хуа. Чем именно они выделяются в океане великой китайской литературы?

— Вышеназванные писатели, безусловно, интересны и талантливы, но они названы в первую очередь потому, что наиболее известны на Западе, особенно Юй Хуа. А китайская литература — это действительно безбрежный океан авторов и произведений, среди которых наверняка есть пока безвестные будущие Нобелевские лауреаты.

— Нобелевскую премию по литературе в 2015 году получила Светлана Алексиевич. Почти все ее произведения еще до решения Нобелевского комитета уже были переведены на китайский язык. У них — Алексиевич и Мо Яня — есть что-то общее?

— Китайцы очень пристально следят за литературой на русском языке и очень много переводят. Поэтому неудивительно, что они давно перевели произведения Светланы Алексиевич. Не могу сказать, что хорошо знаком с ее творчеством, читал только «У войны не женское лицо». И найти что-то общее у нее с Мо Янем затрудняюсь. Тем более, что она пишет не художественную прозу, как сейчас говорят, а — нон-фикшн, и мотивы присуждения ей Нобелевской премии, как мне представляется, несколько иные.

Беседовал Алесь КАРЛЮКЕВИЧ.

Из почты журнала

Информационное пространство не терпит пустоты

Минувший 2015 год был отмечен мероприятиями по случаю 70-летия Победы над гитлеровской Германией. Белорусские журналы литературно-публицистического направления разместили многочисленные документальные материалы о войне в самой различной форме: статей, очерков, интервью с ветеранами. Несколько публикаций появилось в журнальной периодике и в 2016 году.

К сожалению, далеко не все они содержат новую информацию, актуальный взгляд на прошлое, творческий анализ известных закономерностей.

В качестве одного из удачных примеров нужно упомянуть статью Министра обороны Республики Беларусь Андрея Равкова «Великая Победа: история и современность» (Беларуская думка, № 5, 2015). Автор показывает грандиозность подвига Красной Армии и союзников через объективную оценку противника: «К началу 1940-х годов военная промышленность Германии была одной из лучших в мире, а военное планирование немецкого Генерального штаба находилось на высочайшем уровне. Добавим сюда дисциплинированных немецких солдат и хорошо подготовленный офицерский корпус, представлявший собой профессиональную касту как результат многолетней целенаправленной работы». Можно не согласиться с отдельными утверждениями статьи, например, о привязке срока окончания войны не позднее предполагаемой даты создания ядерного оружия Германией, но в целом она оставляет самое благоприятное впечатление с точки зрения подачи материала и обоснованности выводов.

К сожалению, некоторые публикации написаны так, словно текст готовился в семидесятых годах и к современности лишь косметически адаптирован. К наиболее существенным и типичным недостаткам относятся: изобилие пропагандистских штампов прежней эпохи, грубые исторические ошибки, механическое воспроизведение давно опровергнутых мифов, тенденциозно-одностороннее освещение событий войны.

Подобное впечатление произвела, в частности, статья Алексея Закружного «Их раны все еще болят» (Нёман, № 10, 2015). Она содержит ряд серьезных исторических погрешностей в датах и фактах, многие приведенные цифры или неверны, или взяты из устаревших источников. Однако ценность в работе представляют личные воспоминания автора, тем более одной из тенденций настоящего времени является внимание к биографиям обычных солдат и офицеров, не героев, не полководцев. Простых бойцов, что не удостоены громких наград, не прославлены газетой «Правда», чьи имена не звучали в сводках «Совинформбюро». Но они добывали Победу день за днем, отдавали жизни, свою кровь и свое будущее. Из прошлогодней подшивки «Нёмана» (№ 5, 2015) в этом плане показательна документальная повесть Владимира Ландера «Солдат войну не выбирает». Вот только один отрывок о боях стрелковой части:

«…Приходилось батальонам полка непрерывно штурмовать безымянные высоты среди болот да брать на западном берегу реки Лучесы крохотные плацдар-

мы-платочки не больше 100—150 метров в глубину. И мальчишек необстрелянных в бой посылать приходилось. Другого выхода не было. Тяжело нашим войскам Лучеса давалась. Река Лучеса... В годы войны фронтовики называли берега этой реки «кровавыми», а землю вокруг — «раскаленной». Такой выжженной и исковерканной земли, как под Витебском, Дубровскому и его однополчанам видеть нигде не приходилось. Ни одного дома целого. Все сожжено, разрушено и разграблено. Печные трубы сиротливо торчат. Многострадальная земля окопами да воронками до самого горизонта изрыта. Смотреть жутко и больно. Наши войска в боях за Лучесу, по официальным данным, потеряли более 42 тысяч человек…»

Повесть представляет собой литературную обработку воспоминаний стрелкового офицера Николая Дубровского, написана просто, безыскусно, без патетики и казенной трескотни. В повести — та самая окопная правда, холод долгих походов, бессонные ночи, лишения, утраты. Единственное замечание редактору и литератору — текст не вычитан на повторы и другие мелкие стилистические ошибки. В этом коротком отрывке слово «приходилось» повторено трижды без всякой нужды.

Количество потерь, указанных автором применительно к этому эпизоду, оговорено как «официальное». С намеком, что фактическое может быть иным. Надо заметить, белорусские авторы часто приводят цифры общих потерь Советского Союза по результатам исследования группы Григория Кривошеева, опубликованные в работе «Гриф секретности снят» 1993 года. Там утверждается, что безвозвратные потери армии и флота Советского Союза (за вычетом вернувшихся военнопленных) составляют 8,6 млн. человек, общие — 26,6 млн. Генерал-лейтенант Махмут Гареев, президент Академии военных наук, от имени армии объявил выводы Кривошеева частным мнением его группы, но не официальной позицией Министерства обороны РФ. С 1993 года получена масса дополнительной информации, опубликовано множество исследований, чьи авторы единодушно опровергают упомянутые цифры. Число безвозвратных боевых потерь (с вычетом выживших военнопленных) оценивается в 11,5—14,5 млн. человек. Гибель гражданского населения, как полагают Лев Лопуховский, Виктор Земсков и многие другие ученые, существенно меньше, чем заявлено у Кривошеева.

К 70-летию окончания войны не оглашена официальная позиция правительства Российской Федерации о боевых потерях; можно констатировать — ее не существует. В выступлениях официальных лиц звучит: «…наш народ потерял свыше…» Далее называется произвольная цифра от двадцати пяти до двадцати семи миллионов человек. Соответственно, и в Республике Беларусь не объявлены никакие выводы, отличные от явно устаревших данных Кривошеева. Пока с точностью хотя бы до миллиона неизвестна цена Победы в человеческих жизнях, лучше с осторожностью относиться к заявлениям о размерах людских жертв. Допустима формулировка «по разным оценкам». Безапелляционное воспроизведение неактуальных данных играет отрицательную роль в восприятии публикации читателями.

Если автору небезразлично воздействие произведения на аудиторию, то наибольшего эффекта можно достичь рассказом о частных событиях. На эмоциональном уровне разница между восемью или девятью миллионами погибших советских солдат не ощущается — обе цифры невообразимо велики. Но повествование о единственном убитом человеке и безутешном горе его родных тронет гораздо глубже. Не обязательно ограничивать себя фронтовой тематикой, самой высокой оценки заслуживают произведения о тяготах тыловой жизни в военные годы, тем более — о невзгодах под немецкой оккупацией.

Именно так — «Акупацыя» — озаглавлены воспоминания Льва Колосова о жизни в Лунинце в 1941—44 гг., они опубликованы в журнале «Полымя» (№ 5—6, 2015). Наверно, это одно из

самых проникновенных мемуарных произведений, увидевших свет в последние годы. Что интересно, автор не является профессиональным литератором, но его умению рассказчика можно позавидовать. Он настолько четко выдерживает ритм, равномерно вставляет неожиданные, непривычные подробности о быте оккупированного города, что невозможно оторваться, пока не перевернешь последнюю страницу. Понимаешь, какая там была жизнь — странная, уродливая, отравленная страхом, но жизнь…

Воспоминания другого свидетеля жутких лет оккупации опубликованы в журнале «Маладосць» (11, 2015), произведение называется «Міндзікі». От этих строк можно содрогнуться: «Першыя рэпрэсіі фашысты скіравалі на лоеўскіх яўрэяў. Асабліва здзекаваліся з траіх дэфектных яўрэяў Лемы, Гіка і Нахемы. Іх запрагалі ў воз замест коней, вазілі на іх ваду і цэглу з разбітых пры бамбёжцы дамоў. Калі тыя ад знямогі падалі, іх жорстка білі, пакуль аднойчы не забілі да смерці. Восенню больш за сотню лоеўскіх яўрэяў фашысты перапаравілі праз Днепр і расстралялі. Да нас дайшлі чуткі, што ад карнікаў уцякла толькі адна жанчына — Рая, якая да акупацыі працавала загадчыцай дзіцячай бібліятэкі. Яе дваіх дзяцей-блізнят і маму фашысты забілі. Казалі, што Рая доўгі час блукала вакол і клікала: “Сталін, спасай! Сталін, спасай!”» Познавательная ценность таких воспоминаний и психологический эффект от них гораздо сильнее, чем статистические выкладки о масштабах боев и депопуляции населения.

Основной упрек белорусским документалистам и публицистам заключается в отсутствии новых подходов к освещению событий и результатов войны. Творческая мысль бродит по многократно хоженым дорожкам: подвиги белорусов в рядах Красной Армии, партизанское движение, бои на территории БССР, уничтожение евреев, тяготы мирного населения. Но значительное число наших земляков участвовало в отпоре германской агрессии еще в 1939 году в рядах Войска Польского. В прежние годы много писалось о дивизии имени Тадеуша Костюшко, сражавшейся вместе с соединениями Красной Армии, и чрезвычайно мало о белорусах в армии Андерса, участниках боев в Северной Африке и в Италии. В советские времена они считались «неправильными» героями в «буржуазных» вооруженных силах. Святая обязанность — хотя бы попытаться отдать должное нашим землякам. В июле в Национальном историческом музее Беларуси открылась выставка «Белорусы в Войске Польском 1939—1945 гг.».

Мало кто знает, что многие из них воевали в вооруженных силах Великобритании. Минчанин Станислав Петрашкевич летал на британском «Спитфайре» в составе 303-й польской эскадрильи RAF и выполнил норматив аса-истребителя, уничтожив пять немецких самолетов, все победы подтверждены германскими данными о потерях.

Петрашкевич — далеко не единственный в летном составе Королевских ВВС, рожденный в Беларуси. Еще — Игнасий Швенчицкий, Ян Палак, Эдвард Махонь. Лишь о последнем из них мелькнула небольшая заметка в одной из региональных газет. Это — только авиация и только по польским источникам. А сколько уроженцев белорусской земли дрались с немцами и итальянцами в других родах войск? Быть может, пора преодолеть доставшееся по наследству от советских времен деление на «наших» и «не наших» белорусов?

Информационное пространство, не заполненное публикациями на основе объективного научного анализа событий, в том числе — достаточно неудобных для освещения, неизбежно осваивается спекулянтами от истории.

Совсем скоро мы отметим три четверти века со дня освобождения Беларуси от немецкой оккупации. Через два года исполняется восемьдесят лет объединения нашей страны. Есть время, чтобы осознать упущенное. Есть ресурсы, чтобы быть к этим датам во всеоружии публицистического слова.

Анатолий МАТВИЕНКО

Мост дружбы

Мустай Карим: связь с другими народами и литературами

Среди других персональных энциклопедий хорошей славой пользуются издания «Белорусской Энциклопедии имени Петруся Бровки» — «Скорина», «Янка Купала», «Максим Богданович». Фактически минское энциклопедическое издательство является лидером в этом деле на постсоветском пространстве. Известны еще такого характера издания в России, Украине. Как, например, — «Михаил Лермонтов» в России, «Тарас Шевченко» в Украине.

В Башкортостане в Уфе работает научное издательство «Башкирская Энциклопедия», в котором наряду с другими энциклопедическими изданиями увидела свет персональная энциклопедия «Салават Юлаев». Как здесь не провести аналогию и не подумать о том, что в Беларуси давно назрело время выпустить энциклопедию «Кастусь Калиновский» — о предводителе восстания 1863—1864 гг.

Новый проект башкирских книжников и энциклопедистов — энциклопедия «Мустай Карим». В 2012 году энциклопедисты подготовили концепцию и тематический словарь нового издания. Энциклопедия «Мустай Карим» создается в соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан «Об увековечивании памяти народного поэта Башкортостана Мустафы Сафича Каримова (Мустая Карима)» от 17 января 2006 года и одноименным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 ноября 2006 года. Издатели ставят перед собой задачу осмыслить феномен Мустая Карима как выдающейся личности своего времени, способствовать постижению и объективному восприятию поэтического мира писателя.

Изучая тематический словарь, мы обратили внимание на отражение связей М. Карима с Беларусью, другими странами. Энциклопедисты запланировали статьи о народных поэтах Беларуси Аркадии Кулешове и Петрусе Бровке. В общем-то, это закономерно. Особенно — в отношении Аркадия Кулешова. Часто критики, давая характеристику тем или иным тенденциям в развитии многонациональной советской поэзии, выстраивали ряд, в котором вместе находились Мустай Карим, Давид Кугультинов, Алим Кешоков, Расул Гамзатов, Аркадий Кулешов. Народный поэт Беларуси Петрусь Бровка длительное время был руководителем белорусской писательской организации, входил в состав правления Союза писателей СССР. Очевидно, что многочисленными были и его встречи с Мустаем Каримом.

Но, на наш субъективный взгляд, отражение связи М. Карима с Беларусью в персональной энциклопедии должно быть несколько шире. В свое время «Белорусская Энциклопедия» (восьмой том 18-томного издания) разместила отдельную статью о М. Кариме. Этого нельзя не учитывать. Во-вторых, на белорусский язык стихотворения Мустая Карима переводили Степан Гаврусев, Иван Колесник, Валентин Лукша. Конечно же, статьи о них должны занять достойное место в

персональной энциклопедии народного поэта Башкортостана. Кстати, в 1980 году белорусский альманах «Далягляды» («Горизонты») напечатал большую подборку стихотворений М. Карима в переводе С. Гаврусева. Всего 8 произведений. Среди них — известные стихотворения «Наступает вечер» («Кіс кілэ»), «Меня подхватишь ты мгновенно…» («Хін тотагын белегемдэн…») и другие яркие поэтические открытия. Почему, в таком случае, не дать отдельную статью о «Горизонтах» («Далягглядах»)? А может быть — и о других изданиях, где в Беларуси печатались стихотворения М. Карима?..

Интересными представляются планы энциклопедистов в отношении знакомства с «украинской площадкой» на планете «Мустай Карим». Это очень важные страницы персональной энциклопедии, важные страницы в жизни и творчестве башкирского поэта. Ведь Мустай Карим в Великую Отечественную войну участвовал в освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков. Украине посвящены многие стихотворения М. Карима. Начиная с 1953 года, в Украине вышло около 10 книг башкирского писателя в переводе на украинский язык. Случай, пожалуй, небывалый, если меть в виду представление поэта и прозаика одной из литератур народов России пусть себе и в братской республике. Но в тематическом словаре указано, что будут помещены статьи только о Платоне Воронько, Олесе Гончаре, Виталии Коротиче, Павло Мовчане, Миколе Нагнибеде, Дмитро Павлычко, Василе Романчуке, Максиме Рыльском, Романе Чумаке, тогда как доподлинно известно, что стихотворения на украинский переводили и другие поэты-переводчики. Наверное, следовало бы вспомнить М. Сингаивского, П. Перебийноса, Б. Степанюка, Р. Лубкивского, А. Кацнельсона. Интересен такой факт. Свои стихотворения М. Кариму посвятили Д. Павлычко и М. Нагнибеда. Наверное, этим произведениям, обстоятельствам их появления на Божий свет следует посвятить отдельные статьи.

В словаре отмечены и издания — газеты и журналы, о которых составители и авторы собираются рассказать в отдельных статьях. Но не называются московские, всесоюзные, а теперь общероссийские издания. К примеру, не стоит забывать даже журнал «Литературное обозрение», где была опубликована и рецензия Павло Мовчана на одну из книг Мустая Карима — «Запоздалое помилование» (четвертый номер за 1987 год). Что уж говорить о «Дружбе народов», «Новом мире» и других журналах, «Литературной газете», «Литературной России». Наверное, следовало бы выделить отдельными статьями и серии, в которых выходили книги М. Карима. Вот в Украине сборник «Мой век» увидел свет в серии «Братерство» («Братство»).

Нет в словаре и целого ряда поэтов, прозаиков, чьи произведения уже в свою очередь переводил Мустай Карим на башкирский язык. Как, к примеру, — украинца Богдана Чалого. Есть там и казахский раздел. Планируется статья о Мухтаре Ауэзове. Вообще литературы народов бывшего Советского Союза, народов России представлены замечательно. Веротяно, и реализация творческих намерений будет такая же значимая и серьезная. Осмелимся подсказать, что в мустаевской географии определенное место занимала и Удмуртия. Важно не забыть (в словаре Удмуртия отдельной статьей не отмечена). Для убедительности процитируем письмо народного писателя Удмуртии Вячеслава Ар-Серги, полученное мной совсем недавно: «…Мустай-ага бывал в Ижевске, конечно. В последний раз, помнится, он был на 100-летии удмуртской литературы где-то в середине 80-х годов века минувшего. В соцвремена придуман был такой юбилей — 100-летие письменной удмуртской художественной литературы — считали со времени первой публикации стихотворения Григория Верещагина на удмуртском языке «Чагыр, чагыр дыдыке» («Сизый, сизый

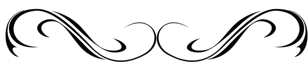
голубочек»). Это — публикация его стиха была в XIX веке, тоже где-то в 80-х годах… Мустай Карим читал на сцене свое стихотворение — «Все завершил, покончил с мелочами… Птиц выпускаю из своей груди…», с утрированным татарско-башкирским акцентом — жестко, давя на сонорные звуки, тираня консонанты… Энергетика была мощная… Я был знаком с Мустаем Каримом. Был у него дома, фотографировались у него в квартире в Уфе. Помню божественный ужин, приготовленный дочерью Мустая-ага, руками Альфии-ханум. Она — доктор наук. О Мустае Кариме и Удмуртии много можно говорить, но скажу главное — Мустай Карим был нашим добрым соседом. И это говорит о многом, со всеми вытекающими обстоятельствами — и литературными в их числе…»

Китай, китайская литература представлены в словаре отдельной статьей «Китай» и персоналией «Гао Ман». Следует отметить, что Гао Ман, известный китайский переводчик, художник-каллиграф, многолетний главный редактор китайского журнала «Мировая литература» (рождением с 1926 года), сейчас живет в Пекине. Несмотря на свой возраст, продолжает заниматься переводческой деятельностью, пишет статьи о связях с литературами постсоветских стран. За большой вклад в дружбу с Россией Гао Ман в середине 1990-х был отмечен орденом Дружбы. Думается, что статью о нем целесообразно сверить с его информацией, его осознанием места и роли Мустая Карима в башкирской литературе. Гао Ман — автор и художественного каллиграфического портрета Мустая Карима.

Несмотря на высказанные пожелания (они, безусловно, носят субъективный характер), задуманный творческий, энциклопедический проект впечатляет. Выражаем надежду, что он будет реализован на высочайшем научном, историко-литературном, литературоведческом уровне. И станет добрым примером реализации персональных энциклопедических проектов.

А в Беларуси, конечно же, подобную работу следует продолжить. Почему бы не издать энциклопедии «Якуб Колас», «Владимир Короткевич», «Василь Быков», «Иван Шамякин»?..

Кирилл ЛАДУТЬКО



Мост дружбы

В миниатюрной строке — соль жизни

Как разнообразен мир языков! Многочисленные звуки шипят, шумят, сливаясь в слова... И все это для того, чтобы кто-то кем-то был понят. И мир встает тогда во всей красе, и наполняется жизнь высоким смыслом. Но бывает, слово, даже звук вдруг вспыхнет враждою. И нет тогда беды сильней.

Как говорим, как умеем слушать — так и историю творим. Есть в этих выражениях нечто сродни той мудрости, которую наши далекие предки много столетий назад заложили в очень краткой, но предельно образной художественной форме народных изречений — пословицах и поговорках. Они возникли гораздо раньше, чем у отдельных народов появилась письменность. Например, жители гор пословицы называют нартскими словами в честь благородных и непобедимых богатырей — нартов, которые якобы жили в былые времена и стали олицетворением не только родных гор, ума, отваги, доброты, достоинства горцев. Образцы этого жанра, славянского в частности, белорусского народного творчества найдены в литературных памятниках XVI века.

У разных народов есть много отличий: природа, образ жизни, традиции, культура. Чем, скажем, могут быть похожи между собой жители гор — кавказцы — и славяне равнинной Беларуси? И тем не менее общего у нас не так уж мало.

Все мы ценим то, что дается человеку трудом, преклоняемся перед тем, без чего наша жизнь неполноценна: домом, семьей, Родиной. Мы одинаково чувственны в любви, страданиях, сопереживании чужому горю. Нас объединяет стремление творить добро и жить в мире. Пословицы и поговорки, которые являются великим культурным наследием и кабардинского, балкарского (адыгского), и белорусского, русского народов, подтверждают именно это.

Самобытность и, в определенной степени, специфичность мышления, безусловно, проявляются в народном творчестве и кабардинцев, и белорусов. Однако, отражая национальный колорит, эти жемчужины мысли изнутри освещены общечеловеческим смыслом. Они подкупают близостью мироощущения разных, казалось бы, народов. Эти миниатюрные творения свидетельствуют не только о взаимопроникновении культур, но и об их взаимообогащении,

Подчеркиваю, что общего у нас гораздо больше, нежели отличий.

Метко сказанное словцо не могло кануть в неизвестность. Подхваченное острословом, оно передавалось из уст в уста, как леденец, вкус которого хотелось отведать каждому и желать, чтобы его попробовали многие. Тем более что народный ум оттачивал выражение до совершенства, благодаря чему оно исключительно метко попадало в точку: «Что ранено саблей, опять зарастет, а что языком — не заживает»; «Двум кинжалам в одних ножнах не поместиться» (*кабар.*); «От людей спрячешься, а от совести — нет»; «Время не лошадь: не подгонишь и не приостановишь»; «Свою хитрость раскрой — чужая перед тобой раскроется» (*бел.*).

Одна фраза могла стать содержанием всей беседы, уберегая собеседников от пустословья. В этом также выражена характерная черта народа, не растрачивающего время попусту, вечно спешащего заняться делом. Примеры тому — «Не у того правда, кто много кричит»; «От мелющего языка плохая мука» (*бел.*).

Блестящая народная способность к образному мышлению делала очень доходчивой выраженную мысль: «На Аллаха уповай, а сам, брат, маху не давай»; «Другу что-нибудь отдать выгоднее, чем продать»; «Добра не пожалеешь для другого — добро и твоего коснется дома» (*кабар.*).

Не перестаешь удивляться живучести древнейшего народного творчества, которое в устном изложении оказалось гораздо сильнее многих других, бесследно исчезнувших материальных ценностей.

Фольклор, ставший своеобразным летописцем истории, позволяет судить об эпохах, непростых и драматичных, помогает представить образ жизни, быт, понять нравы наших предков, прислушаться к их советам и рекомендациям.

Пословицы и поговорки получили право на существование через испытания временем, но и сегодня они свежи в своей первозданности. Большинство из них, кажется, родились только сейчас: «Чего не нашел в хорошую погоду, не найдешь в буран»; «Чужое плохо сразу видно»; «Что малая свадьба, что большая свадьба — одно и то же»; «Брата лишнего не бывает» (*кабар.*). «Откладывай безделье, да не откладывай дела»; «У дурного соловья дурные и песни»; «У хорошей хозяйки и петух несется»; «Старший брат как второй отец» (*бел.*).

Человеческая мысль имеет непреходящую ценность. Она, отраженная в пословицах и поговорках, стала своеобразным генетическим кодом, который связывает поколения людей, живущих на этой земле.

И глубинный смысл, и меткая образность, и поэтичность звучания — не в этом ли неотразимость словесных ожерелий, блеснуть которыми рад и сегодня каждый? Обогащенная живописными красками народной мудрости речь сразу выделяет собеседника среди окружающих, непроизвольно подчеркивает его интеллект, дает возможность лучше других быть услышанным и понятым.

Родина. Святость этого понятия во многом определяет ценности человеческой жизни. Вот почему в палитре народной мудрости столько восторженных слов о родном крае, привязанности к нему. «Каждому свое место кажется красивым», — так говорят кабардинцы. «В своем краю, как в раю»; «Родная земля мягче чужой перины», — убеждены белорусы.

История судеб белорусского и кабардинского, балкарского народов очень схожа. Обе республики находятся в центре: одна — Европы, другая — Кавказа. А потому многочисленные войны если и не проходили по их территории, то обязательно касались их черным крылом. Это состояние постоянной напряженности отразилось на менталитете обоих народов и стало одной из главных тем, которая волновала людей, а потому и легла в основу различных устоявшихся выражений, как, например: «Война всегда боль несет» (*бел.*).

В ситуации опасности ярко проявляются свойственные человеку качества: честь и достоинство, когда надо защищаться от врага; храбрость и отвага, чтобы одержать победу. «Слезами врага не бьют»; «На печи не храбрись, а в бою не дрожи»; «У кого разум, у того и выдержка»; «Старый друг врагом не станет, а старый враг не будет другом»; «Герой встречает смерть однажды, а трус что ни минута — дважды», — пословицы разных народов. Нужно ли указывать на их национальную принадлежность, если по духу они абсолютно близки. Как, собственно, и эти высокие понятия имеют идентичный смысл: «Где нет чести, там нет счастья»; «Если честен, то и силен» (*кабар.*); «Погон не для вида, погон для чести» (*бел.*).

Семейные отношения — одна из наиболее распространенных тем, всесторонне рассматриваемых в фольклоре. По-разному звучат пословицы, но по смыслу, кажется, они создавались совместно. Значение детей в продолжении рода, роль материнского начала — свято для каждого народа. В кабардинском понимании это звучит так: «И тем, кто имеет одного ребенка, и тем, кто имеет сто, они одинаково дороги»; «И грач своих птенцов считает красивыми»; «Какова мать, такова и дочь»; «Если даже юноша слеп, матери он кажется зрячим»; «Старик и тот «О, мама!» — закричал, когда в горах его настиг обвал»; «Родителям воздай почет, твой сын тебе его вернет».

Белорусы так же искренни в родительских чувствах: «Дитя и худенько, а отцу-матери миленько»; «И сова своих детей хвалит»; «Как хорошее семя, так

и хорошее племя»; «Мать сама не поест, а детей покормит»; «Мамино крыло и в мороз теплое»; «Сын к матери с головешкой, а она: «Сынок, ручки обожжешь».

Своеобразная этнопедагогика, созданная нашими предками, и сегодня утверждает ценности, которые называют вечными. Аксиомы необходимости воспитания, значимости положительного примера не требуют никаких доказательств: «От колючки колючка рождается»; «Высоко торчащий колос часто бывает пустым»; «Дым велик — костер мал»; «Не согнешь прутом — когда станет колом, уже не заставишь гнуться» (*кабар.*).

«От яблони — яблоки, от сосны — шишки»; «С хорошего куста и хорошая птица вылетит»; «Что будет, когда год прибудет»; «Тогда детей учат, когда возле скамейки ходят» (*бел.*).

И все же центральная фигура, которой принадлежит множество всевозможных словесных характеристик, — это, конечно же, человек. Не обойдено вниманием ни одно его качество. Сколько же есть таких замечательных изречений, которые с удовольствием воспринимаются как комплимент! Кабардинцы говорят: «Того, кто будет хорошим волом, узнаешь еще теленком». «С красивого лица хорошо и воды напиться», — такова похвала у белорусов.

Отрицательные же черты, наоборот, осуждаются. Не жалеет народ крепкого словца в адрес нарушающих нормы морали, планка которой повсеместно поднята очень высоко. На Кавказе пренебрежительно относятся к тем, у кого «язык сладок, да сердце грязно», осуждают того, кто, условно говоря, «в одном месте яйца несет, в другом — цыплят высиживает». Считается непозволительным «в чужом хлеву считать скот». Многозначительны напоминания: «Обман родит обман»; «Сделавши зло, не жди добра».

Белорусская мораль в этом плане не менее строга и критична: «Не на весь рот говорит, а на половинку»; «Рассыпается мельче мака»; «Не будь ласый на чужие колбасы»; «В чужие сани не садись»; «Ты за чужим горшком, а черт за твоим мешком». Чтобы противостоять всему злому и завистливому, народ подключает защитные силы: «На хитрость дай Бог мудрость!» (*бел.*)

Покоряет своей образностью и тема людской молвы. Любители почесать языки, пустить сплетни есть в каждом селенье, но их болтливость красноречиво высмеивается: «Скажи одной курице, а она — всей улице» (*кабар.*); «Расскажешь про воробья — перескажут про журавля»; «Скажи слово на ноготь, а добавят на локоть»; «Люди из блохи сделают слона» (*бел.*).

За любое дело лучше всего браться совместно. Народ это хорошо знает. Поговорки также выполняют важную роль для поднятия духа: «Если девять мышей потянут, то могут сорвать крышку с кадки сыра» (*кабар.*); «В дружном стаде и волк не страшен»; «Одна пчела меда не наносит»; «Берись дружно, будет грузно» (*бел.*). Нельзя недооценивать и роль одного человека. Иногда его участие становится решающим, о чем образно сказано в пословицах: «И маленькая птичка способна произвести снежный обвал» (*кабар.*); «Не велик муравей, а горы ворочает» (*бел.*).

Особую ценность в жизни человека имеет здоровье. Оно напрямую связано с его возможностями, потому в кабардинских пословицах звучит сострадание: «Болезнь приходит легко, но уходит трудно»; «Все, что уносит на тот свет, — болезнь». Такое же сочувственное отношение имеют и белорусы: «Больному и мед не вкусен, а здоровый и камень ест». Все в одном единодушны: «Было бы здоровье, и жизнь будет!»; «Как здоровый, так и богатый» (*бел.*).

Алексей Толстой назвал плод народного творчества «праздничными одеждами души», и ведь действительно, это очень нарядно: «Без солнышка свету не быть, без милого не жить», — так говорят белорусы, и вторят им кабардинцы: «Кому по душе твоя голова, тому и ноги твои будут по душе»; Кто любимый, тот красивый».

* * *

Такова она, соль жизни. Ее можно отведать, приоткрыв богатейшую сокровищницу поэтического творчества, которое корнями уходит в глубь столетий. Оно так же бессмертно, как и наши народы.

Елена СТЕЛЬМАХ

АНДРЕЕВ Анатолий Николаевич. Родился в 1958 г. в г. Североуральск Свердловской области (Россия). Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Литературовед, культуролог, философ. Доктор филологических наук, профессор. Автор монографий «Целостный анализ литературного произведения», «Культурология», «Психика и сознание: два языка культуры» и др., а также романов, повестей, рассказов, пьес. Живет в Минске.

ГОРДЕЙ Виктор (Викентий Константинович). Родился в 1946 г. в д. Малые Круговичи Ганцевичского района Брестской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Поэт, прозаик, переводчик, критик. Автор многих книг. Лауреат литературной премии имени И. Мележа. Живет в Минске.

ЗЕЛЕНКО Вера Викторовна. Родилась в 1956 г. в Москве (Россия). Окончила математический факультет Белорусского государственного университета. Публиковалась в периодических изданиях Беларуси. Автор книги прозы «Время ничего не значит». Живет в Минске.

КОТЛЯРОВ Изяслав Григорьевич. Родился в 1938 г. в г. Чаусы Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Поэт, переводчик. Автор многих книг поэзии, многочисленных публикаций в изданиях Беларуси и России. Живет в Светлогорске.

ХАМДАМ Ато (Ходжаев Ато Хамдамович). Родился в 1948 г. в Душанбе (Таджикистан). Окончил филологический факультет Таджикского государственного университета. Писатель, драматург, член Союзов писателей Таджикистана и Беларуси, Сопредседатель Союза переводчиков и книгоиздателей стран СНГ и Балтии, общественный деятель. Автор более 50 книг, 15 многоактных пьес. Лауреат многих престижных премий. Первый таджикский писатель, удостоенный высшей литературной премии Пакистана. Обладатель почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Таджикистан». Живет в Таджикистане.

КОСИМ Низом. Родился в 1958 году. Окончил филологический факультет Таджикского государственного университета. Автор шести поэтических книг на таджикском языке, либретто оперы «Рустам и Сухроб». Председатель Союза писателей Республики Таджикистан, лауреат Государственной премии Республики Таджикистан имени Абу Абдулло Рудаки. Живет в Таджикистане.

ФАРЗОНА (Иноят Ходжаева). Родилась в 1964 г. в г. Худжанд (Таджикистан). Окончила филологический факультет ЛГПИ имени С. М. Кирова. Автор многих сборников поэзии. Лауреат премий молодежи Таджикистана и Мирзо Турсун-Заде, Народный поэт Таджикистана, лауреат Государственной премии Республики Таджикистан им. Рудаки. Живет в Таджикистане.

САМАДОВ Абдулхамид. Родился в 1947 г. в ущелье Шикоргах Ховалингского района Кулябской (ныне Хатлонской) области Республики Таджикистан. Окончил филологический факультет Педагогического института г. Душанбе имени Тараса Шевченко. Автор более 20 книг. Лауреат Государственной премии имени Рудаки, Заслуженный деятель Таджикистана, Народный писатель Таджикистана. Живет в Таджикистане.

КЕЛДИ Гулназар (Келдиев Гулназар Келдиевич). Родился в 1945 г. в д. Дар-Дар Айнинского района Согдийской области (бывшая Ленинабадская область). Окончил филологический факультет Таджикского государственного университета. Автор нескольких поэтических сборников. Народный поэт Таджикистана, лауреат литературных премий. Автор национального Гимна Республики

Таджикистан. В настоящее время заместитель председателя Комитета по государственной премии имени Рудаки. Живет в Таджикистане.

КАНОАТ Мумин. Родился в 1932 г. в кишлаке Курговад Калайхумбского района Горно-Бадахшанской автономной области в семье дехканина. Окончил отделение таджикской филологии историко-филологического факультета Таджикского государственного университета им. В. И. Ленина. Автор многих книг. Лауреат Государственной премии СССР, Народный поэт Таджикистана. Живет в Таджикистане.

КУДДУС Джума (Кудусов Джумабой). Родился в 1958 г. в г. Душанбе. Окончил филологический факультет Таджикского государственного университета им. В. И. Ленина. Автор 17 книг, более 60 пьес, 12 киносценариев. Почти все произведения переведены на другие языки, в том числе на русский, арабский, киргизский, казахский и др. Живет в Таджикистане.

ГОЙИБ Мухаммад (ГОИБОВ Махмад Муродалиевич). Родился в 1954 г. в совхозе им. К. Маркса Дангаринского района Кулябской области. Окончил Кулябское педагогическое училище и физико-математический факультет Кулябского государственного педагогического института им. Рудаки. Автор поэтических сборников «Журавли», «Путь села», «Женьшень», книги для детей «Тутовник Дари» и др. Живет в Таджикистане.

ХАКИМ Аскар. Родился в 1946 году. Окончил факультет таджикского языка и литературы Сталинабадского педагогического института им. Тараса Шевченко. Автор многих книг. Лауреат государственной премии им. Рудаки, Народный поэт Таджикистана. Живет в Таджикистане.

СУРУШ Мансур (Сайфиддинов Мансур Саидалиевич). Родился в 1954 году. Окончил Таджикский государственный университет. Прозаик, драматург, переводчик, журналист. Пишет на русском и таджикском языках. Автор сборников рассказов, пьес, сценария телевизионно-публицистического фильма. Член Союза писателей Таджикистана и Международной конфедерации журналистских союзов. Живет в Таджикистане.

ВАХХОБ Рустам. Родился в 1960 году. Окончил Таджикский государственный национальный университет и аспирантуру при нем. Автор книг стихотворений, научных, литературоведческих статей в периодических изданиях Таджикистана и зарубежья. Лауреат литературной премии имени Мирзо Турсун-Заде. Живет в Таджикистане.

КУХЗО́Д Урун (Джумаев Урунбой). Родился в 1937 г. в г. Педжикент. Окончил филологический факультет Таджикского государственного педагогического института. Советский и таджикский писатель. Автор сборников рассказов «У каждого свое», «Большому кораблю большое плавание», повестей «Перевал», «Реванш» и др. Живет в Таджикистане.

МАХСУМЗОД Равшан. Родился в 1963 г. в с. Дербент Байсунского района. Окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Автор сборников рассказов и повестей «Зов сердца», «Знакомый карандаш», «Дочь гор», «Тень любви» и др. Член Союза писателей Таджикистана. Живет в Таджикистане.

САЛИМ Маджид. Родился в 1960 г. в г. Куляб Хатлонской области. Окончил биологический факультет Таджикского государственного педагогического института. Писатель-анималист, директор литературного фонда Союза писателей Таджикистана. Автор нескольких книг. Лауреат премий Айни и Лахути. Живет в Таджикистане.